



МОИ ЗАГАДОЧНЫЙ ДВОЙНИК

*Двойники и предатели, роковые красавицы
и жестокие негодяи, убийство и безумие —
что еще нужно ценителям настоящей готики?*

The Bookseller

ДЖОН ХАРВУД

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЗБУКА»

Впервые на русском — новейший бестселлер от создателя таких готических триллеров, как «Тень автора» и «Тайна замка Роксфорд-Холл».

Джорджина Феррарс приходит в себя в Треганнон-Хаусе — частной лечебнице в тихом далеком уголке Англии, ничего не помня о том, что происходило с ней в последние три недели. Главный врач, доктор Мейнард Стрейкер, утверждает, будто девушка прибыла в лечебницу накануне под именем Люси Эштон (так звали трагическую героиню «Ламмермурской невесты» Вальтера Скотта) и потеряла память в результате приступа. Джорджина уверяет, что произошла какая-то ошибка и ее принимают не за ту, но на телеграмму, посланную в Лондон ее дяде-букинисту, приходит ответ: «Джорджина Феррарс здесь. Ваша пациентка — самозванка». В мгновение ока из добровольной пациентки она превращается в заключенную. Но кто мог занять ее место в дядином доме? И куда подевались два ее самых драгоценных владения: брошь в форме стрекозы, оставшаяся от матери, и бювар с дневником — единственным источником сведений о пропавших неделях?

Джон Харвуд

Мой загадочный двойник

Посвящается Робин

Рассказ Джорджины Феррарс

От кошмарного сна, где меня вздергивали на дыбу, я очнулась затем лишь, чтобы оказаться в другом сне, где я лежала на какой-то незнакомой кровати, страшась открыть глаза. Прижатое к щеке одеяло пахло как-то не так и казалось слишком жестким, а одета была я в грубую фланелевую сорочку, каких у меня сроду не водилось. Я не сомневалась, что все еще сплю, ведь засыпала-то я вчера в своей спальне дома. Все суставы ломило, будто в лихорадке, хотя накануне я чувствовала себя прекрасно.

С минуту я лежала неподвижно, ожидая, когда сон растает, а потом глаза мои открылись сами собой. Грязно-белый потолок, голые блекло-зеленые стены. Серый свет сочится сквозь окно с железной решеткой; стекло за ней мутное, с потеками влаги.

Я села, морщась от боли, и увидела, что нахожусь в помещении, похожем на тюремную камеру. Слева от кровати — дверь из цельного дуба, с узкой прорезью на уровне глаз, закрытой деревянной заслонкой. В промозглом воздухе висит запах остывшей золы и хлорной извести. Топка маленького камина, как и окно, полностью забрана крепкой железной решеткой. Всей обстановки — ночной столик, единственный стул, умывальник и небольшой платяной шкаф. Ни предметов декора, ни зеркала, ни даже подсвечника.

Быть такого не могло, чтобы я и впрямь находилась здесь. С другой стороны, представлялось очевидным, что я уже совершенно проснулась. И меня, осознала я, вовсе не лихорадит: лоб у меня прохладный, кожа сухая, дыхание незатрудненное. Так почему же мое тело отзывается болью на малейшее движение? Неужто я упала во сне с кровати? Или меня избили? Или чего похуже? Дрожа, я откинула одеяло и внимательно осмотрела себя, но не нашла никаких телесных повреждений, если не считать синяков над локтями, словно от чьей-то крепкой хватки.

Может, у меня галлюцинации? Если я лягу, подумала я, накроюсь с головой одеялом и попробую снова заснуть, возможно, немного погодя я проснусь в своей постели дома. Но мои ноги, словно по собственной воле, уже спустились на пол. Неверной поступью я подошла к двери и подергала ручку — та даже не шелохнулась.

Закричать, что ли? Но *кто* явится на крик? Я повернулась и двинулась к окну, гадая, не такие ли ощущения испытывают сомнамбулы. Полдюжины шагов — и я оказалась у железной решетки. Мир за окном тонул в клубящемся сером тумане, лишь смутные, неопределенные силуэты — стены? дома? деревья? — недвижно парили на самой границе видимости.

Я вернулась к двери и снова подергала ручку. На сей раз деревянная заслонка резко отодвинулась, и в смотровой прорези показалась пара глаз.

— Где я? — выкрикнула я.

— В лечебнице, мисс, — ответил молодой женский голос. — Пожалуйста, мисс, лягте обратно в постель, доктор придет сию минуту.

Заслонка задвинулась, и я услышала приглушенные удаляющиеся шаги. Дрожа всем телом, я сделала как велено. На душе немного полегчало: теперь я хотя бы знаю, что нахожусь в больнице. Но что со мной стряслось и почему меня заперли? Через пару минут тревожного ожидания послышались другие шаги, потяжелее. Проскрежетал замок, дверь распахнулась, и в комнату вошел мужчина. По небрежности в одежде — чуть помятая твидовая пара с жилетом, белый воротник сорочки, с одной стороны выбившийся наружу,

неидеально повязанный синий шелковый галстук — и по веселому блеску глаз вы могли бы принять его за художника, но у него был властный вид человека, привыкшего к беспрекословному повиновению. Выглядел он лет на сорок — пятьдесят, был невысок ростом, но широк в плечах и подтянут. Глубоко посаженные бледно-голубые глаза, чей цвет подчеркивал угольную черноту зрачков, пронзительно смотрели из-под густых бровей. Под глазами темные мешочки. Крупный орлиный нос с подрагивающими ноздрями, резко очерченные губы. Узкое худое лицо чисто выбрито, если не считать тонких бакенбард, спускающихся к раздвоенному волевому подбородку. Несколько мгновений он молчал, пытливо вглядываясь меня.

— Где я? — повторила я. — Кто вы? Почему я здесь?

В глазах незнакомца мелькнуло удовлетворение.

— Вы хотите сказать, что не знаете? Вижу, что не знаете. Это чрезвычайно интере... то есть чрезвычайно огорчительно для вас. Покорнейше прошу прощения: меня зовут Мейнард Стрейкер, я директор и главный врач здесь, в Треганнон-хаус... на Бодминских болотах в Корнуолле, — добавил он, заметив, что мое недоумение не проходит. — Не бойтесь, мисс Эштон, я весь к вашим услу... — Он осекся, увидев выражение моего лица.

— Сэр, мое имя не Эштон! Я мисс Феррарс, Джорджина Феррарс. Я живу в Лондоне, с своим дядей. Произошла какая-то ужасная ошибка.

— Понимаю, — невозмутимо промолвил мужчина. — Вы только не волнуйтесь. Давайте-ка я велю принести вам чаю с тостом, и мы с вами все спокойно обсудим.

— Но, сэр, мне никак нельзя оставаться здесь! Пожалуйста, отправьте меня домой сейчас же!

— Всему свое время, мисс... Феррарс, коли вам так угодно. Прежде всего вам надобно уразуметь, что вы были очень тяжело больны. Я знаю... — Доктор Стрейкер поднял руку, пресекая мои возражения. — Знаю, что вы ничего не помните: это последствие вашей болезни. Теперь будьте любезны, позвольте мне сначала осмотреть вас, а уж потом я объясню, что с вами приключилось.

И столь велика была сила его личности, что я даже рта не раскрыла, пока он негромко отдавал распоряжения кому-то за дверью. Затем доктор пощупал мой пульс, послушал сердцебиение, проверил рефлексы и, казалось, остался доволен результатом. Он уселся на деревянный стул, прямо напротив меня:

— Вы прибыли сюда вчера утром, без всякого предупреждения, что в высшей степени необычно. Вы представились Люси Эштон и сказали, что желаете проконсультироваться со мной по одному конфиденциальному делу, не терпящему отлагательств. Поскольку я находился в отъезде, служанка проводила вас к моему помощнику мистеру Мордаунту. По его словам, вы пребывали в сильнейшем душевном волнении, хотя и всячески старались скрыть это. Мистер Мордаунт объяснил вам, что я не вернусь до позднего вечера, а значит, чтобы увидеться со мной, вам придется остаться здесь на ночь и зарегистрироваться в качестве добровольной пациентки, на что вы с большой готовностью согласились. Ни на какие психические расстройства вы не жаловались, лишь на крайнюю усталость, и, ответив моему помощнику на несколько вопросов общего характера, попросили позволения заполнить анкеты позже. Мистер Мордаунт нашел свободную комнату в отделении для добровольных пациентов и проводил вас туда, предполагая, что вы ляжете отдыхать. Однако в течение дня вас несколько раз видели бродящей по больничной территории в состоянии, которое мой помощник — человек поэтического склада — описал как транс безысходного

отчаяния. Я вернулся около девяти часов и, узнав от мистера Мордаунта о вашем визите, ненадолго заглянул к вам в комнату, чтобы условиться о встрече на сегодняшнее утро. За неимением свободного времени обстоятельно побеседовать с вами я вчера не мог. Вы явно находились в состоянии крайнего нервного истощения, но снова отказались признать у себя что-либо помимо сильной усталости. Разумеется, я назначил вам успокоительное средство, которое вы обещали принять, но, боюсь, так и не приняли. К добровольным пациентам, следует заметить, принудительное лечение здесь не применяется. Покуда они не представляют опасности для окружающих или себя самих, они вольны делать все, что душе угодно, — это один из наших принципов. Сегодня рано утром вас нашли без чувств на дорожке позади лечебницы. Должно быть, вы незаметно выскользнули наружу ночью. Мне совершенно очевидно, что с вами приключился приступ, — такое хотя и редко, но бывает в случаях вроде вашего, когда сильное душевное волнение вызывает что-то вроде эпилептического припадка; у людей же действительно предрасположенных к эпилепсии подобное эмоциональное возбуждение влечет за собой тяжелое обострение болезни. Это естественный способ выброса излишней психической энергии. Придя в сознание, пациент обычно напрочь не помнит нескольких последних дней или даже недель и не в силах объяснить острую боль в суставах и мышцах, которая является следствием жестоких конвульсий. Такие случаи, конечно же, наблюдаются чаще у женщин, чья психика тоньше и уязвимее, чем мужская...

— Сэр, — перебила я, осознав наконец весь ужас своего положения, — я в сумасшедшем доме?

— Я предпочитаю выражаться иначе. Скажем так, вы находитесь под опекой частного заведения, где лечатся психические недуги. Просвещенное медицинское учреждение, мисс... Феррарс, исповедующее самые гуманные принципы, преданно служащее медицинской науке и делу помощи нашим пациентам. В ходе первого нашего разговора вы заверили меня, что никогда не страдали ни эпилепсией, ни каким-либо психическим расстройством... Но я так понимаю, вы той беседы не помните?

— Не помню, сэр.

— И не имеете понятия, почему и зачем вы назвались именем Люси Эштон?

— Ни малейшего, сэр.

— Что последнее, самое последнее, что вы помните?

Слушая рассказ доктора, я несколько не сомневалась, что произошла какая-то чудовищная ошибка и меня отправят в Лондон сразу, как только мне удастся убедить его, что я Джорджина Феррарс, а не Люси Эштон. Но последний вопрос вызвал в моем сознании что-то вроде обвала. Воспоминание о том, как накануне вечером я ложилась спать дома, вдруг дрогнуло и рассыпалось в прах, оставив после себя лишь тяжело гудящую неразбериху. «Я должна, *должна* вспомнить, — в отчаянии подумала я. — Если не прошлый вечер, так позапрошлый?» Воспоминания — если то были действительно воспоминания — выскальзывали из моей хватки, разлетались игральными картами, невзирая на мои старания привести их в порядок. Вся моя жизнь таяла, растворялась перед моими глазами. Комната покачнулась, точно палуба корабля, и в глазах у меня на миг помутилось.

Доктор Стрейкер спокойно наблюдал за мной:

— Не пугайтесь, умственное смятение скоро пройдет. Теперь вы понимаете, почему мне затруднительно называть вас «мисс Феррарс». Вполне возможно — в моей практике встречались такие случаи, — так вот, вполне возможно, что на самом деле вы Люси Эштон,

а мисс Феррарс — Джорджина, вы сказали? — а Джорджина Феррарс — ваша подруга или родственница или даже просто плод вашего расстроенного воображения. Наш ум, после столь сильных потрясений, порой играет с нами удивительнейшие шутки.

— Но, сэр, я действительно Джорджина Феррарс! Вы должны поверить! Я живу на Гришем-Ярд в Блумсбери, со своим дядей Джозайей Редфордом, книготорговцем. Надо срочно телеграфировать ему, что я здесь...

Доктор Стрейкер поднял руку, останавливая поток моих слов:

— Успокойтесь, успокойтесь, мисс... пусть будет Феррарс. Конечно, мы телеграфируем. Но прежде вам следует хотя бы ознакомиться со свидетельствами, представленными вашими личными вещами... Ага, вот и чай.

В комнату вошла молоденькая служанка в опрятном форменном платье серого цвета.

— Вам будет приятно узнать, Белла, что нашей пациентке полегчало, — промолвил доктор Стрейкер.

— И правда, сэр, — откликнулась она. — Вы выглядите гораздо лучше, чем вчера, мисс Эштон. Очень за вас рада. Будут еще какие-нибудь распоряжения, сэр?

— Да. Спуститесь в комнату мисс Эштон и принесите сюда все ее вещи. Если вам понадобится помощь, обратитесь к одному из привратников. С чаем мы сами управимся.

— Слушаюсь, сэр. Сию минуту, сэр.

— Вот видите? — усмехнулся доктор Стрейкер, когда служанка торопливо удалилась. — По крайней мере, мисс Эштон не является плодом *моего* воображения. Молоко? Сахар?

Выкажи доктор Стрейкер хоть малейшее беспокойство по поводу моего состояния, со мной бы, наверное, приключилась истерика. Но его невозмутимость невесть почему оказывала на меня успокаивающее, а точнее, отупляющее действие. По прибытии сюда я назвалась мисс Эштон — это представлялось несомненным, хотя и совершенно непонятным. Я была уверена, что не знаю никого с таким именем, и все же оно казалось смутно знакомым. Он пообещал телеграфировать в Лондон, подумала я. Скоро я отправлюсь домой, и мне нужно все время держать эту мысль в голове. Я машинально прихлебывала чай, грея холодные ладони о горячую чашку.

День рождения моей матушки! Теплый осенний день.

— Сэр, я вспомнила кое-что. Двадцать третье сентября, день рождения моей матери, — она умерла десять лет назад, но я поклялась каждый год двадцать третьего сентября делать что-нибудь такое, что мы с удовольствием делали бы вместе. Была суббота, я пошла в Риджентс-парк и съела мороженое, а потом слегла с простудой.

— Понятно... а дальше что?

Я попыталась продолжить рассказ, однако, кроме этого обрывочного воспоминания, в памяти ничего не всплывало. Более или менее ясно я помнила события минувшего лета и весны, да и вообще всех предшествующих годов вплоть до самого детства, — во всяком случае, мне так казалось, но при попытках вспомнить недавнее прошлое мне удавалось вызвать лишь разрозненные туманные видения дядюшкиного дома, упорядочить которые я была решительно не в силах.

— Я... не помню, — наконец призналась я.

— В высшей степени интересно. Значит, ваше последнее отчетливое воспоминание относится к двадцать третьему сентября, — по крайней мере, вам так кажется. А какая сегодня дата, по-вашему?

Только тогда я осознала, почему промозглый воздух и тусклое серое освещение подспудно беспокоили меня.

— Я и время-то назвать не могу, сэр, не говоря уже о дате.

— Сейчас два часа пополудни, четверг, второе ноября. Тысяча восемьсот восемьдесят второй год от Рождества Христова, — добавил он, приподняв бровь.

— Ноября! — вскричала я. — А где я была?.. Как я могла?.. Сэр, вы должны немедленно телеграфировать моему дяде. Он с ума сходит от тревоги.

— Не обязательно. Если бы некая Джорджина Феррарс пропала без вести неделю назад а уж тем паче месяц назад, нас непременно известили бы. В психиатрические лечебницы, как и в обычные больницы и полицию, поступают все сведения о пропавших людях, но особа по имени Феррарс — да и вообще никто, по приметам похожий на вас, — в наших списках не значится. Возможно, вы сообщили своему дяде, что уезжаете, хотя вряд ли сказали, что в сумасшедший дом и под чужим именем. Посему, прежде чем его беспокоить, давайте попробуем внести в дело ясность.

Он достал из кармана сюртука листок бумаги:

— Вот все сведения, которые вы сообщили моему помощнику вчера утром. Имя: Люси Эштон. Адрес: отель «Ройял», Плимут. Дата рождения: четырнадцатое февраля тысяча восемьсот шестьдесят первого года. Место рождения: Лондон. Родители: умерли. Ближайшие родственники: в живых никого нет. Истории тяжелых телесных или душевных болезней не имеется. В случае болезни или кончины оповещать некого. «Пациентка говорит, что она одна на всем белом свете», — записал мистер Мордаунт. Интересно, не правда ли?

— Но, сэр, я никогда даже не бывала в Плимуте!

— Думаю, мы можем с уверенностью утверждать, что бывали. Из всех заболеваний труднее всего осознается амнезия, мисс Эштон, поскольку пациенту в буквальном смысле слова не за что ухватиться. Значит, перечисленные обстоятельства вам ничего не говорят?

— Ровным счетом ничего, сэр. Я понятия не имею почему...

— У меня есть по меньшей мере два объяснения. — Доктор Стрейкер достал блокнот и карандаш. — Но прежде чем мы перейдем к этому... Ваше полное имя?

— Джорджина Мэй Феррарс, сэр.

— Дата и место рождения?

— Третье марта тысяча восемьсот шестьдесят первого года. Неттлфорд, Девоншир.

— Это недалеко от Плимута, так ведь?

— Кажется, да, сэр. Я не помню. Мы с матушкой перебрались жить к моей тетушке, то есть двоюродной бабушке, в коттедж под Нитоном на острове Уайт, когда я была малым ребенком.

Доктор Стрейкер выслушал мое сбивчивое объяснение с вежливо-насмешливой улыбкой, всем своим видом словно говоря: «Ну и почему мы должны верить вам на сей раз?»

— Понятно... А ваш отец?

— Годфри Феррарс, сэр. Я его совсем не помню. Он умер, когда мне еще и двух лет не исполнилось.

— Печально слышать. Вы знаете, кто он был по профессии?

— Врач, сэр... — Я чуть было не сказала «как вы», но вовремя прикусила язык. — У него была практика в Лондоне.

— В какой части Лондона?

— В Кларкенвелле, сэр. Но он тяжело заболел и был вынужден перебраться в сельскую

местность. Отец выздоравливал в Неттлфорде, когда я родилась.

— Но так и не выздоровел?

— Выздоровел, сэр, но он настоял на том, чтобы взять другое место, в Саутварке...

— Снова в должности врача?

— Да, сэр. Матушка отвезла меня в Нитон — мы должны были поехать в Лондон, как только отец там обустроится, но он свалился с тифозной лихорадкой и умер прежде, чем известие о его болезни дошло до нас.

— Вы помните дату?

— Нет, сэр. Помню только, что было лето.

— Хорошо... скажем, лето шестьдесят второго года. — Доктор Стрейкер черкнул в блокноте несколько слов. — Как звали вашу мать в девичестве?

— Эмилия Редфорд.

— Она умерла, если я правильно помню, десять лет назад?

— Да, сэр. У нее было слабое сердце — аневризма, сказали нам. Это выяснилось только после ее смерти.

— Печальная история. Вы единственный ребенок?

— Да, сэр.

Доктор Стрейкер пристально взгляделся в мое лицо:

— Я вот думаю, не передалась ли вам сердечная слабость по наследству. Поверхностный осмотр показывает, что сердце у вас вполне здоровое, но, может, вы когда-нибудь страдали одышкой, сердцебиениями, головокружениями, обмороками?..

— Нет, сэр, я росла очень здоровым ребенком. Матушка с тетушкой всегда следили, чтобы я хорошо отдыхала, много двигалась и не перевозбуждалась, но они никогда не упоминали про сердце.

— По крайней мере, это обнадеживает. — Он опять черкнул в блокноте. — И что было дальше?

— Я жила со своей двоюродной бабушкой с материнской стороны Вайдой Редфорд, пока мы не... пока она не скончалась в прошлом году. После этого я уехала в Лондон, к дяде Джозайе, — он брат тетушки Вайды, а значит, приходится мне двоюродным дедушкой...

Я снова говорила сбивчиво и нескладно.

— У вашего дяди есть свои дети?

— Нет, сэр. Как и тетушка, он никогда не состоял в браке.

— Понятно. Прошу прощения, а каковы ваши финансовые обстоятельства? У вас имеются собственные деньги или только виды на дядино наследство?

Что-то в его тоне испугало меня пуще прежнего.

— У меня есть небольшой доход, сэр, оставленный мне тетушкой... около сотни фунтов в год. А дядя мой совсем небогат. Он говорит, все его имущество стоит лишь несколько сот фунтов.

— Понятно. Теперь давайте поговорим о вашем психическом здоровье. Как мисс Эштон... — доктор снова глянул в листок, лежащий у него на колене, — вы сказали моему помощнику, что никогда не страдали душевным расстройством. Но принимая во внимание, что вы прибыли сюда под вымышленным именем и здесь перенесли тяжелый припадок, почти наверняка вызванный продолжительным и очень сильным психическим возбуждением, я должен спросить, не желаете ли вы что-нибудь добавить к показаниям мисс Эштон?

Снова все поплыло у меня перед глазами, и сердце заколотилось. Да, я могла бы кое-что добавить, подумала я. Но тогда меня точно не выпустят отсюда. Текли секунды, доктор Стрейкер не сводил с меня чуть ироничного взгляда.

— Я не... не припомню ничего необычного.

— Прекрасно, — произнес он после томительно долгой паузы. — А теперь я должен навестить других своих пациентов. Вам же тем временем надлежит оставаться в постели и согреться хорошенько. Белла растопит камин, когда вернется с вашим багажом.

— Сэр, вы отправите телеграмму моему дяде?

— Разумеется. Ближайшая телеграфная контора находится в Лискерде, в добрых сорока минутах езды отсюда, поэтому ответ мы получим не раньше завтрашнего вечера. Мистер Джозайя Редфорд, Гришем-Ярд, Блумсбери — так? — добавил он, глянув в блокнот.

Ты *должна* все вспомнить, сказала я себе, когда эхо его шагов стихло в отдалении. Это все равно что заклинившая дверь: она открывается, нужно только вспомнить «секрет». Или имя, которое, хоть убей, нейдет на память, а через несколько минут вдруг само собой слетает с языка. Но как я ни старалась, как ни силилась, я не могла разглядеть даже самого слабого проблеска там, где должны были храниться воспоминания последних дней. А что, если настоящая Люси Эшгон — откуда все-таки мне знакомо это имя? — похожа на меня как две капли воды? Может статься, нас перепутали? Однако это не объясняет, что я делаю в частной психиатрической лечебнице в Корнуолле — уголке мира, где никогда прежде не бывала... Такие мысли крутились-вертелись в моей голове, пока не появилась Белла, пыхтящая под тяжестью большого кожаного чемодана, шляпной картонки и синего дорожного плаща, которые я видела впервые.

— Боюсь, это не мои вещи.

Девушка посмотрела на меня с легкой жалостью:

— Прошу прощения, мисс, но вы приехали сюда в этом самом плаще. И посмотрите... — Она положила чемодан на кровать и открыла крышку. — Вот эту шаль, мисс, вы вчера попросили меня достать, когда озябли ввечеру.

Служанка вынула голубую шерстяную шаль — такую, какую я бы сама выбрала, — и накинула мне на плечи. Я оцепенело наблюдала, как она открывает платяной шкаф и начинает разбирать чемодан, — под ручкой на нем я увидела вытисненные золотом инициалы «Л. Э.», поблекшие от времени. Все предметы одежды, которые Белла доставала, были совершенно в моем вкусе, словно я самолично их покупала, но все они принадлежали не мне. Мне вдруг пришло в голову, что весь мой собственный гардероб уместился бы в чемодане примерно такого размера.

— Подождите! — спохватилась я. — Я здесь долго не задержусь. Я уеду обратно в Лондон, как только...

Я осеклась; сумбур в голове внезапно улегся, и мысли прояснились. Зачем мне, спрашивается, ждать ответа на телеграмму доктора Стрейкера? Он сказал, что я добровольная пациентка, и независимо от того, с чего и почему меня здесь приняли за Люси Эшгон, даже независимо от того, что случилось с моей памятью, — чем раньше я вернусь в Лондон, тем лучше.

— На самом деле, — твердо произнесла я, — я хочу уехать немедленно. Будьте так добры, помогите мне одеться и...

— Мне очень жаль, мисс, но я не могу, без разрешения доктора никак нельзя. — У нее был напевный провинциальный говорок, который при других обстоятельствах я сочла бы

приятным для слуха.

— Тогда я сама оденусь. Пожалуйста, сейчас же пойдите разыщите доктора Стрейкера и попросите его распорядиться насчет... — Я собиралась сказать «кеба». — Насчет транспортного средства, чтобы довезти меня до ближайшей железнодорожной станции. Вы же понимаете, — добавила я, слыша предательскую дрожь в своем голосе, — я здесь добровольная пациентка.

— Слушаюсь, мисс, будет сделано. Только прошу вас, мисс, доктор велел вам оставаться в постели.

Белла торопливо вышла, затворив за собой дверь. Я выскользнула из постели, внезапно испугавшись, уж не заперла ли она меня на замок. Но дверь легко отворилась — в обшитый темными панелями коридор, где не было видно ни души, кроме удаляющейся Беллы.

Я закрыла дверь и приблизилась к шкафу. Вкус в одежде у Люси Эштон почти полностью совпадал с моим: она тоже предпочитала артистический стиль; ее голубое дорожное платье из шерсти было копией моего серого, и, когда я приложила его к себе, даже без зеркала стало ясно, что оно мне в самый раз. Даже метки для прачечной в точности походили на мои: маленькие хлопчатые ярлычки, пристеганные к подкладке, с аккуратно вышитыми на них голубыми буквами «Л. Э.». Если бы мне предложили экипироваться для путешествия, я не смогла бы сделать лучшего выбора.

Я снова невольно возвратилась к мысли, что Люси Эштон не иначе мой двойник, а потом опять сообразила, что это никоим образом не объясняет, почему я нахожусь здесь. Я предприняла очередную отчаянную попытку пронизать умственным взором черный провал в памяти, но немного погодя одно обстоятельство вернуло меня к сиюминутной действительности: я вдруг осознала, что в чемодане Люси Эштон нет ни кошелька, ни ювелирных украшений, ни колец, ни денег.

Недоставало там и еще двух вещей (хотя оно и понятно, ведь чемодан-то был не мой): доставшейся мне от матушки броши, с которой я никогда не расставалась, и подаренного тетужкой бювара, где хранился мой дневник, который я вела с шестнадцати лет. Бювар представлял собой портфельчик четвертного формата из мягкой голубой кожи, с двумя золотыми застежками и замочком — ключ от него я всегда носила на серебряной цепочке на шее, но сейчас его при мне не было.

Почему-то утрата ключа заставила меня со всей ясностью понять, в сколь отчаянном положении я нахожусь. Силы меня покинули, и я в изнеможении присела на край кровати. Как раз в этот миг в дверях появился доктор Стрейкер, а следом за ним зашла Белла с ведром угля.

— Мисс... Феррарс, — строго произнес он, — вам следует лечь и оставаться в постели. Я приказываю вам как ваш лечащий врач. О вашем отъезде не может быть и речи, вы еще слишком больны.

— Но, сэр...

— Довольно, прошу вас. Телеграмма отправлена, как вы просили. Когда придет ответ, я вам сообщу.

С этими словами доктор Стрейкер повернулся и широким шагом вышел прочь.

— Белла, — пролепетала я, когда служанка стала поправлять на мне одеяла, — я не нашла кошелька и броши — она в такой красной бархатной коробочке, очень ценная вещь. И еще бювара из голубой кожи. Ты их нигде не видела?

— Нет, мисс, не видела. Я принесла все, что было в вашей комнате.

— Но у меня должны были быть при себе деньги! — в отчаянии воскликнула я. —
Иначе как бы я сюда приехала?

— Вы дали мне шестипенсовик, мисс, когда еще плащ не сняли. Может, кошелек там?
Белла пошарила по карманам плаща, но обнаружила лишь пару перчаток.

— Вы же не думаете, что я взяла, мисс? — встревожилась она.

— Нет, Белла. Нокто-то взял вместе с брошью и бьюваром — с ними я никогда не
расстаюсь.

— Не знаю, право слово, мисс. Мы здесь все девушки честные. Может, вы сами
припрятали куда-то свои вещи, мисс, и... и запамятовали? Прошу прощения, мисс, но мне
надо идти.

Вопрос так и остался без ответа. Потеряв всякую надежду сбежать отсюда сегодня же, я
неподвижно лежала в постели, одолеваемая сумбурными мыслями и ощущая холодок ужаса
под ложечкой. За окном медленно смеркалось, и незаметно для себя я заснула. Разбудил
меня яркий свет фонаря, ударивший в лицо: у кровати стоял доктор Стрейкер.

— Боюсь, мисс Эштон, вам нужно подготовиться к потрясению. Телеграфируя ваше
сообщение мистеру Джозае Редфорду, я взял на себя смелость спросить, слышал ли он
когда-нибудь о некой Люси Эштон. Вот его ответ:

«ЛЮСИ ЭШТОН СЛЫШУ ВПЕРВЫЕ ТЧК ДЖОРДЖИНА ФЕРРАРС ЗДЕ
ТЧК ВСЕЙ ВИДИМОСТИ ВАША ПАЦИЕНТКА САМОЗВАНКА ТЧК ДЖОЗ,
РЕДФОРД».

Той ночью меня усыпили с помощью хлоралгидрата, а когда я выплыла из черной
бездны забытья, все тело у меня ломило и во рту ощущался дурной привкус. Не знаю,
объяснялось это остаточным действием снотворного средства или всей совокупностью
пережитых накануне потрясений, но в голове у меня стоял туман, и в нем смутно ворочалась
одна-единственная мысль: наверное, доктор Стрейкер отправил телеграмму какому-то
другому Джозае Редфорду. Белла принесла мне завтрак, к которому я не притронулась, и
зеркало, в котором я увидела осунувшееся мертвенно-бледное лицо с синяками под глазами,
почти неузнаваемое. Доктор Стрейкер сейчас придет, доложила Белла, вычесывая колтуны
из моих волос; мне велено оставаться в постели, и нет, одеваться нельзя ни в коем случае.
Таким образом, мне пришлось ждать в ночной рубашке и шали, пока врач не появился у
моей кровати, с видом даже более веселым, чем накануне.

— Должен сказать, мисс Эштон — так мы будем называть вас, покуда не выяснится, кто
вы на самом деле... — должен сказать, я никогда еще не сталкивался со случаем, подобным
вашему.

— Сэр, умоляю вас... Я не понимаю, что произошло, но клянусь вам: я — Джорджина
Феррарс.

— Знаю. Знаю, что вы верите в это всеми фибрами своего существа. Но возьмите в
соображение факты. Некая Джорджина Феррарс в настоящее время находится по адресу,
который вы мне дали... нет, выслушайте меня. Вы прибыли сюда под именем Люси Эштон,
и мы можем с уверенностью сказать, что Люси Эштон тоже не настоящее ваше имя. Надо
полагать, вы знакомы с «Уэверлийскими романами» Скотта?

Внезапно я вспомнила, где встречала это имя раньше.

— Люси Эштон — героиня «Ламмермурской невесты». Мать заставляет ее разорвать

помолвку с любимым мужчиной Эдгаром Рэвенсвудом и выйти за другого, который ей отвратителен. В первую брачную ночь она в помрачении рассудка ранит мужа кинжалом и на следующий день умирает от мозговой горячки. На ум приходит вопрос, не имеет ли данный сюжет для вас какого-нибудь особого, личного значения?

Я в ужасе уставилась на него:

— Я никогда не была помолвлена, сэр, не говоря уже о...

— Тем не менее вы согласитесь со мной: подобный выбор вымышленного имени вызывает известные подозрения, когда речь идет о встревоженной молодой женщине, прибывшей для лечения в частную психиатрическую клинику. Напрашивается предположение, что она пытается убежать от неких событий, имевших место в ее прошлом — возможно, недавно.

— Ничего такого не было, сэр!

— Ничего, что бы вы помнили, полностью с вами согласен.

— Но, сэр, я же рассказала вам свою историю, и вы все записали вчера! Человек, приславший вам телеграмму, лжет — я не знаю почему. Если вы мне не верите...

— Я уже снесся с медицинскими комиссиями Кларкенвелла и Саутварка: доктор Годфри Феррарс действительно занимал там должность, в тысяча восемьсот пятьдесят девятом и шестьдесят втором годах соответственно. Он умер от тифозной лихорадки в Саутварке тридцатого августа тысяча восемьсот шестьдесят второго года, оставив жену Эмилию и годовалую дочь Джорджину.

— Так почему же вы мне не верите?

— Потому что, хотя вы наверняка можете без запинки рассказать основные факты биографии Джорджины Феррарс, из этого вовсе не следует, что вы и есть она. Не исключено, к примеру, что вы вели знакомство с настоящей Джорджиной Феррарс или с человеком, очень близко ее знавшим, и — по не выясненным пока причинам — стали одержимы ею. Я сталкивался с подобными случаями. Такое состояние — когда пациент присваивает чужую личность и начинает искренне верить, что он и есть тот другой человек, — называется истерической одержимостью. Помимо телеграммы от Джозайи Редфорда, мы располагаем следующими фактами: вы прибыли сюда под именем Люси Эшгон, перенесли тяжелый припадок, утратили все воспоминания о последних полутора месяцах и только потом заявили, что вы — Джорджина Феррарс...

— Сэр, — перебила я, собравшись с духом, — вы *должны* меня выслушать! Эта телеграмма — фальшивка. Не знаю, кто и почему ее отправил, но, если вы пошлете кого-нибудь по адресу на Гришем-Ярд, там окажется один только мой дядя, и он тотчас придет за мной. У меня есть немного сбережений, — добавила я, мысленно молясь, чтобы это все еще оставалось правдой, — и я возьму все расходы...

— В этом нет необходимости. Сегодня вечером я еду по делам в Лондон. Завтра я зайду на Гришем-Ярд и поговорю с Джозайей Редфордом, а также, боюсь, с Джорджиной Феррарс, которую настоятельно попрошу приехать к нам для установления вашей личности, поскольку вы явно хорошо ее знаете... А если, — добавил он, не дав мне раскрыть рта, — вдруг выяснится, что некий ваш смертельный враг подстерегал почтальона у дома на Гришем-Ярд, чтобы перехватить телеграмму, об отправлении которой никак не мог знать, тогда я обещаю ближайшим поездом вернуться сюда вместе с Джозайей Редфордом и в наказание съесть свою шляпу — а я никогда еще не давал таких обещаний. Тем же временем мы обеспечим вам должный уход, за наш счет, разумеется.

— Но, сэр, я хочу уехать сейчас же!

— К сожалению, не могу вас отпустить. Вы недостаточно здоровы для путешествия, и интуиция подсказывает мне, что, если вы появитесь на Гришем-Ярд в нынешнем вашем душевном состоянии, вас тотчас арестуют и заключат в Вифлеемскую больницу, — какое лечебное заведение, хотя и значительно усовершенствованное в последние годы, я не стал бы рекомендовать ни одному из своих подопечных. А теперь я должен навестить других пациентов. До моего возвращения вы останетесь под наблюдением моего коллеги, доктора Мейхью, — а вернусь я, по всей видимости, не раньше понедельника.

— Понедельника! Но, сэр...

Жестом остановив дальнейшие мои возражения, доктор Стрейкер встал и крупным шагом направился к двери. На пороге он обернулся:

— Да, и я попрошу своего помощника мистера Мордаунта заглянуть к вам. Думаю, он произведет на вас приятное впечатление.

Больше в тот день ко мне никто не заходил, кроме Беллы и доктора Мейхью — грузного седобородого врача, который пощупал мой пульс, посмотрел язык, потрогал лоб, несколько раз хмыкнул и удалился прочь, не сказав ни слова. Белла помогла мне помыться и принесла еду, но я почти ничего не съела. «Тебе надо набраться сил для путешествия домой», — мысленно повторяла я, но в моем желудке, скрученном в тугой узел, совсем не оставалось места для пищи. Когда служанка унесла поднос, я выскользнула из постели и на неверных ногах подошла к окну. Туман уже рассеялся, и сквозь решетку я увидела маленький сад, ярдов тридцать шириной, огороженный высокими кирпичными стенами. Между клумбами с темно-зелеными листовыми кустиками тянулись гравийные дорожки. В саду не было ни души; над глухой оградой виднелись лишь черные верхушки деревьев на фоне свинцового неба.

Никакие часы в пределах слышимости не тикали, и течение времени отмечалось лишь медленным угасанием дневного света да шорохом дождя, изредка начинавшего моросить за окном. За неимением других занятий я долго ломала голову, силясь понять, что же со мной приключилось, и в конце концов погрузилась в дремоту. Проснувшись я от света лампы, когда Белла принесла поднос с ужином. Она дала мне очередную дозу хлоралгидрата, и я неохотно выпила, рассчитывая забыться мертвым сном. Но вместо того, чтобы крепко проспать до самого утра, я впала в бредовое состояние, в котором постоянно осознавала, что лежу пластом на кровати, одолеваемая кошмарами. Очнувшись я на рассвете и с ужасом обнаружила, что по-прежнему нахожусь в психиатрической лечебнице Треганнон.

Еще совсем недавно предположение, что я на самом деле не я вовсе, показалось бы мне просто абсурдным. Но здесь все казалось возможным — даже не возможным, а вполне вероятным. Могла ли я быть уверена, что не сошла с ума? Я не чувствовала себя сумасшедшей, но откуда мне знать, что чувствуют сумасшедшие? Доктор Стрейкер явно считал меня помешанной, и я холодела от ужаса всякий раз, стоило мне подумать о телеграмме. Почему я назвалась Люси Эштон — что я наверняка сделала, если только все здесь не лгали мне? Не было ли в нашем роду наследственного безумия, которое проявилось во мне?

«Не смей так думать», — сказала я себе, и в следующий миг из груди моей вырвались бурные рыдания. Наплакавшись вволю, я улеглась в постель, сомкнула глаза и попыталась вообразить, будто я лежу в своей кроватке в нашем коттедже на береговом утесе под

Нитоном, а за стенкой тихо разговаривают матушка с тетушкой Вайдой и их невнятные голоса сливаются с рокотом волн далеко внизу.

Тетушка Вайда нашла тот коттедж за много лет до моего рождения и влюбилась в него с первого взгляда. Он стоял ярдах в пятидесяти от обрыва, а позади него поднимался крутой склон. К востоку широкой дугой тянулась двойная гряда скал, местами почти отвесных, словно стесанных топором, и вдали она походила на громадные острозубые каменные челюсти, из которых нижняя резко выдавалась вперед и круто спускалась к скальным завалам на берегу. Под иными из них были погребены целые фермы, но тетушка с уверенностью утверждала, что наш дом расположен достаточно далеко от обрыва и опасность нам не грозит.

Гостиная размещалась на втором этаже в передней части дома; окна там выходили на восток и юг, и из них открывался чудесный вид на морские просторы. У одного из окон стояло кресло, где матушка сидела часами каждый день — читала, вышивала, вязала крючком или просто глядела на море. Каждое утро после завтрака гостиная превращалась в мою классную комнату, и почти все свое образование я получила, читая вслух (не помню времени, когда бы я не умела читать) или слушая матушкино чтение и задавая вопросы, когда таковые возникали. Мы читали много поэзии, «Шекспира для детей» Лэмба, «Историю Англии» Маколея и вообще все книги из нашей маленькой библиотеки, которые матушка полагала доступными моему разумению, — я не помню, чтобы она когда-нибудь принимала по отношению ко мне снисходительный тон или говорила, что те или иные вещи ребенку не понять.

В другой передней комнате спала тетушка, моя же спальня находилась напротив через коридор, а соседнюю с моей комнату занимала матушка. Из своего окна я видела побережье, плавной дугой уходящее на запад. На первом этаже располагалась столовая, которой мы редко пользовались, комната для завтраков, где мы обычно ели, и кухня, где жили домоправительница миссис Бриггс и служанка Эми.

В раннем детстве мне казалось, что тетя Вайда на целую голову возвышается над моей матушкой, но позже я поняла, что разница в росте у них составляла не более одного-двух дюймов. Просто матушка была бледная и худая, а тетушка толстая и крепкая, как дубовый ствол, с обветренным загорелым лицом. Она была замечательным ходоком, и по утрам я часто видела, как она энергично шагает прочь от дома, размахивая терновой тростью. Летом она, случалось, возвращалась с прогулки лишь поздно вечером, после моего отхода ко сну, и я слышала сквозь дрему ее громкий голос, приветствующий матушку, или просыпалась от приглушенного разговора, доносившегося из гостиной. Говорила тетя Вайда резко и отрывисто, словно диктуя телеграмму. «Мне следовало бы родиться мужчиной», — обронила она как-то, годы спустя после матушкиной смерти, и действительно, повадки у нее были совершенно мужские. Однажды я ненароком увидела, как она кромсает кухонными ножницами свои волосы — седую жесткую гриву, как у нашего викария мистера Аллардайса, — ну и решила тоже попробовать, с предсказуемыми последствиями. «Уродливой старухе вроде меня незачем заботиться о своей внешности, — сурово сказала она. — Но тебе, деточка, негоже себя безобразить». Турнюры и кринолины тетя Вайда презирала; гардероб ее состоял из двух летних и двух зимних уличных платьев одинакового коричневого цвета («на нем грязь незаметна») да двух пар грубых башмаков. В дождливую погоду она облачалась в мешковатый плащ из промасленной парусины и нахлобучивала

зюйдвестку. Впоследствии, когда я стала совсем взрослой, тетушка всучила мне такой же комплект одежды, который я считала до чрезвычайности неприличным и надевала лишь в самых крайних случаях. От парусинового плаща исходил слабый, но явственный запах табака, и я подозревала, что куплено это обмундирование у какого-то моряка.

Мой собственный вкус в одежде сложился под влиянием матушки — она, как и тетя Вайда, не признавала пышных турнюров и тесных корсетов, но еще в моем раннем детстве выбрала артистический стиль и собственноручно кроила и шила простые свободные платья из тонких мягких тканей пастельных тонов. Со мной она не скупилась на проявления нежности, и даже во время наших уроков мы с ней сидели в обнимку на диване, тогда как тетушка, в чьей любви я нисколько не сомневалась, могла в лучшем случае неловко хлопнуть меня по плечу, как хлопают по холке норовистую лошадь, в которой не вполне уверены. Но порой я заставляла матушку сидящей в оцепенении, с испуганным лицом и остекленелым взглядом, — испытывала она ужас или физическую боль, так и оставалось непонятным, поскольку, едва заметив меня, она тотчас встряхивалась, раскрывала мне объятия и заверяла, что все в порядке, все в полном порядке. Если ее мучила боль или предчувствие близкой смерти, то она упорно это скрывала. Когда я предлагала пойти прогуляться, а ей нездоровилось, она просто улыбалась и говорила, что, пожалуй, лучше полежит немного. Таким образом, довольно часто, пока тетя Вайда странствовала по окрестностям, а матушка отдыхала, я оказывалась предоставлена самой себе.

Единственным примечательным предметом обстановки в моей спальне, с детской точки зрения, было ростовое зеркало в потускневшей раме, прикрепленное к стене рядом с кроватью. В шестилетнем возрасте я придумала игру (во всяком случае, начиналось все как игра), будто бы мое отражение — это моя сестра Розина. Имя само собой всплыло в голове в один прекрасный день и показалось мне очень благозвучным. Я вставала перед зеркалом и пристально смотрела на свое отражение, пока не впадала в странное полугипнотическое состояние, в котором жесты и мимика Розины казались мне независимыми от моих. Розина, разумеется, походила на меня как две капли воды, только была левшой. Но вот по характеру она была совсем другая: своевольная, дерзкая, непокорная, совершенно бесстрашная. И удивительное дело (хотя тогда меня это нисколько не удивляло), она не была дочерью моей матушки, даром что приходилась мне родной сестрой. Она просто возникла из зеркала во всей своей полноте, сама себе закон.

За Розину я говорила другим голосом, звонче и резче моего, и зачастую наши разговоры перерастали в горячие перепалки, когда она принималась насмеяться надо мной из-за моего отказа сделать что-нибудь запретное, например тихонько выскользнуть из дома среди ночи, чтобы поиграть при свете луны. Если я вдруг решалась на какой-нибудь рискованный поступок, пойти на попятную мне не давала именно боязнь навлечь на себя презрение Розины, каковое чувство я воображала столь живо, словно оно было моим собственным. Когда матушка отдыхала, я любила играть одна в саду, обнесенном каменной стеной грубой кладки, — думаю, та была высотой не больше шести футов, но в детстве казалась мне высоченной. Забираться на ограду мне строго запрещалось, однако, подстрекаемая Розиной, я с каждым разом поднималась чуть выше, чем прежде, и наконец уселась на ней верхом. Глядя вдоль побережья, я видела отвесную стену утеса, срезанную гладко, как масло ножом, и слышала шум моря далеко внизу.

Добрую неделю у меня хватало духу только заползти наверх, и прошла еще целая неделя, даже больше, прежде чем я впервые осторожно спустилась в жесткую кустистую

траву по другую сторону ограды. На склоне вокруг в изобилии рос утесник, поэтому укрыться так, чтоб меня не увидели из дома, не составляло никакого труда, разве только приходилось беречься острых шипов. Хотя сердце у меня замирало от страха, я тотчас же поняла, на что отважусь дальше: приближусь к самому краю обрыва и посмотрю вниз.

Не знаю, до какой степени я верила, что Розина существует независимо от моего воображения. Часть меня сознавала, что я просто играю в игру сама с собой. Однако голос Розины всегда доносился откуда-то извне. Я не хотела быть плохой девочкой и огорчать матушку, но Розине было на все наплевать. Я боялась высоты и обещала никогда не подходить к краю утеса, а Розина не боялась ничего на свете. И вот изо дня в день, преодолевая страх, я подбиралась к обрыву все ближе и ближе.

Вниз вел довольно крутой склон, и на нем имелся небольшой уступ, заросший травой, с двумя кустами утесника по краям. День, выбранный мной для решительной попытки, выдался ясным и безветренным, но я не замечала ни солнечных лучей, припекающих спину, ни жужжания пчел в зарослях утесника, ни даже грязных пятен, неумолимо множившихся на моем фартучке, когда ползла на четвереньках к уступу, вся в напряжении. Трава там оказалась выше, чем представлялось сверху, и теперь я не видела, где уступ кончается; кусты утесника справа и слева скрывали от взгляда все, что находилось за пределами этого пятка примятой травы. Перед собой я видела лишь путаницу зеленых и бурых стеблей на фоне голубого неба.

Повернуть назад мне даже не пришло в голову. С бешено стучащим сердцем, я легла на живот, вытянула вперед руки и медленно, медленно поползла дальше, каждую секунду ожидая, что вот сейчас пальцы ощутят пустоту. Из-за жесткой упругой травы, ограничивающей видимость, я не понимала, вверх я ползу или вниз, двигаюсь прямо вперед или отклоняюсь в сторону, к боковому краю уступа. Внезапно меня охватила паника. Воткнув носки башмачков в дерн, я прижалась к земле еще плотнее и лихорадочно шарила руками в траве вокруг, пока не нащупала большой камень. Я судорожно вцепилась в него и оттолкнулась со всей силы.

Камень шевельнулся, словно живой, чуть приподнялся, дрогнул... а в следующий миг огромный пласт почвы подо мной обвалился и стремительно заскользил вниз. Налетев на что-то грудью, я повисла в воздухе, а вся масса земли и камней с грохотом скатилась по отвесному склону, ударилась о подножье утеса и разлетелась в беззвучном взрыве — лишь парой секунд позже я услышала шум, похожий на приглушенный раскат грома. Над берегом внизу расплзлось облако красновато-коричневой пыли.

Я обнаружила, что держусь обеими руками за спутанные узловатые корни, торчащие из вновь образовавшейся стены обрыва, по которой все еще стекали струйки земли. Я полулежала-полувисела на ней, боясь шелохнуться или вздохнуть. Далеко внизу из груды валунов торчали острые скальные обломки, точно клыки чудовища, готового сожрать меня.

Скуля от ужаса, я медленно, очень медленно отвернула голову от бездны. Куст утесника, чьи корни спасли меня, теперь оказался на самом краю обрыва, и комель наполовину выступал наружу. При малейшем моем движении из-под корней струйками сыпалась земля.

Край обрыва находился футах в двух надо мной. Чтобы остаться в живых, мне нужно подобраться поближе к комлю, упереться ступнями в корни и фактически встать, придерживаясь за осыпающуюся стену, — только тогда можно будет вскарабкаться на уступ. Однако, невзирая на все свои отчаянные усилия, я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, а когда попыталась закричать о помощи, не сумела издать ни звука.

«Ну давай же, дура несчастная!» Голос Розины словно взорвался в моей голове — презрительный и повелительный. Корни куста задрожали, из-под комля посыпались комья земли и мелкие камешки. Помню, на мгновение я словно увидела себя сверху: прижавшуюся к стене утеса, судорожно вцепившуюся пальцами в край обрыва. Уже через несколько секунд я распласталась на твердой земле, вся в синяках и царапинах, рыдая от ужаса и облегчения одновременно.

Не знаю, сколько времени я пролежала там, прежде чем меня осенила страшная мысль: ведь я нарушила свое клятвенное обещание никогда, никогда и близко не подходить к обрыву, вдобавок я вызвала оползень — а что, если еще часть утеса обвалится? Я была в грязи с головы до пят, мой фартучек был изорван и перепачкан. Я вскочила на ноги, бегом бросилась вверх по склону, забыв о необходимости прятаться за кустами, и торопливо перебралась через каменную ограду, еще сильнее порвав одежду. Сказать правду у меня не хватит духу, поняла я. Скажу, что упала в саду или даже что попыталась забраться на стену и свалилась с нее. Таким образом я хотя бы частично признаюсь в своем проступке. Да, точно: скажу, что услышала странный шум за оградой, полезла посмотреть, что там такое, и сорвалась со стены. И мне надо идти в дом сейчас же, а не ждать, когда позовут, иначе придется объяснять, почему я оставалась в саду в таком непотребном виде.

Матушка все еще спала, и первой меня увидела Эми, которая сильно отругала меня, отмыла от грязи и дала чистый фартук. Увидев мои синяки и царапины, матушка больше испугалась, чем рассердилась; она выразила надежду, что урок не прошел для меня даром, и заставила пообещать, что я никогда впредь не полезу на ограду, — каковое обещание я дала с полной готовностью. Я по-прежнему боялась, как бы не обрушилась еще часть утеса, — а вдруг наш дом ухнет вниз среди ночи? — но, поскольку шума осыпи никто не слышал, все решили, что мне просто померещилось.

Я старалась не выдавать своего потрясения, но всякий раз, закрывая глаза, вновь оказывалась там, на почти отвесной стене обрыва, и наутро встала такая бледная, что матушка всполошилась, уж не приключилась ли со мной какая хворь. Хотя я намного охотнее предпочла бы сесть с ней за уроки, мне пришлось улечься обратно в постель и, за неимением других занятий, мрачно размышлять о содеянном. Не кричи на меня Розина, я бы точно погибла; с другой стороны, если бы она не насмешничала надо мной, не дразнила трусишкой, я бы и близко не подошла к обрыву. Немного погодя я выскользнула из постели, встала перед зеркалом и принялась бранить свое отражение: мол, как ты могла подначить меня на такое опасное дело. «Я ведь могла разбиться насмерть!» — кричала я, когда вдруг за спиной Розины (я не сразу сообразила, что просто в зеркале) появилась моя матушка, глядящая на меня с неподдельным испугом:

— Джорджина! Что ты делаешь?

— Да так, играю в шарады, мамочка, — запинаясь, пролепетала я.

Что такое шарады, я представляла смутно, но точно знала, что в этой игре среди прочего надо изображать разных других людей.

— Но ты кричала на свое собственное отражение, называла его Розиной и сказала, что могла разбиться насмерть.

— Розину я просто выдумала, мамочка. Я сочинила историю и рассказывала самой себе.

— Джорджина... — Опустившись на колени, матушка нежно, но крепко взяла меня за плечи и повернула к себе. — Я не сержусь, но ты должна сказать мне правду. Твои разговоры с зеркалом... это не полезно для тебя. И что такое ты говорила про «разбиться

насмерть»? Это имеет какое-то отношение к твоему вчерашнему падению со стены?

— Да, мамочка, — призналась я и, чтобы отвлечься от покаянных мыслей о своем ужасном проступке, принялась рассказывать про Розину: как я придумала себе сестру из зеркала и как именно Розина, девочка храбрая и безрассудная, подначила меня залезть на стену.

Все время, пока я говорила, матушка смотрела на меня с возрастающей тревогой. Наконец я неуверенно умолкла.

— Но почему ты называешь ее Розиной? — В матушкином голосе прозвучали нотки страха, каких я никогда прежде не слышала.

— Не знаю, мамочка, — беспомощно пробормотала я. — Так... само придумалось.

— Понятно. — Она немного помолчала. — Джорджина, милая, тебе не следует больше играть в эту... игру. Это вредно для тебя, как я уже сказала. Беспокоить тетю Вайду нам нет необходимости, но я не сомневаюсь, она сказала бы тебе то же самое. Я попрошу мистера Ноукса убрать зеркало, когда он придет в субботу, а ты должна пообещать, что больше так не будешь делать. Если тебе очень, очень захочется, приди и скажи мне. Я не стану сердиться, честное слово. А если ты чувствуешь себя одинокой, мы найдем тебе друзей. Тебе гораздо полезнее играть со всамделишными друзьями, чем с...

Фраза осталась незаконченной. Я себя одинокой не чувствовала, но согласилась, что хорошо бы мне завести всамделишных друзей, а потом заявила, что уже достаточно оправилась, чтоб заняться уроками. Несмотря на свое обещание, один раз я все-таки попыталась вызвать Розину, прежде чем зеркало убрали, но увидела в нем лишь себя, бледную и взволнованную, с синяком на лбу. И хотя матушка не задавала мне больше никаких вопросов, я еще довольно долго замечала, что она украдкой наблюдает за мной, с тревогой в глазах.

К обрыву я больше не приближалась и скоро забыла Розину; даже пережитый тогда ужас постепенно померк в памяти, под конец превратившись в подобие смутного воспоминания о дурном сне. Но сейчас, в палате психиатрической лечебницы — где я опять сидела в кровати, хотя совершенно не помнила, как садилась, — мне не давала покоя мысль о странной матушкиной реакции на мой рассказ про Розину. Почему она так испугалась? Решила ли, будто Розина что-то вроде призрака? Может, у меня была сестра, которая умерла? Нет, матушка непременно рассказала бы мне.

Но вот наследственное безумие — совсем другое дело. Про него она, конечно же, не стала бы мне рассказывать, даже если, вернее, особенно если опасалась, что моя одержимость зеркалом является первым признаком душевной болезни.

Единственным другим известным мне родственником был брат тети Вайды, мой двоюродный дедушка Джозайя, каждые два-три года приезжавший к нам на недельку в сентябре. Он был моложе сестры, но выглядел гораздо, гораздо старше: совершенно лысый, если не считать реденькой бахромы седых волос на затылке, с белоснежными усами и такой сутулый, что казался мне горбуном. Узкая выступающая челюсть в сочетании с сухощавой сгорбленной фигурой придавали дяде Джозае отчетливое сходство с обезьяной. Он носил толстые очки и при чтении пользовался лупой. Держался он всегда вежливо, но очень замкнуто; вы могли просидеть вместе с ним целый вечер и под конец осознать, что за все время он не произнес и двух слов. Впрочем, молчание его имело благодушный характер, — во всяком случае, мне так казалось в детстве; он изредка поглядывал на меня поверх очков и

слабо улыбался, однако ко времени, когда я переехала к нему жить, дядя Джозайя наверняка едва меня помнил.

Мамин отец Джордж Редфорд, всю жизнь прослуживший в казначействе, был младшим из трех детей в семье. Матушка охотно рассказывала про свое детство в Клэпхэме и про своих старших братьев, Эдгара и Джека: какими красавцами они смотрелись в военной форме, когда приезжали домой и расхаживали по дому, громко звеня шпорами и саблями; как потом они решили податься в Новый Южный Уэльс в надежде сколотить состояние и как моя бабушка Луиза, не в силах вынести разлуки с ними, в конце концов тоже переехала жить в Новый Южный Уэльс. А мама осталась в Клэпхэме с моим дедушкой, который скончался вскоре после того, как она вышла замуж за моего отца.

Сама матушка умерла прежде, чем я осознала, что она всегда рассказывала только про своего отца или про братьев, повторяя одни и те же забавные истории про передряги, в которые попадали Эдгар с Джеком, и почти ничего не рассказывала про себя. Однако из разных язвительных замечаний, оброненных тетей Вайдой в последующие годы, у меня составила совсем другая картина. Луиза Редфорд была тщеславной ограниченной женщиной, превратившей в ад жизнь своего мужа («бедный Джордж никогда не отличался твердостью характера») и слепо обожавшей своих сыновей, сколь бы дурно те ни вели себя, а к дочери не питавшей никаких материнских чувств. Моя матушка была любимицей Джорджа, и Луиза не могла ей этого простить. Если бы бедняжка могла загадать единственное волшебное желание, однажды сказала теть Вайда, она попросила бы для себя способности становиться невидимой.

Тетушка утверждала, что не знает, почему Эдгар и Джек уехали в Австралию, но не намекала, что они оставили военную службу при довольно темных обстоятельствах. Луиза настаивала на том, чтобы последовать за ними («иногo мальчики не заслуживают»), но матушка решительно отказалась ехать, и мой дедушка, воодушевленный примером дочери, тоже отказался — таким образом семья раскололась. По словам тети Вайды, Луиза даже ни разу не написала им из Австралии.

Единственным портретом, хранившимся у моей матери, был миниатюрный портрет ее родной бабушки со стороны отца, которую она в живых не застала. Миниатюра изображала очаровательную молодую женщину с затейливо завитыми белокурыми волосами, но не передавала никакого индивидуального характера. Хранилась та в шкатулке для украшений вместе с восхитительным собранием колец, кулонов, бус, браслетов, ожерелий и серег, по словам матушки, не имевших ни малейшей ценности, но мне казавшихся драгоценным кладом. Однако одна по-настоящему дорогая вещь у нее все же была: брошь, подаренная ей отцом на совершеннолетие. Уже после его смерти матушка узнала, что он заплатил за нее сто фунтов, — гораздо больше, чем мог себе позволить. Брошь представляла собой серебряно-золотую стрекозу, почти два дюйма в поперечнике, с маленькими рубинами вместо глаз и рубином покрупнее, окруженным крохотными бриллиантами, в каждом из четырех крылышек. Еще более мелкие бриллианты усеивали серебряный стрекозиный хвост, а ножки и усики насекомого были из чистого золота. Когда матушка прикалывала брошь к платью, длинная золотая булавка полностью скрывалась под тканью, и казалось, будто стрекоза присела отдохнуть у нее на груди.

Про своего отца я знала еще меньше. Портретов Годфри Феррарса я никогда не видела и о наружности его имела лишь самое смутное представление: с бородкой (но ведь большинство мужчин носит бородку), темноволосый (но ведь у большинства мужчин волосы

темные), высокий, но не слишком, привлекательный, но не из ряда вон. В детстве я довольствовалась любимыми матушкиными рассказами про отца — а она в основном вспоминала, как они жили в Лондоне после свадьбы, как он пользовал бедняков в Кларкенвелле и каким хорошим, заботливым и добросовестным врачом был, — но почему-то составить сколь-либо отчетливое впечатление о нем у меня не получалось. Папины родители, по словам матушки, умерли еще до того, как она с ним познакомилась, а если у него были братья или сестры, дяди или тети, то она никогда о них не упоминала. Откуда мне знать, может, вся его семья содержалась в Бедламе.

В возрасте восьми или девяти лет я начала понимать, что разговоры о моем папе — а особенно об их жизни в Неттлфорде, где он так долго оправлялся от болезни, — причиняют матушке боль, хотя она изо всех сил старалась не показывать своих чувств. Поэтому я постепенно перестала расспрашивать про него. Живи мы с ней одни, возможно, я проявила бы больше настойчивости. Но наша маленькая семья, обитавшая в коттедже под Нитонем, казалась мне совершенно полной, а внезапная смерть матери, ставшая для меня страшным ударом, вытеснила из моей головы всякие мысли об отце.

Я столь глубоко погрузилась в воспоминания, что вздрогнула от неожиданности, услышав голос Беллы, которая появилась в дверях и сообщила, что «мистер Мардант» желал бы повидать меня, если я достаточно хорошо себя чувствую. Я не увязала имя с прощальной репликой доктора Стрейкера и неохотно согласилась, решив, что меня хочет осмотреть еще один врач. Однако молодой человек, минуту спустя возникший на пороге палаты, внешне походил скорее на поэта, нежели на медика.

Он был примерно одного роста с доктором Стрейкером, но худой, почти изможденный, с густыми каштановыми волосами, довольно длинными и разделенными на прямой пробор посередине головы. В темно-коричневом бархатном костюме, белой сорочке с отложным воротником и полосатом галстуке. Свет из окна падал прямо на лицо, освещая тонкие нервные черты и темные влажные глаза.

— Мисс Феррарс? Я Фредерик Мордаунт, помощник доктора Стрейкера. Он попросил меня заглянуть к вам.

Имя «Мордаунт» отозвалось в памяти слабым эхом, подобным отзвуку далекого колокола, но уже в следующий миг оно бесследно растворилось в волне облегчения, захлестнувшей меня при словах «мисс Феррарс». Говорил молодой человек тихим нерешительным голосом, словно мы с ним находились не в больничной палате, а в светской гостиной. Я пригласила его присесть, но он продолжал неловко стоять в дверях.

— Пожалуй, не стоит... — заикаясь, пробормотал мистер Мордаунт. — Я не врач, и мне не пристало... Тут совсем рядом гостиная, камин разожжен... и я подумал, если вы уже достаточно окрепли, мы могли бы...

Через двадцать минут я шла по полутемному коридору — не совсем твердой походкой, но без помощи Беллы. Девушка постаралась привести меня в приличный вид, и, хотя я по-прежнему ощущала себя страшно грязной, голубое шерстяное платье Люси Эштон сидело на мне как влитое. Мистер Мордаунт ждал у окна в комнате немногим больше моей, но оснащенной диванчиком и двумя потертыми кожаными креслами, стоящими по обе стороны от камина. Серые обои с вертикальными темно-зелеными полосами вызывали в воображении образ зарешеченной тюремной камеры с закопченными дымом стенами. Над каминной полкой висела выцветшая гравюра со сценой охоты.

— Мы с вами уже встречались прежде, мисс Феррарс, — сказал молодой человек, когда мы уселись у камина. — Именно я принял вас в клинику... под именем Люси Эштон, — добавил, слегка покраснев. — Но вы меня не помните, верно?

— Да, сэр, не помню. Позвольте спросить, что вам сказал обо мне доктор Стрейкер?

— Мне известно, что вы перенесли тяжелый припадок и полностью утратили память о последних нескольких неделях. И что вы предпочитаете, чтобы вас называли «мисс Феррарс»...

— Я и есть мисс Феррарс, — перебила я. — Полагаю, доктор Стрейкер показал вам телеграмму?

— Боюсь, да. Но, мисс Феррарс, я здесь не для того, чтобы ставить под сомнение ваше... в смысле, я не имею такого права, ведь я не медик. Доктор Стрейкер просто считает, что беседа в непринужденной обстановке поможет вам вспомнить...

Молодой человек сделал порывистый жест, и тут же смущенно сцепил руки.

— Мистер Мордаунт, — твердо произнесла я, — хотя я не в силах объяснить происшедшее со мной, вы должны понять, что телеграмма — это какая-то ошибка или мошенничество и что я непременно уеду домой в понедельник.

Он пробормотал несколько слов, явно призванных меня успокоить, но больше ничего не сказал.

— Позвольте спросить, — продолжала я, — какое впечатление я произвела на вас, когда появилась здесь?

— Ну... — начал он, снова краснея. — Вы казались очень взволнованной и испуганной, как многие пациенты в первый день своего пребывания в клинике, но исполненной решимости поговорить с доктором Стрейкером, и ни с кем другим, о «срочном деле конфиденциального характера», как вы выразились.

— А кроме того, что вы записали, я еще что-нибудь говорила? О том, почему сюда приехала?

— Нет, мисс Эш... то есть Феррарс... не говорили. Вообще вы держались так, словно... как бы поточнее сказать... словно вы автоматически повторяете зазубренный урок, но ваши мысли где-то далеко.

— А потом? Вы говорили доктору Стрейкеру, что видели меня бродящей по территории.

— Да, видел. И даже издали вы выглядели положительно несчастной. Один раз я подошел и спросил, не могу ли я чем-нибудь вам помочь.

Он просительно посмотрел на меня, будто надеясь, что я его вспомню.

Я собиралась спросить, что же я ему ответила, но тут вошла Белла с подносом.

— Уже почти полдень, — промолвил мистер Мордаунт, — и я подумал, вы не откажетесь... я взял на себя смелость заказать легкий ланч.

Я осознала, что впервые за время своего пребывания в лечебнице я по-настоящему голодна. Странно было сидеть у камина, прихлебывая чай и поглощая бутерброд с креветками, в обществе этого привлекательного молодого человека, и внезапно в душе моей всколыхнулась надежда. Почему бы мне просто не сказать, что я уже совершенно оправилась и мне нет никакой необходимости ждать возвращения доктора Стрейкера? Я помнила, что денег у меня нет, но, может, он даст мне займы на дорогу до Лондона?

— В чем состоит ваша работа у доктора Стрейкера, мистер Мордаунт? — поинтересовалась я.

— Главным образом, мисс Феррарс, я отправляю обязанности секретаря. Как вы понимаете, у нас здесь невпроворот бумажной работы. Но доктор Стрейкер не только умнейший, а и добрейший человек. Сколько я себя помню, он всегда был мне вместо отца.

— Вы знали его еще до того, как приехали сюда?

— Нет, мисс Феррарс, я здесь родился.

— Значит, ваш отец был врачом?

— Нет, душевнобольным.

Я ошеломленно уставилась на него:

— Ваш отец содержался здесь?!

— Да, все последние годы своей жизни. Видите ли, мисс Феррарс, Треганнон-хаус стал психиатрической клиникой всего лишь лет двадцать назад. А до этого был моим родовым домом.

— Вашим *домом*?

— Да. Мордаунты жили здесь с тысяча семьсот двадцатого года, когда мой прапрадед женился на представительнице рода Треганнонов. То был союз двух богатых семей, укрепивший положение обеих, а также соединивший две родословные линии, отмеченные сильной наследственной предрасположенностью к меланхолии, маниакальным состояниям и умопомешательству. Мой дед Джордж — по прозвищу Бесноватый Мордаунт, самый безумный из всех моих предков, — промотал львиную долю фамильного состояния, а из его детей один только мой дядя Эдмунд избежал тяжелой душевной болезни. Но мне не следует вести такие разговоры...

— Нет-нет, продолжайте, пожалуйста, — попросила я. — А жива ли ваша матушка, позвольте спросить?

— Не знаю, — ответил мистер Мордаунт. — Я ее почти не помню. Она сбежала с другим мужчиной, когда мне было четыре года. И можно ли ее винить?

Он говорил без всякой обиды, и сердце мое преисполнилось сочувствия.

— Очень жаль это слышать. А братья или сестры у вас есть?

— Нет. Мы с дядей Эдмундом — единственные живые Мордаунты, во всяком случае в этой злосчастной ветви семейства. Здоровье моего дядюшки быстро ухудшается; боюсь, ему недолго осталось.

— Ваш дядюшка тоже обитает здесь?

— Да. У него комнаты на первом этаже, но в последние дни он почти не выходит.

— А... как вы воспитывались?

— Меня вырастил дядя Эдмунд; он платил за мое частное обучение на дому, и я всем ему обязан. Ему и доктору Стрейкеру. Они подружились во время учебы в Оксфорде. Доктор Стрейкер уже тогда глубоко изучал душевные недуги, а дядя Эдмунд поклялся сделать все возможное для того, чтобы снять родовое проклятие, как он выражается. Они мечтали основать психиатрическую клинику на принципах гуманизма и просвещения, наподобие Йоркской лечебницы для душевнобольных — вы о ней слышали?

Я не слышала, но кивнула, не желая прерывать мистера Мордаунта.

— Вступив во владение поместьем, дядя Эдмунд учредил психиатрическую клинику Треганнон и назначил доктора Стрейкера на должность главного врача. Дядя верил в него безоговорочно, хотя он и практиковать-то тогда еще толком не начал. Денег едва хватило, чтобы заплатить за лицензию. Мой дядя, хотя он совершенно не склонен к легкомыслию, частенько говорил: раз уж здесь все равно сумасшедший дом, так давайте хотя бы превратим

его в коммерческое предприятие. И вот уже много лет дело процветает; построена значительная часть нового здания, что не может не радовать... правда, я бы предпочел, чтобы все здесь пришло в упадок за отсутствием пациентов, — добавил он с неожиданной горячностью.

— А вы, мистер Мордаунт? Почему вы решили работать здесь?

— Фамильное проклятие, мисс Феррарс. Я страдаю приступами острой меланхолии. Я не смог завершить учебу на медицинском факультете, и доктор Стрейкер взял меня к себе в помощники. Здесь, по крайней мере, от моей болезни есть некоторая польза: я легко нахожу общий язык с пациентами. Мне иногда кажется, мисс Феррарс, что я светский брат некоего странного религиозного ордена: в Бога мы больше не верим, но по-прежнему уповаем на чудеса... хотя доктор Стрейкер не согласился бы со мной.

— Но разве вам не жилось бы лучше... — я чуть не сказала «где угодно, только не здесь», но вовремя спохватилась, — в обществе?

— Естественное предположение, мисс Феррарс, но мой долг — трудиться здесь. Я стал необходим доктору Стрейкеру, а кроме того...

Мистер Мордаунт отвел взгляд и покраснел. Интересно, что он собирался сказать?

— А вы, мисс Феррарс, — после паузы промолвил он. — Может, теперь и вы расскажете что-нибудь о себе? Насколько я понял, вы росли на острове Уайт.

Поначалу неуверенно, а потом все живее я принялась рассказывать об эпизодах прошлого, всплывших в моей памяти утром, однако о своей одержимости Розиной и зеркалом я благоразумно решила умолчать. Мистер Мордаунт слушал внимательно, а когда я описывала тетю Вайду — улыбался. Мне вдруг подумалось, что, невзирая на безвременную смерть матушки, детство у меня было гораздо счастливее, чем у него.

— Ваша матушка всегда болела? — спросил он. — Я имею в виду — с малолетства?

Вопрос всколыхнул в моей душе печальные воспоминания. Я никогда не считала матушку больной; в детстве мне казалось в порядке вещей, что ей надо много отдыхать, поскольку она слабая. А когда мне, объятый первым приступом горя, сообщили, что она страдала сердечной болезнью, я предположила, что так было всегда. И лишь годы спустя после матушкиной кончины я задала тете Вайде точно такой вопрос.

Дело было в самом начале весны, ясным безветренным днем. Мы с ней стояли на тропе у маяка Святой Екатерины, глядя на море, и вот уже несколько минут никто из нас не произносил ни слова. Я напряженно всматривалась в размытую гряду облаков на горизонте и гадала, не побережье ли Франции там виднеется, когда вдруг тетушка тихо промолвила, словно обращаясь к себе самой:

— Эмилия часто сюда приходила.

В задумчивости она чаще говорила «Эмилия», чем «твоя мать», и всегда гораздо охотнее пускалась в воспоминания на открытом воздухе, нежели в стенах дома. Хотя мы находились всего милях в полутора от коттеджа, тропа здесь была труднопроходимая, с крутыми подъемами и спусками, и я не могла представить матушку преодолевающей такие препятствия.

— А в детстве здоровье у нее... то есть сердце... было крепче? — спросила я.

Тетушка кивнула, все еще погруженная в задумчивость:

— Могла ходить тогда хоть день напролет. Никаких признаков сердечной слабости.

— И когда же?..

— В Неттлфорде, после того как... — Она резко переменялась в лице: на него словно непроницаемая завеса упала.

— После чего, тетя?

— Не знаю. Праздные домыслы. Меня без толку спрашивать. Я ведь там у них не бывала.

Моего отца тетушка почти не знала. Она перебралась на остров Уайт, когда любимая племянница была еще совсем маленькой, и, хотя впоследствии моя мать часто подолгу гостила у нее, отец не приезжал ни разу. Тетя Вайда пару раз мельком виделась с ним в Лондоне, но никогда не навещивалась к ним в Неттлфорд.

— Почему ты не навещала ее в Неттлфорде?

Тетушка всегда уклонялась от этого вопроса, но сейчас, когда я уже вымахала с нее ростом, я полагала себя вправе настаивать на ответе.

— Уже говорила. Годфри сильно болел. Не хотела обременять своим присутствием. А до этого он был слишком занят. Не раз приглашала к себе их вдвоем, но он все не мог выбраться. Вечно беспокоился о своих пациентах. Прожил бы дольше, кабы выбрал другую профессию, часто повторяла твоя мать.

— А он... они с мамой были счастливы вместе?

— Конечно, деточка. Почему ты спрашиваешь?

Я и сама не знала, что побудило меня задать этот вопрос. В последнее время мною владело странное беспокойство: я словно тосковала по каким-то местам, в которых сроду не бывала, но которые тотчас узнала бы, если бы вдруг увидела. Мне шел шестнадцатый год, я стояла на пороге созревания, и тетушка, в своей грубоватой, немногословной манере, всячески старалась подготовить меня должным образом. В самом начале нашей прогулки мы видели рожающую корову, а немного погодя прошли мимо пастбища, где молодой бычок пытался взобраться на телку, — довольно обычное зрелище в нашем фермерском крае. Однажды в детстве я спросила у матушки, чем это коровки занимаются, и она сказала — играют в чехарду. Вскоре я научилась в таких случаях отводить глаза в сторону, если только не находилась в полном одиночестве, но к тринадцати годам дошла своим умом до понимания существенных моментов, связанных с производством потомства.

В тот день, однако, когда я, по обыкновению, сделала вид, будто не замечаю бычка с телкой, тетушка отрывисто проговорила:

— Спариваются. У людей то же самое. Полагаю, ты уже давно догадалась. Меня лично эта идея никогда не привлекала.

Я даже не представляла, кому подобная идея может показаться привлекательной. Но, стоя там под белой башней маяка, я вдруг вспомнила натужное мычание коровы в родовых муках, и в следующий миг у меня возникло страшное подозрение, что я знаю, отчего моя мать умерла такой молодой.

— Так вот почему мама всегда переводила разговор на другое, — выпалила я, забыв о своем предыдущем вопросе. — И почему ты избегаешь говорить о... о Неттлфорде. Она надорвала сердце, когда рожала меня.

Тетя Вайда резко повернулась ко мне, с побелевшим от гнева лицом. Я отшатнулась, испугавшись, что сейчас она меня ударит, но тотчас же увидела, что злится она не на меня вовсе, а на себя. Тетушка схватила меня за плечи и пронзила яростным взглядом:

— Не смей, слышишь, не смей так думать! Это далеко, бесконечно далеко от правды. Всегда помни одно, только одно: твоя мать любила тебя больше всего на свете. Ты была ее

радостью, ее счастьем. Знай это — и не задавай больше никаких вопросов!

Она притянула меня, рыдающую, к своей груди и заключила в сокрушительные объятия, что случалось крайне редко.

Голос Фредерика Мордаунта отвлек меня от воспоминаний.

— Прошу прощения, мисс Феррарс, я не хотел вас расстраивать.

— О нет, вы здесь ни при чем, — поспешно возразила я. — Просто я очень тяжело переживала смерть матушки и... — Я растерянно умолкла, не зная, что еще сказать.

Молодой человек встал с кресла и подбросил угля в огонь. Мы уже давно закончили наш ланч, но мистер Мордаунт, похоже, не спешил откланяться.

— А в школе вы учились когда-нибудь? — спросил он, усаживаясь на место. — После кончины вашей матери, я имею в виду.

— Нет. Тетушка всегда говорила: если умеешь читать и считать, всем прочим наукам сам обучишься.

— А у вас были... у вас остались какие-нибудь друзья там, в Нитоне?

— Боюсь, нет. Большинство наших соседей были отставные военные; все семьи были знакомы между собой и нас за «своих» не считали. С мужчинами мы вступали в разговоры при встречах на прогулках, но для них мы были слишком старомодны, а женщины находили нас — во всяком случае, тетушку — слишком эксцентричными.

— То есть вы были одиноки?

— Да, полагаю, хотя тогда я одиночества не чувствовала. В Лондоне я вела куда более уединенную жизнь. А вы, мистер Мордаунт? Наверное, вы были очень одиноки здесь?

— О да. У меня постоянно менялись гувернантки, поскольку ни одна не задерживалась здесь надолго, — ведь кому захочется жить в сумасшедшем доме? Как и вы, я обрел утешение в прогулках, когда немного подрос и меня стали отпускать из дома одного. Я исходил все болото вдоль и поперек; там есть живописнейшие места, совершенно дикие, и скопления громадных друидических камней. Пролетая между ними, ветер странно гудит, и в такие моменты всегда кажется, что вот-вот произойдет что-то сверхъестественное и жуткое. Я часто стоял на берегу Дозмари-Пул — туда, по преданию, сэр Бедивер и закинул Экскалибур — и ждал, когда из воды покажется Владычица Озера... Ну и конечно, сам дом — старая его часть, где я вырос, — он ведь построен почти восемьсот лет назад. Там давно никто не живет. Даже сейчас он производит на меня гнетущее впечатление, а уж в детстве...

Я содрогнулась, представив пронзительные вопли сумасшедших и звон цепей в ночи.

— Нет, дело не в пациентах, — сказал Фредерик, словно прочитав мои мысли. — В старом доме они никогда не содержались. Добровольные пациенты всегда размещались в среднем крыле, где мы с вами сейчас находимся, — оно было пристроено в начале семнадцатого века, — а все так называемые принудительные больные содержатся в новом здании, самом дальнем от старого дома. Дело в том... в общем, я страдал ночными кошмарами, а тогдашняя наша домоправительница миссис Блейзби играла на моих страхах, рассказывая мне перед сном леденящие кровь истории про призраков, и в конце концов я даже не знал, чего боюсь больше: заснуть или остаться бодрствовать. В таких старых домах никогда не бывает полной тишины: несметные полчища крохотных существ постоянно скребутся под полами и в стенах, не говоря уже о... — Он осекся, заливаясь краской. — Прошу прощения, мисс Феррарс... крайне не деликатно с моей стороны.

— Вам нет надобности извиняться, я не боюсь мышей и крыс, если вы об этом. Но вы

когда-нибудь... видели призрака?

Ответить мистеру Мордаунту помешало появление Беллы, пришедшей за подносом. При виде ее он востепенел и достал часы, явно что-то вспомнив:

— Ужасно жаль, мисс Феррарс, но мне нужно сделать одно важное дело, совсем из головы вылетело. Это займет около получаса. Но если вы не очень утомились, может быть, вы останетесь здесь у камина? Тогда по моем возвращении мы продолжим нашу беседу. Белла принесет вам все, что прикажете.

Я тотчас согласилась с превеликим удовольствием. Фредерик поспешно направился к двери и на пороге оглянулся, словно желая удостовериться, что я не исчезла, только он повернулся ко мне спиной. Белла, пряча улыбку, последовала за ним.

Едва они вышли за дверь, у меня вдруг возникло странное чувство нереальности — в точности такое, какое испытываешь во сне за миг до пробуждения, когда внезапно осознаешь, что ты спишь и видишь сон. И настолько оно было отчетливым, что я затаила дыхание в ожидании, что вот сейчас комната бесследно растает и я проснусь в своей постели на Гришем-Ярд или же — даст Бог — в своей комнате в коттедже, где тетя и матушка тихо разговаривают в дальнем конце коридора.

Закопченные стены не растаяли, бледный свет за окном не померк, угли в камине продолжали тихо потрескивать и дымиться. И все же мое восприятие изменилось столь сильно, словно я и в самом деле проснулась от этого шума удаляющихся шагов. Я дышала полной грудью и больше не испытывала ощущения, будто проглотила кусок ледяного свинца. Воодушевленная очевидной верой Фредерика в правдивость всех моих слов, я прониклась убеждением, что с телеграммой и впрямь вышла какая-то ошибка. Я никогда прежде не оставалась наедине с молодым человеком, да еще таким приятным. Трудно представить, подумалось мне, более разные условия воспитания, чем были у нас с ним, но тем не менее наша беседа протекала совершенно непринужденно. Я не могла не чувствовать, что мы с ним родственные души и нас тянет друг к другу. Он держался так открыто, говорил так искренне — и, конечно же, краснел столь часто не от одного лишь профессионального волнения за пациента...

Вся востепенувшись, я вдруг осознала, что почти забыла: я же нахожусь в сумасшедшем доме и жду не только Фредерика, но и возвращения доктора Стрейкера из Лондона. Мысль о докторе Стрейкере подействовала на меня как ушат холодной воды. Почему же все-таки, даже до телеграммы, он столь решительно отказывался поверить, что я Джорджина Феррарс?

Сегодня суббота, подумала я. Доктор Стрейкер обещал вернуться в понедельник. Нет никаких оснований сомневаться, что он меня отпустит, — Фредерик, во всяком случае, считает своего наставника умнейшим и добрейшим человеком на свете... Но все же, если допустить, что на Гришем-Ярд вышло какое-то недоразумение...

Фредерик — наследник поместья и наверняка имеет здесь влияние. Когда он вернется, я скажу, что желаю уехать немедленно, и попрошу взаймы на обратную дорогу — что даст мне повод написать ему из дома. Разумеется, он может отказать, но ведь хуже, чем есть, мне от этого не станет. Возможно даже, он вызовется сопроводить меня до Лондона.

С этой приятной мыслью я наклонилась вперед и поворошила угли, наслаждаясь теплом от камина и думая о том, какими нелепыми показались бы Фредерику мои подозрения насчет наследственного безумия. Ближе всего к тяжелой меланхолии я подошла, надо полагать, в первом приступе горя по смерти матушки, но тогдашних своих чувств я в

точности не помнила — в памяти сохранилось лишь видение себя самой, рыдающей навзрыд, и бесслезного потрясенного лица тетушки, что сидела рядом со мной на кровати и неловко похлопывала меня по плечу; но подлинное ли это воспоминание, если умственным взором я видела нас двоих откуда-то сверху, словно из-под потолка?

Еще я помнила время, которое, за неимением лучшего определения, называла для себя «периодом отчужденности». Наступило оно настолько постепенно, что я осознала происшедшие во мне перемены только осенью, несколько месяцев спустя после нашего с тетушкой разговора про Неттлфорд, вызвавшего у нее эмоциональную вспышку. Мне представлялось, будто между мной и миром выросла прозрачная стена или будто я гляжу на мир в перевернутый бинокль — с той лишь разницей, что не окружающие меня люди стали вдруг крошечными, а сердце мое бесконечно отдалилось от них. И часто тогда на ум мне приходили слова: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?»

Я не была — по крайней мере, не осознавала себя — несчастной, просто сделалась безучастной ко всему окружающему. Спроси меня кто-нибудь, я бы заверила, что люблю тетушку ничуть не меньше, чем раньше, но теперь при виде ее ничто не шевелилось в моей душе. Казалось, я утратила всякую способность чувствовать. Я видела, что тетя Вайда беспокоится за меня, но не хотела причинять ей боль, а вдобавок ощущала своего рода внутренний запрет на подобные признания. На протяжении всей той зимы я упорно уверяла, что со мной все в порядке, и даже не замечала, что сердце мое постепенно пробуждается, покуда в один прекрасный день в начале следующей весны не осознала вдруг, что вновь стала собой прежней.

Именно тогда, на мой шестнадцатый день рождения, тетя Вайда подарила мне бювар и записную книжку в съёмной обложке из такой же голубой кожи.

— Думаю, тебе следует вести дневник. Сама никогда не имела такой привычки. О чем часто жалела. Постарайся писать что-нибудь каждый день.

Я подумала, не вызывает ли она меня на разговор про мое отчужденное состояние, но странный внутренний запрет опять заставил меня промолчать, и в порядке компенсации я в тот же самый вечер начала вести дневник. Я никогда ни с кем не переписывалась, если не считать обязательных писем к дяде Джозайе, и процесс изложения своих сокровенных мыслей на бумаге показался мне довольно мучительным, но чрезвычайно интересным. Раньше я редко запоминала свои сны, но чем усерднее я их записывала, тем ярче они становились и чаще меня посещали. Один сон, в частности, повторялся раз за разом: в нем я ходила из комнаты в комнату, разыскивая матушку. В доме больше никого не было, и эхо моих шагов казалось неестественно громким. В начале сна я всегда находилась на первом этаже и по прошествии времени вдруг замечала, обмирая от дурного предчувствия, что все вокруг покрыто слоем тонкой белой пыли. Иногда у меня мелькала мысль: «Но ведь мама давно умерла!» — но всякий раз уже в следующий миг я осознавала, что дело происходит во сне. В одном таком сне я продолжала подниматься по лестнице, и с каждой ступенькой слой пыли становился все толще, а под конец она поднялась в воздух огромным удушливым облаком — и я проснулась с криком ужаса.

Один из углей громко треснул и выбросил сноп искр. Мой бювар и брошь! «Мы здесь все девушки честные», — вспомнила я, вновь холодея от страха. По словам доктора Стрейкера, я (или Люси Эштон) в качестве адреса проживания назвала отель «Ройял» в

Плимуте. А вдруг я оставила бювар с брошью там? Возможно, сейчас, когда я немного успокоилась, мне удастся вспомнить хоть какие-нибудь события последних недель. Я сосредоточилась изо всех сил, но в памяти по-прежнему ничего не всплывало, кроме смутной мешанины серых осенних дней в дядиной лавке, а потом — без всякого осязаемого промежутка времени — моего пробуждения в лазарете.

В коридоре послышались быстрые шаги, и мгновение спустя в дверях возник Фредерик, слегка запыхавшийся:

— Мисс Феррарс, прошу прощения за долгое отсутствие. Сейчас Белла принесет нам еще закуски.

Для меня время пролетело незаметно, но я с удивлением поняла, что опять проголодалась.

— Я бы вас не оставил, — пояснил он, усаживаясь в кресло, — но мне нужно было отвезти документы в Лискерд, к лондонскому поезду.

— Надо ли понимать, что сегодня поездов больше не будет?

— Точно так... Но почему вы спрашиваете, мисс Феррарс?

— Потому что... вы не подскажете, какова стоимость проезда до Лондона?

— Две гинеи за билет первого класса.

Сердце у меня забилось учащенно и во рту пересохло, но я все же решилась изложить свою просьбу:

— Мистер Мордаунт, вы наверняка имеете здесь влияние. Безусловно, вы понимаете, что мне необходимо поскорее увидеться с дядей. Я твердо знаю, что с телеграммой вышла ошибка, и не хочу дожидаться доктора Стрейкера. Я желаю уехать первым утренним поездом, и, если вы ссудите мне денег на билет, я возвращу вам долг сразу же по прибытии домой.

— Мисс Феррарс, вы здесь не узница, и никто не станет вас насильно удерживать. Но я все же настоятельнейше прошу вас дождаться доктора Стрейкера. Не забывайте, вы перенесли тяжелый припадок, и еще остался вопрос, почему вы назвались Люси Эштон и что произошло с вами в течение последних недель, выпавших из вашей памяти. Если вы покинете лечебницу прежде, чем эти загадки разрешатся, у вас может случиться рецидив. Я вот спрашиваю себя, не инстинкт ли исцеления привел вас к нам: ведь доктор Стрейкер крупнейший специалист по расстройствам личности. Я не утверждаю, что вы страдаете подобным расстройством, но *если* вдруг страдаете, лучшего врача вам не найти.

— Вы можете гарантировать, что в случае, если я дождусь доктора Стрейкера, он позволит мне уехать, когда я захочу?

— Даю слово, мисс Феррарс. Вы добровольная пациентка, и вам единственно потребуется за сутки уведомить о своем решении в письменном виде. Впрочем, поскольку вы находитесь здесь на положении гостя, даже в этом не будет необходимости.

— Но...

Я собиралась сказать, что доктор Стрейкер дважды отказал мне в разрешении покинуть клинику, но потом сообразила, что Фредерик может и не знать этого.

— Видите ли... доктор Стрейкер решительно склонен считать, что я не Джорджина Феррарс.

— Вы должны понимать, мисс Феррарс: он часто имеет дело с пациентами, которые принимают за истину свои... гм... болезненные заблуждения. Я не говорю, что *вы* заблуждаетесь подобным образом, хочу лишь сказать, что он обязан рассматривать такую

вероятность. Ей-богу, мисс Феррарс, вам нечего бояться. Я бы без колебаний доверил ему свою жизнь.

Фредерик раскинул руки в заверительном жесте. Кисти у него были очень выразительные, с длинными гибкими пальцами, и любое движение своих эмоций он сопровождал безотчетной жестикуляцией. Время от времени он спохватывался и крепко сцеплял руки на коленях, но потом опять забывался, руки его расцеплялись и опять начинали «разговаривать». Меня подмывало попросить Фредерика, чтобы он не сдерживался из-за меня и дал волю своим рукам, но подобная просьба прозвучала бы фамильярно и даже двусмысленно.

— Так, значит, у вас нет представления, почему вы назвались мисс Эштон? — после паузы спросил он.

— Ни малейшего. Сколько я ни ломала голову, все без толку... А у вас, мистер Мордаунт, есть какие-нибудь предположения относительно того, что со мной могло стрястись? Как я могла утратить всякую память о последних полутора месяцах, сохранив при этом ясные воспоминания обо всем, что было раньше?

— Ну... — нерешительно начал он. — Случается, после тяжелого душевного потрясения человек напрочь забывает о событии, его вызвавшем. Это своего рода защитная реакция ума — так короста нарастает на ране и не сходит, покуда рана не заживет. Но в вашем случае, скорее всего, причиной потери памяти стал приключившийся с вами обморочный приступ, как наверняка сообщил вам доктор Стрейкер. В самом деле, мисс Феррарс, вам очень повезло, что вы остались живы: в прошлом году двое наших пациентов умерли от такого же припадка... — Он испуганно осекся. — Ох, прошу прощения, мисс Феррарс, мне не следовало этого говорить. Доктор Стрейкер был бы крайне мной недоволен. Вы быстро идете на поправку, вот что важно. Нам же надо понять прежде всего, что привело вас сюда. По всей вероятности, доктор Стрейкер уже повидался с вашим дядей и успокоил его на ваш счет, а возможно даже, разрешил загадку вашего появления здесь. Зачем рисковать, пускаясь в долгое, холодное, утомительное путешествие, пока вы не оправились полностью? Здесь вам ничего не грозит, честное слово, и я буду счастлив вплоть до возвращения Стрейкера составлять вам компанию при каждой возможности — если вы не против, разумеется.

Доводы звучали резонно, и перспектива провести еще один день или даже два в обществе Фредерика казалась заманчивой. Однако тихий, настойчивый внутренний голос убеждал меня не давать слабину.

— Если же вы твердо положили покинуть клинику, — продолжал мистер Мордаунт, — есть ли у вас в здешних краях кто-нибудь — близкий друг, родственник, — у кого вы могли бы остановиться?

— У меня нет никого, кроме дядюшки. Я одна на всем белом свете. — Последние слова отозвались эхом в моем уме, словно я совсем недавно где-то их слышала.

Мне пришло в голову, что нет необходимости уезжать следующим же поездом; я могу задержаться здесь до завтрашнего вечера или даже сесть на утренний поезд в понедельник.

— Мне хотелось бы подумать, — наконец сказала я, — и дать окончательный ответ утром.

— Конечно, мисс Феррарс, я весь к вашим услугам.

Наш разговор прервало появление Беллы, принесшей чай с плотной закуской из сэндвичей, пшеничных лепешек и кекса. И опять меня поразила мысль о неуместности чаепития в сумасшедшем доме, да так сильно, что я едва не рассмеялась в голос. Еще я

осознала, что проголодалась пуще прежнего, и несколько минут мы ели в молчании, украдкой поглядывая друг на друга.

— Мисс Феррарс, — неожиданно сказал Фредерик, — раз вы попросили у меня займы на дорогу, надо ли полагать, что у вас нет при себе денег?

— Ни пенса. Однако чемодан, с которым я прибыла, не мой. И одежда в нем не моя, хотя все вещи в точности такие, какие я сама купила бы, снаряжаясь в поездку. Но зачем бы мне это делать, если у меня уже есть прекрасный гардероб?

— Действительно, странно... очень странно. Наводит даже на предположение... Но ведь у вас должны были быть деньги, чтобы сюда добраться.

— У меня возникла ровно такая же мысль. Белла говорит, я дала ей шестипенсовик сразу по прибытии, но она не видела среди вещей кошелька, когда распаковывала мой... тот чемодан. И меня беспокоит отсутствие еще двух предметов, без которых я никогда не отправилась бы в поездку: бювара и драгоценной броши, моей единственной памяти о матушке.

Я подробно описала оба предмета и спросила, не доставала ли я бювар из чемодана, когда мистер Мордаунт принимал меня в клинику.

— Нет, вы ничего при мне не доставали. В честности Беллы я несколько не сомневаюсь, и мы стараемся набирать персонал из людей, достойных доверия, но всегда остается вероятность... Ваша комната находится этажом ниже, на противоположной стороне здания. Я начну с...

— Мистер Мордаунт, я никого не обвиняю в воровстве. Просто беспокоюсь, уж не забыла ли я бювар с брошью, например, в плимутском отеле, который указала в качестве своего адреса... по неизвестной пока причине.

— Да, понимаю. О своем пребывании там вы ничего не помните, разумеется, но сам факт, что вы остановились одна в гостинице, наводит на предположение, что путешествовать для вас обычное дело, — так ли это?

— Я не сказала бы, что такое уж обычное, но, действительно, мы с тетужкой совершили несколько путешествий после... — я чуть не сказала «после периода отчужденности», но вовремя спохватилась, — после моего шестнадцатилетия. Она сказала, что мне пора немного посмотреть мир. Тетужка заставляла меня покупать билеты на железнодорожной станции, заблаговременно заказывать номера в гостиницах и улаживать необходимые формальности по прибытии. Она была исполнена решимости вырастить из меня самостоятельную, независимую женщину.

— А куда вы ездили? За границу?

— Нет. Мы дважды посещали Шотландию, потом Йоркшир и Кент...

— А Плимут?

— Нет, там мы ни разу не были... то есть насколько я помню.

«И ни разу не были в Неттлфорде», — пронеслось у меня в голове. Я неоднократно пыталась уговорить тетю Вайду: мол, больше всего на свете мне хочется увидеть место, где я родилась. Но в ответ всегда сыпался град возражений: нечего нам там делать, бывшего вашего дома мы все равно не найдем, его наверняка давно снесли; пейзажи в тех краях такие же, как на острове Уайт, только гораздо менее живописные, — и все в подобном духе. В конце концов я от нее отстала, памятуя, как сильно она расстроилась при упоминании о Неттлфорде во время нашего разговора у маяка и как прокричала тогда в великом волнении: «Ты была ее радостью, ее счастьем. Знай это — и не задавай больше никаких вопросов!»

Подняв взгляд от огня, я увидела, что Фредерик пристально наблюдает за мной. Когда наши глаза встретились, он залился краской, и мы закончили чаепитие в неловком молчании. На меня вдруг навалилась страшная усталость. Через несколько минут он отметил мое утомленное состояние и откланялся, пообещав вернуться утром.

Той ночью я заснула без помощи хлоралгидрата и спала крепким сном без сновидений, от которого очнулась на сером рассвете, под стук дождя за окном. Я выбралась из постели, двигаясь гораздо свободнее, чем накануне, и прижалась лицом к решетке. Обложной проливной дождь лупил по дорожкам и отскакивал крупными брызгами от верха каменных стен. Черные скелеты деревьев еле виднелись за оградой, окутанные пеленой тумана.

Такой же дождь лил, когда мы лишились нашего дома, вспомнила я. Осень близилась к концу, и погода стояла такая ненастная, что я уже несколько дней не выходила за порог. Крыша дала течь, и вода звонко капала в ведро в бывшей матушкиной спальне. Сад превратился в болото, потоки воды огибали коттедж и прорывали глубокие русла в раскисшей земле. Всю неделю барометр показывал «дождь»; особого ветра не было, только непрерывный ливень. Но к утру субботы барометр упал до отметки «буря», и по морю пошла крупная зыбь. С наступлением сумерек рокот волн стал громче и ветер усилился.

Эми и миссис Бриггс дома не было: в последнюю субботу каждого месяца они уезжали в гости к родственникам. После ужина мы перешли в гостиную и придвинули кресла поближе к камину. Тетушка раскладывала пасьянс для успокоения нервов, но я хорошо видела, что ей не по себе. Я сидела спиной к огню, прислушиваясь к грохоту дождя по крыше, скрипу деревянных перекрытий, дребезжанью оконных рам под порывами ветра и глухому, гулкому реву моря, звучащему фоном.

Неожиданно весь дом содрогнулся. С каминной полки и комода со звоном посыпались фарфоровые безделушки, дверцы буфета распахнулись, пол резко накренился и вновь выровнялся. Потом раздался страшный грохот, похожий на раскат грома, и стены сотряслись с такой силой, что у меня лязгнули зубы. В первый момент я решила, что в коттедж ударила молния, но вспышки-то мы не видели.

— Это утес, — отрывисто сказала тетя Вайда. — За фонарем, живо!

Схватив свечу, я бегом бросилась вниз. Тетушка, невзирая на свой ревматизм, следовала за мной по пятам. Фонарь мы держали на крючке у кухонной двери. Я возилась с фонарным колпаком и восковыми спичками, казалось, целую вечность, но наконец фитиль занялся и вспыхнул ярким белым пламенем.

Мы быстро прошагали по коридору и распахнули переднюю дверь — навстречу яростному ветру и оглушительному реву моря, какого я никогда прежде не слышала. Я видела четыре каменные ступени крыльца, черные и блестящие, да несколько футов гравийной дорожки под ними, а дальше свет фонаря тонул в потоках ливня, похожих на связки тонких стальных прутьев, стремительно пролетающих на фоне непроницаемой черной завесы.

— Пойду посмотрю, что там творится, а? — прокричала я, протягивая руку за дождевым плащом.

— Нет... слишком опасно... надо уходить немедленно, — ответила тетя Вайда, торопливо надевая плащ. — Нам нужно отыскать тропу... добраться до дома священника.

— Мамина брошь! — воскликнула я и ринулась вверх по лестнице, прежде чем тетя Вайда успела меня остановить.

Ворвавшись в свою комнату, я схватила красную бархатную коробочку с драгоценностью, потом схватила с туалетного столика бювар, торопливо засунула за пазуху и через считанные секунды спустилась в прихожую — тетя еще даже не успела застегнуть ремешок зюйдвестки. Я проворно накинула дождевик и надела галоши, после чего мы вернулись к кухонной двери и вновь выглянули под ливень. В задней стене сада незадолго до матушкиной смерти проделали калитку: чтобы добраться до деревни, нам предстояло подняться по узкой крутой тропе длиной ярдов сто, пролежавшей через заросли утесника, а потом пройти по дороге — наверняка по колено в грязи после такого-то потопа — по меньшей мере четверть мили, прежде чем впереди покажутся огни Нитона.

— Дождь слишком сильный! — прокричала я. — Если фонарь погаснет, мы собьемся с пути!

— Придется рискнуть. Не отставай!

Тетушка одной рукой схватила фонарь, другой сжала мое запястье и бросилась в бушующую стихию, увлекая меня за собой.

Я ходила по этой тропе, наверное, тысячу раз; даже безлунной ночью мои ноги всегда словно сами собой несли меня от кухонной двери к калитке. Но сейчас фонарь выхватывал из клокочущей тьмы лишь сплошные кипящие потоки ливня. Поначалу коттедж отчасти защищал нас от ураганного ветра, но пламя фонаря все равно бешено металось и раскаленное стекло угрожающе шипело и потрескивало, пока мы, шатаясь и спотыкаясь, брели через сад, — мне оставалось лишь молиться, что в правильном направлении. Ветки царапали лицо, на галоши налипали тяжелые комья грязи. Я не понимала, от страха я трясусь всем телом или самая земля подо мной дрожит. При каждом громовом ударе могучих волн о береговые утесы я с ужасом ожидала, что под моими ногами развернется черный провал.

Поскальзываясь и оступаясь, мы шли вслепую несколько бесконечно долгих минут, прежде чем я наткнулась на каменную стену и почувствовала, как тетушка тянет меня вправо. Наконец мы добрались до калитки и начали взбираться по склону. Мокрые ветки утесника цеплялись за наши плащи, мы едва уместались на тропе плечом к плечу, и чем выше мы поднимались, тем яростнее налетал ветер, пытаюсь сорвать с меня зюйдвестку и швыряя ледяные струи дождя мне за шиворот.

Я принялась считать шаги и дошла где-то до пятидесяти, когда вдруг тетя Вайда сдавленно охнула и тяжело повалилась наземь, увлекая меня за собой. Фонарь вылетел у нее из руки, ярко полыхнул и погас, со звоном разбившись. Мы оказались в кромешной тьме.

— Что случилось? — прокричала я, подтаскивая тетушку поближе к себе и пытаюсь сесть.

— Лодыжка... не могу идти.

— Я тебе помогу.

Я начала вставать, но потеряла равновесие и рухнула в кусты ниже по склону, ободрав щеку о колючую ветку. Подавив панику, я осторожно шарила ногой в скользкой грязи, пока не наткнулась на что-то мягкое; послышался очередной стон, и я подползла к тетушке.

С большим трудом мне удалось усадить ее и сесть самой. Мы устроились в обнимку, откинувшись спиной на куст. Перчатки и дождевики защищали нас от шипов, но мои галоши были полны воды, и я чувствовала, как дрожит тетушка. Я прижалась к ней теснее и поплотнее запахла наши плащи. Склонив головы друг к другу, мы хотя бы могли переговариваться, не переходя на крик. Заросли утесника давали мало-мальское укрытие, но

вокруг нас по-прежнему яростно завихрялся ветер и нещадно молотил ливень.

— Или дальше одна, — хрипло произнесла тетя Вайда. — До дороги уже рукой подать.

Ползи на четвереньках, держись кустов, чтоб не сбиться с тропы.

— Я тебя не брошу, тетя. И вообще одна я заплутаю.

— Следи, чтобы шум моря все время был позади. Как достигнешь дороги, все время держись левым боком к ветру, пока не увидишь впереди огни.

— Нет, ты тут замерзнешь, если я уйду.

— А если останешься, мы обе погибнем. Того и гляди еще кусок утеса обвалится. Пришлешь мне помощь — ты, главное, не бойся.

Я мысленно представила оставшуюся часть подъема. Хотя кусты утесника росли тесно, местами между ними были довольно широкие бреши. А случись мне ненароком свернуть с тропы, я безнадежно застряну в гуще зарослей или буду все ползти, ползти вслепую — и в конце концов поеду вниз по скользкой круче и расшибусь насмерть, сорвавшись с обрыва.

— Я не могу. Мне ни за что не найти дорогу.

— Ладно, — после паузы промолвила тетушка. — Но если развиднеется, тотчас же пойдешь.

Даже здесь, на полпути вверх по склону (половину-то пути мы наверняка преодолели?), — даже здесь рев моря казался оглушительным. Времени было начало десятого, не больше, — почти десять часов до света, если только облака не разойдутся. Неделю назад, до дождей, луна стояла полная, но нам хватило бы и звезд, чтоб не заблудиться. Теперь мы обе дрожали, и ноги у меня одеревенели от холода. Я еще крепче обняла тетушку и стала ждать смерти, стараясь не рисовать в уме, как земля под нами разверзается и мы летим в черный провал, как лежим с переломанными костями под тоннами скальных обломков, все еще живые. Потом вдруг я с поразительной ясностью увидела мысленным взором поток земли и камней, стремительно падающий с утеса, и себя саму, висящую на спутанных корнях утесника, всю обсыпанную красноватой пылью.

— Розина! Помоги мне! — услышала я свой отчаянный голос.

Тетя Вайда, сильно вздрогнув, повернулась ко мне:

— Что? Что такое ты сказала?

— Да так... что-то вроде молитвы.

Она неразборчиво пробормотала несколько слов и умолкла. Я вспомнила, как матушка застала меня перед зеркалом и с каким страхом расспрашивала про Розину. Если мы выживем, решила я, непременно выпытаю у тетушки все... все, что ей известно про Розину, Неттлфорд и моего отца...

Ливень не переставал, и ветер по-прежнему безжалостно хлестал в темноте, вытягивая из моего тела последнее тепло. Дрожь била меня все сильнее, и мне приходилось стискивать зубы, чтоб не стучали. Вот нелепо-то будет, мелькнуло у меня в уме, если мы тут замерзнем до смерти, а дом наш останется цел-целехонек. Я где-то читала, что за счет дрожи организм вырабатывает дополнительное тепло. Я начала ритмично стискивать и разжимать объятия в надежде согреть тетю Вайду. Под нами хлюпала грязь; мне чудилось, будто мы заваливаемся то на один бок, то на другой, и я понимала, что это обман чувств, единственно потому, что спина моя по-прежнему прочно опиралась на ветки утесника. Перед глазами поплыли зеленые точки света. На краткий безумный миг я приняла их за звезды, но почти сразу сообразила, что глаза-то у меня зажмурены. А когда я глаза открыла, крохотные плавающие огоньки не исчезли. Я теснее прижалась к тетушке, трясаясь всем телом и молясь о спасении.

Ее голова бессильно свесилась к моему плечу, потом вяло откинулась назад, потом снова свесилась. Дождь ослабел, даже рев моря стал тише. Я вдруг осознала, что больше не дрожу. Мои руки и ноги совершенно онемели, но меня это нимало не беспокоило, поскольку холода я больше не чувствовала — лишь блаженную сонливость, словно погружаешься в теплую ванну...

Я лежала в мягкой траве, рядом с буйно цветущей живой изгородью. Все краски вокруг были ярче и сочнее любых виденных мною когда-либо прежде: от красного, алого, лилового, розового и белого просто дух захватывало, и казалось, будто все цвета слабо вибрируют. Солнце приятно припекало щеку, воздух звенел от птичьего щебета и густого жужжания пчел, которое становилось все громче, громче и наконец отдалось дрожью в моем теле. В следующий миг солнце со страшным грохотом исчезло, и я очнулась в ледяной мгле, слыша долгое гулкое эхо очередного обвала, раскатывающееся где-то внизу.

— Все кончено, — невнятно пролепетала тетя Вайда. — Тебе надо уходить.

— Тетенька, проснись сейчас же, — взмолилась я. — Мы замерзнем до смерти, если снова заснем.

Я опять принялась тискать, тормошить ее одеревенелыми руками, изо всех сил заверяя, что ночь уже на исходе (и стараясь убедить в этом себя саму), но она лишь слабо пошевелилась и что-то неразборчиво промычала. Дождь наконец-то прекратился, но ветер по-прежнему налетал яростными порывами, и рев моря казался даже ближе и громче прежнего.

Большая ли часть утеса обвалилась? Затронул ли обвал наш дом? Напрягая зрение, я всмотрелась в сторону, откуда доносился грохот волн, и внезапно мне показалось, что темнота уже не такая кромешная. Устремив взгляд вверх, я различила бледные проблески звезд за летучими грядками облаков. Вокруг меня из темноты выступали неясные очертания папоротника-орляка. Чтобы увидеть, цел ли коттедж, мне нужно было встать, но ноги отказывались повиноваться — такое ощущение, будто они у меня вообще ампутированы.

Что же мне делать? Если звездный свет не померкнет, а я заставлю-таки свои ноги шевелиться и преодолею оставшуюся часть подъема, то смогу добраться до Нитона минут за двадцать, и тетюшка будет спасена в течение часа. Коли я останусь с ней, она продержится дольше, но все равно недотянет до утра (которое явно наступит еще не скоро), даже если наши жизни не унесет третий оползень.

Я очень осторожно отстранилась от нее, взяла обеими онемелыми руками свою безжизненную ногу и разминала, растирала икру, пока мышцы не скрутила болезненная судорога. Потом я проделала то же самое с другой ногой и медленно, с огромным трудом встала, цепляясь за ветки утесника.

Низко в небе сквозь облака просочился тусклый свет луны — она висела совсем еще низко над вспененным, бурлящим морем, а значит, времени было немного за полночь. Ярдах в пятидесяти ниже по склону, где я ожидала увидеть силуэт нашего коттеджа, тянулась неровная граница обрыва, словно вырезанная ножом на белесом фоне пенных валов.

Похолодев от ужаса, я круто повернулась, собираясь броситься вверх по тропе. Острая боль пронзила лодыжку: нога увязла в грязи, сообразила я. Пока я вытаскивала ногу, луна скрылась за облаками, и вокруг опять воцарился кромешный мрак.

Нет, не кромешный. Высоко надо мной вдруг вспыхнула звезда, ярко-желтая звезда. Нет, не звезда, а фонарь — он спускался к нам, раскачиваясь, и чьи-то голоса выкликали наши имена.

Я отделалась лишь жестоким насморком и продолжительным ознобом, но тетушка слегла с лихорадкой. Несколько дней она провела в бреду, между жизнью и смертью, а ко времени, когда жар спал, легкие у нее сильно ослабли. Нас разместили в доме священника, в смежных комнатах, и за нами ухаживали Эми и миссис Бриггс, присоединившиеся к нам с любезного разрешения мистера Аллардайса.

Если бы коттедж уцелел, думаю, тетя Вайда оправилась бы. Из ее невнятного бормотания той ночью на тропе я почему-то заключила, что она знает о постигшей наш дом участи. Но первое, что она спросила у меня, придя в сознание, было: «Когда мы вернемся домой?» Сказать правду у меня не хватило духу, и я ответила: «Не сейчас, тетенька. Сначала тебе надо окрепнуть».

Позже утром я отправилась на мыс и долго стояла в бледных лучах солнца на самом верху тропы, глядя вниз. Вокруг места, где сидели мы с тетушкой, все еще ясно виднелись перепутанные отпечатки ног, оставленные нашими спасителями. Пятьюдесятью ярдами ниже тропа обрывалась на новом крае утеса. Самой осыпи видно не было; от нашего дома и сада не осталось и следа — лишь пустой воздух да мерно набегающие на берег волны далеко внизу. Все наше имущество: одежда, книги, мебель, матушкина шкатулка для драгоценностей, сундук с матушкиными вещами — абсолютно все, кроме броши и бювара, было погребено под сотнями тонн земли и камней. Я мучительно гадала, долго ли мне удастся скрывать от тетушки правду, но в мое отсутствие кто-то, должно быть, проговорился, ибо, когда несколькими часами позже я вернулась, она взяла мою руку и прошептала: «Все в порядке, дорогая. Я знаю».

С того дня она перестала бороться за жизнь. Прежняя тетя Вайда, едва почувствовав силы, немедленно встала бы с постели и оделась, досадливо отмахнувшись от возражений и заявив, что нет лекарства лучше прогулки на свежем воздухе. Теперь же она довольствовалась тем, что полулежала в кровати, обложенная подушками, и безучастно наблюдала за последними осенними листьями, кружащими в воздухе. Наши окна выходили на другую сторону от моря, но тетушка никогда не интересовалась, как оно там поживает, и никогда не спрашивала, как сейчас выглядит место, где раньше стоял наш коттедж.

Еще она перестала чураться прикосновений: больше не отдергивала руку и не каменела, когда я ее обнимала, а спокойно принимала объятие. Даже мистер Аллардайс, дряхлый и немощный старик, частенько держал тетушку за руку, когда сидел с ней. Мы делали вид, будто она идет на поправку, но с течением дней дыхание ее становилось все более затрудненным, а когда она спала, я постоянно слышала тихие булькающие хрипы. Жидкость в легких, сказал доктор; ничего нельзя поделать, кроме как держать больную в тепле и уповать на лучшее.

Как-то зимой тете Вайде вдруг немного полегчало. Она проспала большую часть дня, а по пробуждении попросила травяного отвара и потребовала усадить ее прямо, подложив под спину подушки. Тетушкина рука, лежащая в моей, была ледяной — как всегда в последнее время, сколь бы старательно мы ни отапливали комнату.

— Тебе следует поехать к твоему дяде, — промолвила она.

— Но ты же всегда говорила, что терпеть не можешь Лондон, тетенька.

— Я имею в виду — после моей смерти.

— Ты выздоровеешь, — твердо возразила я. — А потом мы найдем другой коттедж — на сей раз подальше от обрыва — и заживем, как прежде.

— Нет, голубушка, не выздоровею. Ну-ну, не надо слез! Я прожила хорошую жизнь и рада, что последние годы мне посчастливилось провести с тобой.

— Пожалуйста, тетенька, не говори так...

— Выслушай внимательно, это важно, — резко перебила она, на миг становясь собой прежней. — У меня было все записано, но теперь бумаги покоятся под завалом.

Я вытерла глаза и постаралась успокоиться.

— Я оставила кое-какие средства слугам, разумеется. Ты будешь получать около ста фунтов в год. Извини, что не больше, но с моей смертью доход сократится вдвое, поскольку я никогда не состояла в браке. Еще есть доверительный капитал фунтов в двести, оставленный твоей матерью. К тебе должен был перейти коттедж со всем имуществом... впрочем, теперь это не важно. Если поселишься у Джозайи, сможешь откладывать понемногу. Может, найдешь какую-нибудь работу... мы с тобой часто об этом говорили... в Лондоне больше возможностей. Имя нашего поверенного — Везерелл. Чарльз Везерелл, Джордж-стрит Плимут. Напиши ему после моей смерти. Я назначила твоим опекуном Джозайю... тебе полагается опекун... наказала брату не ограничивать твою свободу. Так... теперь насчет брака. Мое отношение к этому делу тебе известно, но ты девушка красивая, а я никогда не отличалась привлекательностью. У тебя будут поклонники с серьезными намерениями. Если дашь кому-нибудь согласие на брак, сразу напиши мистеру Везереллу... сообщи, за кого выходишь замуж. Он объяснит... какие бумаги нужно составить.

Тяжело дыша, тетюшка бессильно откинулась на подушки и закрыла глаза. Я не решилась беспокоить ее расспросами, а три дня спустя она умерла.

Я прибыла на Гришем-Ярд в знаменитом лондонском тумане, который стоял еще добрых три недели. Я привыкла к тонким легким туманам, плававшим вокруг нашего дома на утесе, и предполагала, что в Лондоне такие же, только плотнее. Но этот туман был совсем другой: ядовитый, насыщенный сажей, маслянисто-желтый днем и угольно-черный ночью, он обжигал горло и забивал легкие. Дядя весело сообщил, что это еще ничего по сравнению с позапрошлогодним туманом, висевшим над городом с ноября по март. Но даже когда через три недели туман рассеялся, улицы по-прежнему денно и нощно окутывала пелена дыма, а не дыма — так проливного дождя. Каждое утро я просыпалась с ощущением, будто надышалась угольной пылью, и меня постоянно мучили простуды.

Настроение мое, оставлявшее желать лучшего в момент прибытия, становилось все подавленнее с течением томительных недель. Дядю интересовала только книготорговля, а поскольку занимался он исключительно малоизвестными теологическими трудами, у нас с ним было мало общих тем для разговора. На любой мой вопрос о нашей семье он неизменно отвечал: «Видишь ли, Джорджина, дело было так давно, что я уже ничего не помню», — и в конце концов я прекратила расспросы. То, что я в детстве принимала за благодушное внимание, оказалось благодушным безразличием, полным отсутствием всякого интереса ко всему, что лежало за пределами книжной лавки.

Начав выходить на прогулки ближе к весне, я обнаружила, что все звуки вокруг громче и все запахи мерзче, чем я могла себе представить. В нос постоянно шибало смрадом навоза и канализационных стоков, гнилого мяса и тухлой рыбы; уши закладывало от грохота экипажей и воплей уличных торговцев. Однако крайняя острота подобных чувственных раздражителей позволяла хотя бы ненадолго забыть о тягостной атмосфере дядиного дома. Блуждая по улицам Блумсбери, я не переставала дивиться тому, сколь быстро порой здесь

меняется окружение: от роскошных особняков на Белфорд-сквер до захудалых доходных домов всего лишь сотней шагов дальше. Когда я впервые увидела мертвецки пьяного мужчину в канаве, на которого прохожие обращали не больше внимания, чем на мешок угля — даже меньше, поскольку мешок угля тотчас бы прибрали к рукам, — я долго размышляла, не велит ли мне христианский долг помочь бедняге. Но уже скоро я научилась избегать взглядов встречных прохожих, ускорять шаг на сомнительных улицах, а иные из них вообще обходить стороной.

Гришем-Ярд, крохотная, мощенная бульжником площадь, выходила на Дьюк-стрит, неподалеку от Британского музея. Скромная вывеска над подворотней гласила: «Джозайя Редфорд. Покупка и продажа антикварных книг». Размещались на Гришем-Ярд и другие лавки, в том числе канцелярская, мебельная, одежная и галантерейная. Вы проходили через подворотню, похожую на короткий каменный тоннель с закопченными стенами, над которым с обеих сторон нависали верхние этажи домов, поворачивали налево и оказывались перед дверью книжной лавки, где мой дядя сидел в переднем помещении за обшарпанным бюро, когда не возился с товаром в задних комнатах.

Несмотря на сильную близорукость, он всегда точно знал, где какая книга у него лежит, и без колебаний называл цену, даже если та не значилась на форзаце. Покупателями были преимущественно степенные господа дядиного возраста — научные сотрудники Британского музея. Весь первый этаж, представлявший собой лабиринт разноуровневых комнатушек, был битком забит книгами; вдоль стен везде, где только можно, стояли стеллажи от пола до потолка. Комнаты, частью безоконные, освещались газовыми лампами и обогревались двумя печами, расположенными в переднем и заднем помещениях. Дядя смертельно боялся пожара и не разрешал пользоваться открытым пламенем нигде в доме. Еще он смертельно боялся тратить деньги на что-либо, помимо книг. Я давала на свое содержание пятнадцать шиллингов в неделю (хотя оно обходилось в значительно меньшую сумму) и приняла на себя обязанности помощника по лавке, заменив мальчишку, который упаковывал посылки по утрам, но дядя по-прежнему бледнел, расставаясь даже с мелочью.

Рядом со входом в лавку, за железной оградкой, находились ступени, спускавшиеся в кухню и судомойню, а чуть дальше — крыльцо с дверью, открывавшейся в крохотную прихожую с прямой лестницей на второй этаж, к дядиным комнатам с окнами на Дьюк-стрит. Здесь же размещалась столовая зала, оборудованная кухонным подъемником; узкая черная лестница вела из нее вниз, на половину прислуги. Экономка миссис Эддоуз, сухопарая пожилая дама с серо-седыми волосами, всегда держалась очень высокомерно — с таким видом, словно делает моему дяде великое одолжение, оставаясь здесь, хотя служила у него уже лет десять, если не больше. Она готовила всего семь блюд, по одному на каждый день недели, что полностью устраивало дядю Джозайю. Остальная прислуга состояла из приходящей прачки и служанки Кору, которую я почти не видела. Кора, насколько я поняла, была последней в длинной череде сменявших друг друга служанок, но мой подслеповатый дядя, похоже, не замечал между ними разницы. Он не любил, чтобы ему за столом прислуживали, поэтому все блюда доставлялись в столовую на кухонном подъемнике. Я предпочитала самолично убирать со стола и отсылать грязную посуду в судомойню, что наверняка Кору только радовало.

На третьем этаже располагалась спальня с ванной комнатой, а на четвертом — еще две спальни. Одну из них, с окнами на запад, я сделала своей гостиной: оттуда открывался чудесный вид на крыши, а в ясную погоду между домами вдали проблескивала река. Комната

была крохотная, не больше двадцати квадратных футов, с миниатюрным камином. Все ее убранство состояло из персидского ковра, выцветшего настолько, что уже и узора почти не видно; потрепанного старого кресла, которое я сама обтянула бархатом; круглого столика да двух стульев. Я собственноручно оклеила стены новыми обоями с зелеными лиственным узором, красиво блестящими в солнечные дни, а у окна поставила диванчик. Там я провела почти всю бесконечно долгую зиму, беспорядочно читая романы и мечтая о друге. Но где мне было искать друга? Когда потеплело, я взяла в обычай посещать Британский музей и различные картинные галереи; иногда я робко улыбалась женщинам, остававшимся рядом со мной, но почти все они были со спутниками или спутницами и в лучшем случае отвечали мне слабой улыбкой, прежде чем отойти прочь.

Нитон представал в моих грезах потерянным раем, и я часто подумывала о возвращении туда, только боялась, что и там буду точно так же томиться одиночеством, тоскуя о прежней жизни. Весной Эми написала мне, что она вышла замуж за своего возлюбленного и перебралась с ним в Портсмут, а миссис Бриггс удалилась на покой и поселилась у своей сестры в Филикстоу. Известие же о смерти мистера Аллардайса (даже в Нитоне зима выдалась на редкость суровая) окончательно решило дело.

Какое бы уныние ни нагоняла на меня дядина лавка, я вознамерилась приносить хоть мало-мальскую пользу, чем сидеть хандрить наверху. Дядя вел свои торговые дела преимущественно через почту, но он не любил закрывать лавку, когда уходил на распродажи или на встречи с другими книготорговцами, поэтому я вызвалась присматривать за ней во время его отлучек. Когда я поняла, какую ошибку совершила, было уже слишком поздно: дядя Джозайя отсутствовал с двух до пяти пополудни каждый божий день, и я теперь сидела хандрила не наверху, а внизу. Если бы в лавку вообще никто не заглядывал, я бы, наверное, взбунтовалась, но немногие покупатели, там появлявшиеся (в основном пожилые священники), приносили доход хоть и небольшой, но для дяди вполне достаточный, чтобы утверждать, что нам без него ну никак не обойтись.

Стоя у зарешеченного окна, за которым по-прежнему лил дождь, я отчаянно старалась вызвать в памяти еще что-нибудь, помимо тоскливых осенних дней, проведенных в дядиной лавке. Я помнила, и довольно ясно, как непрестанно думала, что еще одной зимы на Гришем-Ярд мне не вынести и что, когда мистер Везерелл наконец уладит все формальности с тетушкиным наследством (а дело почему-то затягивалось), я смогу снять со счета двести фунтов, оставленных мне матушкой, и отправиться в путешествие за границу — в Рим или Неаполь, там, по крайней мере, тепло...

Дрожа от холода, я вернулась в постель и попыталась решить, стоит ли мне дожидаться доктора Стрейкера. Мои размышления прервало появление Беллы, сообщившей с многозначительной улыбкой, что, хотя сейчас еще только половина девятого, «мистер Мардант» будет рад, если я позавтракаю с ним в гостиной.

Когда я вошла, молодой человек расхаживал взад-вперед по комнате. Он казался еще более бледным, чем накануне, и под глазами у него лежали темные тени. Однако при виде меня он просветлел лицом, отчего дыхание мое участилось.

— Мисс Феррарс, вы выглядите гораздо лучше!

— Благодарю вас, мистер Мордаунт. Я прекрасно спала сегодня. А вы?

— Боюсь, так себе. Я вообще... сплю неважно. Впрочем, не имеет значения.

Последовало короткое молчание, пока мы усаживались у камина.

— Скажите, мисс Феррарс, вы приняли решение? Насчет возвращения в Лондон, я имею в виду.

— Я подумала... пожалуй, я уеду сегодня вечерним поездом.

У Фредерика вытянулось лицо, а я тотчас осознала, что не уверена, так ли уж мне хочется уехать сегодня.

— Боюсь, в воскресенье нет вечернего поезда. Только утренний одиннадцатичасовой, а значит, вам придется выехать сразу после завтрака. Да еще погода такая скверная... Почему бы вам все-таки не дождаться доктора Стрейкера?

По окну барабанил дождь. Я представила, как уныло и безрадостно выглядит Гришем-Ярд в такой ненастный день, — а ведь впереди еще много-много туманных зимних дней... Конечно, я могу уехать завтра с утра пораньше, но покинуть клинику всего за пару часов до возвращения доктора Стрейкера совсем уж неприлично.

— Я бы с радостью дождалась доктора Стрейкера, — сказала я, — если бы вы не отказали мне в любезности отправить еще одну телеграмму моему дяде — просто чтобы удостовериться... что он знает, где я.

— Мне очень жаль, мисс Феррарс, но это невозможно: телеграфная контора по воскресеньям не работает. Конечно, я могу телеграфировать завтра утром, но мы вряд ли успеем получить ответ до приезда доктора Стрейкера.

— В таком случае я...

Внутренний голос побуждал сказать «уеду завтра первым поездом», но ведь Фредерик дал мне слово, я находилась здесь на положении гостьи, и Белла была приставлена ко мне в качестве личной служанки, а не надсмотрщицы — они обидятся на меня, и с полным на то основанием. Но все равно при одной мысли о встрече с доктором Стрейкером у меня мучительно холодело под ложечкой.

— Я останусь до завтра, — наконец произнесла я. — Как вы верно заметили, погода слишком ненастная для путешествия.

Руки Фредерика, крепко сцепленные на коленях, расслабленно разжались, и лицо его вновь просветлело.

— Такой же дождь лил целую неделю, когда мы лишились нашего дома, — добавила я, совсем забыв, что про роковой оползень я ни разу прежде не упоминала.

Он взглянул на меня с вполне естественным изумлением и настойчиво попросил продолжать. Никто, кроме моей матушки, никогда не слушал меня так внимательно и так долго. Фредерик почти ничего не говорил, лишь изредка бормотал сочувственные или утешительные слова, но его внимание ни на миг не ослабевало. Когда я описывала все пережитое мною на тропе той страшной ночью, он невольно содрогнулся. К собственному своему удивлению, я говорила все свободнее, все откровеннее и под конец поведала даже о том, о чем положила молчать: как я несчастна на Гришем-Ярд и как меня страшит перспектива провести там еще одну зиму.

С минутой мы сидели в молчании, задумчиво уставившись на тарелки с остатками завтрака, который я уже и не помнила, как ела.

— Я вот думаю, — осторожно начал Фредерик, — не объясняется ли ваше появление здесь подавленным настроением, владевшим вами в Лондоне. По вашим словам, все последние дни, которые вы помните, вас не покидала мысль уехать на зиму за границу. Давайте предположим, что вы действительно отправились в продолжительное путешествие — когда и куда именно, нам неизвестно, но вы сказали своему дяде не ждать вас, допустим,

до нового года. А потом... это всего лишь гипотеза, учтите... потом вы пережили несчастный случай или тяжелое потрясение и потеряли память, причем полностью... поэтому и обзавелись новыми вещами, но после всех трат какие-то деньги у вас все-таки остались. Скорее всего, вы приобрели себе все необходимое в Плимуте, перед тем как отправиться сюда. Почему вы решили назваться Люси Эштон, мы не знаем, — возможно, в глубине сознания вы понимали, что ваш рассудок сильно расстроен. Именно в Плимуте, думается мне, вы проконсультировались у врача, который и порекомендовал вам обратиться в нашу клинику. Благодаря своей отваге и решимости, столь ярко проявившимся той страшной ночью на утесе, вы сумели добраться досюда, но потом крайнее нервное напряжение разрешилось тяжелым припадком, приведшим к частичному восстановлению вашей памяти. Как я уже говорил вчера, если пережитое вами потрясение было... гм... чрезвычайно сильным — тогда понятно, почему у вас до сих пор остается провал в памяти. Если моя догадка верна, объяснение получает также и телеграмма, присланная вашим дядей, который, по вашим словам, всецело поглощен своими торговыми делами, а во всех прочих отношениях невнимателен и даже небрежен. Знать не зная о приключившемся с вами несчастном случае и его последствиях, он наверняка имел в виду: «Ваша пациентка не может быть Джорджиной Феррарс, потому что Джорджина Феррарс в настоящее время путешествует за границей». Однако, стараясь сэкономить на количестве слов, как обычно бывает при составлении телеграмм, ваш дядя написал: «Джорджина Феррарс здесь» — что имело прискорбные для вас последствия. Повторяю, это всего лишь гипотеза, но она, по крайней мере, правдоподобна, вы не находите?

— Даже более чем правдоподобна! — Я облегченно вздохнула. — Уверена, вы совершенно правы. Мне и самой приходило в голову, что я поехала в Плимут потому, что он находится неподалеку от Неттлфорда. Если я и впрямь полностью потеряла память, безотчетный инстинкт мог повлечь меня в края, где я родилась. Огромное вам спасибо, Фре... мистер Мордаунт, у меня будто камень с души свалился.

Наши глаза встретились; внезапно я осознала, что его рука, лежащая на подлокотнике кресла, находится всего лишь в футах от моей. Я потупила взгляд, но рука Фредерика оставалась в моем поле видимости. У меня пресеклось дыхание, кровь кинулась в лицо. Его пальцы медленно поползли по обивке, словно стремясь дотянуться до моих.

В следующий миг в коридоре раздались шаги, и Фредерик торопливо отдернул руку с подлокотника, а я сцепила руки на коленях и неподвижно уставилась на них, изо всех сил стараясь прогнать краску с лица. Пока Белла убирала со стола тарелки, театрально отводя глаза в сторону, я сидела, несомненно, с таким виноватым видом, будто она застала нас в объятиях друг друга. Фредерик сделал какое-то банальное замечание насчет погоды, и я ответила в таком же духе, обращаясь к камину. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем Белла удалилась и я осмелилась бросить взгляд в сторону Фредерика, который в тот же самый миг украдкой взглянул на меня, тоже красный до ушей от смущения. Молодой человек неловко поерзал в кресле, точно готовясь извиниться и откланяться.

— Мистер Мордаунт... — начала я, лихорадочно придумывая тему для разговора. — На самом деле я ведь плохо представляю, что такое психиатрическая клиника... как вы лечите своих пациентов, то есть.

Еще не успев договорить, я вспомнила, что здесь содержался и умер отец Фредерика, но, с другой стороны, он же сам пожелал помогать доктору Стрейкеру.

— Видите ли, мисс Феррарс, мы наших пациентов не лечим в общепринятом смысле

слова. Мы можем единственно создать наиболее благоприятные условия для выздоровления. Доктор Стрейкер пришел к мнению, что душевные недуги, наблюдаемые у наших добровольных пациентов, — меланхолия, нервное истощение, апатия, болезненная тревожность и прочие подобные — практически не поддаются традиционному лечению. Он говорит, мол, лечить меланхолию ртутью или водой все равно что стрелять по мишени с завязанными глазами: если палить долго подряд, рано или поздно в цель попадешь, но лишь случайно. А вот свежий воздух, заботливый уход, питательная пища, моцион и различные занятия по душе — а прежде всего отдых от забот повседневной жизни — безусловно, способствуют выздоровлению... Мы практикуем здесь своего рода моральную терапию: побуждаем каждого пациента взять на себя ответственность за собственное исцеление. В моем случае, к примеру, когда я чувствую приближение приступа меланхолии, я всегда знаю наверняка, что не в моих и не в чьих силах предотвратить его. Я могу выпить бокал вина, чтобы на душе немного полегчало, но потом у меня возникает искушение выпить второй бокал и третий. Я могу одурманить себя опиатами, но тогда я вообще ни на что не гожусь. Единственное мое желание — пока у меня еще остаются хоть какие-то желания — это лежать круглые сутки в постели, с головой накрывшись одеялом, и я очень часто так делал, пускай и понимал, что от этого становится только хуже.

Пока он говорил, мы оба овладели собой, и я решилась спросить, сродни ли меланхолия глубокому горю, или же это нечто совсем другое.

— Она отличается от горя, поскольку горе — живая эмоция: чтобы горевать, надо любить. Меланхолия же — это одновременно самая жестокая боль из всех мыслимых — страшнее любой физической боли, какую мне доводилось когда-либо испытывать, — и полное отсутствие всякого чувства. Она подобна тяжелому, душному покрову темноты — темноты и страха, ибо вы объаты ужасом, всепоглощающим ужасом, который намертво прилипает на манер моллюска к каждой вашей мысли. В разгар приступа я каждое утро просыпаюсь с таким чувством, будто совершил тяжкое преступление и приговорен к повешению. Ты испытываешь неодолимый соблазн искать забытья, а на худой конец, мысль о смертном забытье всегда с тобой... Но даже в самом подавленном состоянии я всегда точно знаю — и здесь мне очень повезло, — что темнота эта неминуемо рассеется, что душевные муки поутихнут, если только я найду в себе силы вылезти из постели и заняться своими текущими обязанностями. В этом, если хотите, и заключается суть моральной терапии. Доктор Стрейкер всякий раз напоминает, что мне станет легче, если я поднимусь с постели, но сделать это должен я сам, по собственной воле. Он мог бы вытащить меня из кровати силком, как и поступают менее просвещенные врачи в других клиниках, но это не принесло бы мне ни малейшей пользы.

— Но как вы можете говорить, что вам очень повезло, когда вы терпите такие муки? — взволнованно спросила я.

— Я говорю так, поскольку большую часть времени я от них свободен, а ведь многие наши пациенты вечно пребывают во тьме. И поскольку мой отец и дед страдали гораздо тяжелейшими душевными недугами. Бог миловал меня от буйного помешательства — пока, по крайней мере.

Последние слова Фредерик сопроводил одним из своих порывистых жестов, а потом внезапно переменялся в лице, смертельно побледнел и отвел взгляд в сторону.

— Прошу прощения, — поспешно сказала я. — Я не хотела вызвать у вас тягостные воспоминания. — И тотчас же мне пришло в голову, что *иных* воспоминаний у него

практически нет.

— Дело не в этом, — ответил он. — Просто... Но вы спрашивали меня про методы лечения. Некоторые психические расстройства и вправду поддаются лечению — например, различные фобии. Доктор Стрейкер добился замечательных успехов, применяя метод так называемой драматической терапии, который заключается в том, чтобы постепенно приучать пациента спокойно относиться к объектам, вызывающим у него наибольший страх. У нас был пациент, испытывавший смертельный страх перед змеями. Доктор Стрейкер начал с того, что завел его в комнату, где далеко от двери стоял стеклянный ящик с чучелом кобры. Каждый следующий раз, поддаваясь мягким уговорам, этот человек подступал к ящику все ближе и наконец нашел в себе силы подойти вплотную. Тогда доктор Стрейкер запустил руку в ящик и схватил кобру, после чего побудил пациента сделать то же самое.

На следующем этапе лечения доктор Стрейкер заменил чучело живой змеей, с вырванными зубами, и повторил всю последовательность действий — на сей раз это заняло гораздо больше времени, но в конечном счете пациент не только брал в руки кобру без малейшего страха, а еще и признавал, что рептилия по-своему красива.

Он... доктор Стрейкер добился равно хороших результатов при лечении ряда других фобий, а потому задался естественным вопросом, окажется ли данный метод столь же эффективен в более тяжелых случаях. Пару лет назад к нам поступил пациент, твердо убежденный, что он слышит голос Бога, приказывающий ему убить мистера Гладстона. Помню, доктор Стрейкер говорил, что многие совершенно нормальные люди испытывают подобное желание без всякого божественного повеления. Человека этого арестовали, когда он и вправду направлялся к зданию парламента с пистолетом в кармане, но, поскольку он происходил из богатой и знатной семьи, его поместили не в Бедлам, а в нашу клинику. Доктор Стрейкер хотел проверить, возможно ли излечить мономанию, позволив больному осуществить навязчивую идею в контролируемых условиях — на манер того, как выпускают жидкость из мозга или вскрывают нарыв, — и этот пациент, некий Исайя Гэдд, как нельзя лучше подходил для эксперимента.

Для начала доктор Стрейкер велел служителям в присутствии Гэдда завести разговор о скором визите мистера Гладстона в Треганнон-хаус. Содержался Гэдд в закрытом отделении клиники, но не в строгой изоляции. Пока речь не заходила о премьер-министре, он производил впечатление спокойного и рассудительного человека: сидел читал Библию, без возражений выполнял все медицинские предписания, с другими пациентами держался вежливо и, казалось, прекрасно понимал, почему помещен в лечебницу. Как и следовало ожидать, известие о предстоящем визите Гладстона привело Гэдда в чрезвычайное волнение.

А у нас как раз работал один пожилой служитель, поразительно похожий на премьер-министра. Уверен, он всячески старался подчеркнуть свое сходство с ним. По словам доктора Стрейкера, если бы мы не нашли двойника среди персонала, пришлось бы нанять актера. Ранним утром в день мнимого визита Гэдду сообщили, что его переводят в другое крыло, где он будет сидеть под замком до отъезда мистера Гладстона.

Пациента отвели в старое крыло здания и поместили в камеру в полутемном коридоре, словно сошедшую с гравюры Хогарта: голый каменный пол, железная дверь и вертикальные прутья решетки, достаточно редкие, чтобы просунуть между ними руку. Мы с доктором Стрейкером расположились в помещении напротив, оставив дверь открытой и направив свет фонаря таким образом, чтобы мы Гэдда видели, а он нас — нет.

Около часа пациент оставался в одиночестве; с каждой минутой он волновался все сильнее и метался взад-вперед по камере, точно дикий зверь. Потом по коридору пробежали два служителя, громко крича, что сейчас здесь проследует мистер Гладстон и надо бы на всякий случай поставить охрану.

К этому моменту Гэдд, судорожно стискивавший прутья решетки и прижимавшийся к ним лицом, уже находился в состоянии неуправляемого возбуждения. Вскоре вошел мужчина в форменной одежде, с пистолетом за поясом и встал прямо у клетки, каковой в сущности и являлась камера Гэдда.

При виде пистолета Гэдд неподвижно застыл, и на лице у него отразилась лихорадочная работа мысли. Потом он очень медленно опустил руки и бочком подобрался поближе к охраннику, который стоял по стойке «смирно», глядя прямо перед собой. Послышался топот, мимо прошагали еще два охранника, а в следующую минуту появился Гладстон. Сердце мое бешено колотилось; в той наэлектризованной атмосфере любой поклялся бы, что видит перед собой настоящего премьер-министра.

Все прошло как по маслу. У камеры Гладстон остановился; Гэдд молниеносно просунул руку сквозь решетку, вырвал пистолет у охранника из-за пояса и выстрелил премьер-министру прямо в сердце. Хоть я и знал, что здесь просто разыгрывается спектакль, я невольно вскрикнул от ужаса, когда Гладстон схватился за грудь и между пальцами у него потекла красная жидкость, похожая на кровь. Потом он повалился на пол и испустил в высшей степени убедительный предсмертный хрип. А Гэдд бросил пистолет к ногам охранника и возопил: «Господи, позволь же теперь Твоему слуге почить с миром согласно Слову Твоему!»

Доктор Стрейкер надеялся, что при виде своего кровавого деяния Гэдд впадет в безмерный ужас и исцелится от психического расстройства через страшное потрясение, когда осознает, что из-за своего болезненного заблуждения сделался убийцей. Он намеревался оставить пациента терзаться раскаянием (под скрытым наблюдением, дабы не допустить попытки самоубийства), а по прошествии некоторого времени сообщить ему, что Гладстон выжил. В случае удачи это вызвало бы у Гэдда равную по силе реакцию облегчения — «я не убийца!», — а потом, если бы у него не возникло признаков рецидива, мы бы устроили для проверки еще один визит «Гладстона». В конце концов Гэдду сказали бы, что вся сцена была разыграна для его же пользы, и при благоприятном течении событий его вскоре выпустили бы из лечебницы как выздоровевшего.

Однако, когда вечером того же дня доктор Стрейкер пришел к нему в камеру и обвинил в том, что он убил премьер-министра и запятнал репутацию клиники, Гэдд ответил, что глубоко сочувствует родным и близким мистера Гладстона и очень сожалеет о причиненных неприятностях, но он всего лишь выполнял волю Божию и отправится на виселицу с чистой совестью, уповая на награду в Царстве Небесном. Доктор Стрейкер оставил пациента томиться в одиночестве, но и через несколько дней не обнаружил в нем никаких перемен. Когда Гэдду сообщили, что Гладстон выжил после ранения, он спокойно промолвил: «Значит, я не выполнил свою задачу; придется ждать другого случая». Исайя Гэдд по-прежнему находится у нас, в закрытом отделении, и проводит много времени за рисованием. Его акварели — в основном натюрморты с цветами — весьма хороши. Думаю, если Гладстон умрет раньше его, Гэдда таки выпустят на волю.

— Наверное, доктор Стрейкер был очень разочарован, — заметила я.

— О нет, нисколько. Он написал подробный отчет об эксперименте в научный журнал.

Он часто повторяет, что отрицательные результаты порой столь же полезны, как положительные.

— Он пробовал еще раз провести подобный эксперимент?

— Не знаю. Доктор Стрейкер не всегда рассказывает мне, над чем работает. В старой часовне у него оборудована лаборатория, которую он называет храмом науки, и входить туда никому больше не дозволяется. Интересы доктора необычайно разнообразны: он занимался решительно всем, от прививки фруктовых деревьев — чтобы не только улучшить качество плодов, но еще и проверить, сколько различных привоев может прижиться на одном дереве, — до математики азартных игр. В настоящее время он изучает электричество, хотя я понятия не имею, с какой целью. Пару лет назад доктор Стрейкер ездил в Крэгсайд — поместье лорда Армстронга в Нортумберленде, — чтобы посмотреть гидравлическую динамо-машину, и сразу по возвращении заказал такую же для нас. Она приводится в действие потоком реки, вытекающей из озера Сиблибек, и доктор говорит, что когда-нибудь все наше поместье будет освещаться электричеством... Но несмотря на такую свою занятость вкупе с многочисленными обязанностями главного врача крупной клиники, он все равно находит время для отдельных пациентов — вроде мужчины, смертельно боявшегося змей, — и берется даже за безнадежные случаи. Только в прошлом году у нас был один пациент... Но я, кажется, слишком разболтался.

— А семья доктора Стрейкера тоже живет здесь? — спросила я.

— У него нет семьи, мисс Феррарс. Он холостяк, как мой дядя, и всецело посвящает себя работе.

При упоминании дяди по лицу Фредерика пробежала тень. За окном по-прежнему лил дождь. Он встал с кресла, подбросил углей в огонь, а потом с подчеркнутым беспокойством взглянул на свои карманные часы:

— Мне очень жаль, мисс Феррарс, но меня ждут неотложные дела. Согласитесь ли вы отобедать со мной через час или около того?

— С превеликим удовольствием.

— Тогда я постараюсь освободиться поскорее. — Фредерик улыбнулся, но в глазах его читалось смятение, и я испугалась, уж не по моей ли вине он расстроился.

Однако молодой человек выглядел совершенно спокойным, когда вернулся часом позже.

— Я уже достаточно много рассказал о себе, — решительно произнес он, — и теперь хотел бы побольше узнать о вас и вашем детстве в Нитоне.

Мое детство в сравнении с детством Фредерика казалось самым что ни на есть заурядным, но мне подумалось, что наша тихая домашняя жизнь для него сродни райскому видению. Я рассказала про зеркало и свою одержимость Розиной, побудившую меня к опасной вылазке на обрыв и впоследствии невесть каким образом приведшую к вере, а также про ожесточенные споры тети Вайды с мистером Аллардайсом. Тетушка объявляла себя агностиком, но мне всегда казалось, что они со старым священником, в сущности, держатся одних взглядов. Мистер Аллардайс говорил, что веру не постичь рассудком, но, покуда ты поступаешь так, как *если бы* ты поистине веровал в Бога, все будет хорошо. Оба они глубоко презирали спиритизм; когда я однажды выразила интерес к нему, тетушка с самым серьезным видом предложила мне снестись с духами посредством зеркала и планшетки с буквами, и полученное в результате сообщение гласило: «Спиритизм — чушь собачья».

При этих моих словах Фредерик рассмеялся, хотя на лице его лежала тень печали.

— С точки зрения здравого смысла я, безусловно, согласен с вашей тетюшкой. Но здесь очень легко поверить, что мертвые по-прежнему живут среди нас. Все эти века неистовых эмоций, пропитавших мебель, портьеры, деревянные балки, даже камни... В этом старом доме всегда холодно и сыро, даже летом; стены такие толстые, а окна такие маленькие... и странные потоки ледяного воздуха... идешь себе по коридору — и вдруг словно ныряешь в холодную реку...

— А вы когда-нибудь видели призрака?

— Видеть не видел, но, мне кажется, — слышал.

Началось все в прошлом апреле, тихим солнечным днем. Фредерик, недавно оправившийся от приступа меланхолии, решил прогуляться без всякой цели, и ноги сами принесли его к давно заброшенной полуразрушенной конюшне, со всех сторон заросшей бурьяном, которая располагалась ярдах в тридцати-сорока от старого дома, теперь окруженного лесом. Он праздно разглядывал древнюю кирпичную кладку, с наслаждением подставляя лицо непривычно теплему солнцу, когда вдруг услышал стук кирки по камню. Казалось, будто кто-то выбивает кирпич из кладки с некой исследовательской целью, и доносился звук изнутри. Фредерик заглянул в дверной проем, наискось перегороженный обвалившейся перемычкой, но никого там не обнаружил. Потом звук раздался снова, совершенно отчетливый, со звонким эхом — тук-тук, тук-тук, — только на сей раз доносился он снаружи, из-за угла конюшни слева от молодого человека. Однако, когда Фредерик приблизился к углу, стук опять прекратился. Он обошел ветхое строение кругом; высокая трава местами была примята — видимо, барсуками, — но человеческих следов он нигде не заметил и ни единой живой души не увидел. Фредерик подождал еще немного, но звук больше не повторился, и в конечном счете он решил, что производила его какая-нибудь ржавая железная шпукovina вроде сломанной дверной петли, расширяясь от солнечного тепла.

Примерно через неделю, проходя мимо старой конюшни, он вновь услышал стук, звучавший чуть громче, чем в прошлый раз, и теперь доносившийся из-за другого угла. И опять все стихло за мгновение до того, как он повернул за угол; и опять вокруг не было видно ни души. Потом звук раздался снова, где-то позади развалин. Фредерику неведомо почему вообразился человек в тюремной робе и ножных кандалах, с киркой в руках, и у него вдруг пересохло во рту от страха. Он с усилием заставил себя обойти вокруг руины, а потом удалился с сильно бьющимся сердцем.

В течение последующих недель он ежедневно возвращался туда, словно помимо своей воли. Иногда он стоял по нескольку минут кряду, не слыша ничего, кроме далекого мычания коров. У него сложилось впечатление, что всякий раз, когда он напряженно ждет знакомого стука металла по камню, ничего не происходит, но, едва его внимание отвлекается, загадочный звук тотчас раздается. И хотя изо дня в день характер стука менялся, Фредерику казалось, что в целом он становится громче и ритм учащается, впрочем о ритме как таковом говорить не приходилось, поскольку стучала кирка всегда беспорядочно. Таинственные звуки наводили ужас и одновременно завораживали, и молодой человек постепенно пришел к мысли, что у конюшни витает незримый призрак убийцы, закапывающего свою жертву.

Еще сильнее пугало ощущение, что этот стук возымел над ним некую власть: нарочно дразнит его, играет на любопытстве, подстрекает к чему-то. Фредерик рисовал в воображении, как он копает землю и лопата натывается на расколотый череп, — но что будет, если и впрямь взяться за раскопки? Он привел к конюшне старого Третвея, старшего

садовника, и довольно долго разговаривал с ним у дверного проема. Но Третвей знать не знал ни о каком давнем преступлении, и стук в тот раз не раздался, а когда Фредерик осторожно сказал, что недавно слышал здесь какой-то странный шум, старик с жалостью взглянул на него и похлопал себя по лбу, словно желая сказать: «Ну вот, очередной спятивший Мордаунт». На следующий день Фредерик повторил попытку, попросив одного из младших садовников осмотреть вместе с ним кирпичную кладку; но опять никаких звуков не послышалось, и он чувствовал, что и этот мужчина странно поглядывает на него. Однако, когда назавтра он пришел туда один, из конюшни тотчас же донесся яростный стук — резкий, зловещий и, несомненно, слишком быстрый для человеческих рук, орудующих киркой, — но у Фредерика не хватило духу зайти внутрь.

— А что было потом? — спросила я, когда молодой человек умолк.

— Я хорошо понимал, как мне следует поступить: рассказать все доктору Стрейкеру и попросить провести расследование. Но я боялся, вдруг это симптом... душевного недуга более тяжелого, чем меланхолия... и если бы выяснилось, что я слышу звуки, которых другие не слышат... В общем, я просто перестал ходить туда, надеясь, что странное явление — происходило оно в развалинах, или в моей голове, или же, как мне иногда казалось, и там и там — прекратится, если я буду держаться подальше от старой конюшни.

— Но ведь вам не полезно жить здесь, где самая атмосфера пронизана страданием! — воскликнула я. — Вам не кажется, что вы были бы более счастливы и... и здоровы... если бы жили где-нибудь в другом месте?

Фредерик долго молчал, уставившись на огонь.

— Я все время думаю об этом, мисс Феррарс, — наконец произнес он. — Но мы с дядей последние в нашем роду. Дядя Эдмунд никогда не состоял в браке, поскольку считает, что единственный способ покончить с дурной наследственностью Мордаунтов — это отказаться от продолжения рода. И он надеется, что я последую его примеру.

Молодой человек глубоко, прерывисто вздохнул, словно говоря: «Ну вот, я сказал это».

— А... доктор Стрейкер согласен с вашим дядей?

— Да. Он считает, что наследственное безумие неизлечимо и пресекается лишь с прекращением рода, — мы же, скажем, не допускаем размножения животных, страдающих различными дефектами.

— Но если вы женитесь на совершенно здоровой женщине, разве ваши дети обязательно унаследуют болезнь?

— Нет, не обязательно, в том-то и загвоздка. Они... особенно девочки, ибо подобные недуги передаются главным образом по мужской линии... они могут не обнаруживать ни малейших признаков психического расстройства. Но у них все равно будет дурная наследственность, которая может проявиться в следующем поколении или через одно во всей своей силе.

— Послушать вас, так лучше бы вы вообще не появлялись на свет. Я знакома с вами всего один день, Фредерик, но мне лично не кажется, что без вас мир был бы лучше...

Молодой человек снова глубоко, судорожно вздохнул и поднялся с кресла, по-прежнему не глядя на меня. Я подумала, что он собирается выйти из комнаты, но вместо этого он подошел к окну и встал там спиной ко мне, вздрагивая плечами. Я тоже поднялась на ноги, неуклюже после стольких часов сидения, подошла к нему и остановилась рядом. Давясь мучительными рыданиями, смокрым от слез лицом, он изо всех сил старался овладеть собой. Я положила ладонь Фредерику на руку, нежно погладила холодные пальцы. За всю

свою одинокую жизнь, подумала я, бедняга никогда не чувствовал, что кто-то искренне рад тому, что он живет на белом свете. Дядя Эдмунд, судя по всему, человек черствый и равнодушный; для доктора Стрейкера он всего лишь полезный делопроизводитель, которого нужно вытаскивать из постели по утрам и всячески подбадривать, чтобы он продолжал успешно выполнять бумажную работу. Но никто никогда не говорил Фредерику, что любит его.

Странно, но я не испытывала ни малейшего смущения. Я вдруг осознала, что позволила себе вольность назвать его запросто по имени, но нисколько не шокирована собственной дерзостью, ничуть о ней не сожалею и не боюсь показаться развязной. А самое странное — я вовсе не думала, что влюбляюсь во Фредерика. Я вообще о себе не думала: мое сердце открылось для него независимо от моей воли. Будь у меня брат — брат, терзаемый горем и душевной мукой, — мною владели бы точно такие чувства.

Постепенно дыхание Фредерика успокоилось, и он со слабой улыбкой повернулся ко мне.

— Благодарю вас, — тихо промолвил он. — Благодарю вас. Никто никогда...

— Нет, — перебила я, продолжая гладить его холодные пальцы. Оконное стекло слегка затуманилось от нашего дыхания. — Нет, ваш дядя не прав — я знаю это наверняка и думаю, что в глубине сердца вы тоже знаете. У вас нежная, любящая душа, и нельзя, чтобы она умерла вместе с вами. Уверена, меланхолия навсегда покинула бы вас, живи вы где-нибудь далеко отсюда.

— Захотите ли вы вновь увидеться со мной, когда вернетесь в Лондон?

Он пристально посмотрел на меня, словно стараясь запечатлеть в памяти мое лицо до последней черточки. Подтекст вопроса не вызывал сомнений.

— Пока не выяснится, что со мной произошло, я не в состоянии думать о будущем. Но я точно знаю, что хочу быть вашим другом, хочу увидеться с вами снова, и да, я непременно напишу вам сразу по своем возвращении в Лондон. А теперь вам следует удалиться, пока не появилась Белла... и не сделала поспешных выводов.

— Но вы, надеюсь, не уедете ближайшим поездом? — спросил он, промокая лицо носовым платком. — А дождетесь все-таки доктора Стрейкера?

— Да, — ответила я, подавляя очередной приступ тревоги.

Фредерик дал мне слово, и, в конце концов, он наследник поместья. Чего мне бояться?

— В таком случае я непременно присоединюсь к вам за завтраком. А если погода будет хорошая, мы с вами сможем немного прогуляться.

Затем молодой человек с видимой неохотой удалился, отступив к двери чуть ли не спиной вперед и наткнувшись на косяк. За окном по-прежнему лил дождь и постепенно сгущались сумерки.

Той ночью я долго лежала без сна, а стоило мне наконец-то заснуть, как буквально через минуту (по моим ощущениям) меня разбудили легкие шаги в коридоре. На краткий безумный миг я вообразила, что это Фредерик, которому тоже не спится, потом решила, что это наверняка Белла, — но разве она не зашла бы ко мне? Я тихонько подошла к двери и выглянула наружу. В пустом коридоре тускло мерцали масляные лампы; все двери в пределах видимости были закрыты. Я задумалась, где вообще спит Белла. В одной из комнат поблизости? Я подумала о призраке в разрушенной конюшне, и в ушах моих прозвучали слова Фредерика: «В таких старых домах никогда не бывает полной тишины, даже глухой

ночью». По ногам потянуло холодным воздухом; я поспешно вернулась в кровать и некоторое время лежала, беспокойно прислушиваясь. Но шаги больше не раздавались.

В следующий раз я проснулась при полном свете дня и тотчас же вскочила с постели, испугавшись, что проспала время завтрака. Должно быть, Фредерик уже расхаживает взад-вперед по гостиной, но не хочет посылать за мной Беллу, покуда я не высплюсь хорошенько. Решив не дожидаться служанки, я оделась сама и торопливо зашагала по коридору. Однако в гостиной никого не оказалось, и камин там не горел. Верно, час более ранний, чем мне подумалось. Я подергала за шнур звонка и подошла к окну. Дождь перестал, но в саду все еще было сыро и на дорожках разливались лужи.

Довольно долго я стояла, наблюдая за облаками, которые проплывали над верхушками деревьев, раздуваясь и гримасничая, словно карикатурные лица. Что же Белла так мешкает? Я снова позвонила и прождала еще несколько минут, но служанка все не появлялась.

Может, звонок не работает? Я вышла в полутемный пустой коридор. Слева от меня — с той стороны, откуда всегда приходили Белла и Фредерик, — находились еще две двери. Я попробовала обе, но они оказались запертыми. Коридор кончался еще одной дверью, тоже запертой.

Если вы пожелаете уехать, никто не станет вас насильно удерживать.

Конечно, дверь могли запереть ради моей же собственной безопасности: все-таки здесь сумасшедший дом.

Я зашагала по коридору в другую сторону и, проходя мимо гостиной, еще раз дернула шнур звонка. По левую руку от меня теперь тянулась глухая стена, лишь ближе к середине в ней находился проем, ведущий в другой коридор, гораздо короче, который тоже кончался запертой дверью. Кроме двери в ванную комнату рядом с моей палатой, все до единой двери были заперты, включая торцевую в дальнем конце коридора, — она, по всей видимости, вела в отделение для буйных пациентов в недавно построенном крыле здания.

Масляная лампа около моей палаты все еще горела, и из отворенной двери гостиной падал тусклый луч света. Единственным другим источником освещения служило матовое окошко — световой фонарь? — в потолке посередине коридора. Я вспомнила шаги, разбудившие меня ночью.

Вы здесь в полной безопасности, даю слово чести.

Стараясь не бежать, я возвратилась к двери в другом конце, погремела ручкой, а потом в панике принялась колотить кулаками по дубовой панели, пока боль в костяшках не вынудила меня остановиться.

Едва стихло эхо ударов, позади скрипнула половица, и меня мороз продрал по коже.

— Могу я помочь, мисс? Вам туда нельзя.

Я резко повернулась. В свете, падающем из двери гостиной, стояла служительница — не Белла, а кряжистая женщина вдвое старше, с ручищами толщиной с окорок и плоским свинячьим лицом с маленькими блестящими глазками.

— Кто вы? Где Белла?

— Меня зовут Ходжес, мисс.

Говорила она с лондонским акцентом и таким неприязненно-многозначительным тоном, словно хотела сказать: «Мне все про вас известно». На ней было накрахмаленное форменное платье, такое же как у Беллы, только синее. Когда она приблизилась, на меня пахнуло несвежим дыханием.

— Где Белла? — повторила я.

— У нее другие дела. Сегодня я к вам приставлена.

— В таком случае будьте добры, сходите за мистером Мордаунтом. Он будет завтракать со мной.

— Вот как, мисс? Надо понимать, вы разумеете молодого мистера Мордаунта?

— Именно так, и прошу вас, сходите за ним сейчас же.

— Боюсь, это невозможно, мисс.

— Почему?

— Приказ доктора, мисс.

— Вы ошибаетесь. Я добровольная пациентка, и, если вы немедленно не пригласите ко мне мистера Мордаунта... — мой голос предательски задрожал, — он будет крайне недоволен.

— Да неужто, мисс? — Она презрительно усмехнулась с видом человека, вынужденного терпеть причуды сумасшедшей пациентки, а вернее, находящего удовольствие в издевках над ней. — Ну, лично я подчиняюсь доктору Стрейкеру, и никому больше.

— Доктор Стрейкер сейчас в Лондоне... по одному моему делу...

— Вот те на! Нынче с утра мы совсем не в себе, да? Так вот, могу поклясться, доктор Стрейкер отдал мне приказ всего десять минут назад, и приказ такой: мисс Эштон должна оставаться в постели, покуда он не...

— Как вы меня называли?

— Мисс Эштон, мисс. Такое имя употребил доктор Стрейкер, а уж он-то знает.

— Меня зовут не Эштон. Я мисс Феррарс, добровольная пациентка... — Мой голос дрожал все сильнее. — И я желаю немедленно покинуть клинику. Сейчас же позовите мистера Мордаунта!

— Ну-ну, мисс. В истерику-то нам впадать незачем, верно?

— Если вы сию же минуту не отопрете дверь и не выпустите меня отсюда, я... я потребую, чтобы вас арестовали и отдали под суд за незаконное лишение свободы! — Последние слова я провизжала.

— Вот что я вам скажу, мисс. Либо вы сейчас тихо-мирно ляжете в теплую постельку и подождете доктора Стрейкера, либо я силком раздену и уложу вас. Ну, что выбираете?

Я подумала было попробовать прошмыгнуть мимо нее, но она стояла прямо посредине коридора, уперев ручки в бока и почти касаясь локтями стен. Окажи я сопротивление, на меня ведь и смирительную рубашку надеть могут.

— Я буду вести себя спокойно, — сказала я, — если вы пообещаете передать мистеру Мордаунту, что мне надо срочно с ним увидеться.

— Так-то лучше, мисс. Ступайте укладывайтесь в кровать, а я доложу доктору Стрейкеру, что вы требовали к себе мистера Мордаунта, и мы посмотрим, что из этого выйдет, ага?

Ходжес посторонилась, пропуская меня, и следовала за мной по пятам до самой палаты.

— Вот и славно, мисс. Ложитесь, а я мигом принесу вам позавтракать.

Тяжелая рука подтолкнула меня в спину. Дверь за мной закрылась, и я услышала металлический лязг, а потом скрежет ключа в замке.

Через полчаса Ходжес вернулась с завтраком, к которому я не притронулась, а потом велела мне хорошенько вымыться и заперла в ванной, пока приводила в порядок мою постель. «Доктор Стрейкер скоро придет», — отвечала она на все мои вопросы. Медленно

ползли минуты, и моя надежда на спасение неумолимо таяла. Либо Фредерик с самого начала обманывал меня (как ни трудно было в такое поверить, памятуя его глубокие, мучительные рыдания), либо он настолько подчинен воле доктора Стрейкера, что не смеет ему ни в чем перечить. Чем дольше я размышляла, тем сильнее становились мои подозрения. По словам Фредерика, Треганнон-хаус — просвещенное медицинское заведение, исповедующее принципы милосердия и сострадания, но никакого милосердия в Ходжес я не заметила: именно такой, как она, мне всегда и представлялись служители сумасшедшего дома. А если Фредерик солгал здесь, насчет чего еще он солгал? Давно ли доктор Стрейкер вернулся из Лондона? Да и ездил ли он в Лондон? Я попыталась посмотреть в дверную прорезь, но заслонка не открывалась.

Спустя, казалось, целую вечность в замке опять проскрежетал ключ, и в комнату вошел доктор Стрейкер. Вид он имел столь мрачный, что слова негодования замерли на моих губах; в первый момент я решила, что с Фредериком стряслась какая-то беда, и со страхом наблюдала за ним, пока он усаживался на стул подле кровати.

— С сожалением должен сообщить вам, мисс Эштон, что интуиция меня не обманула. Я был на Гришем-Ярд и разговаривал с Джорджиной Феррарс и ее дядей. Вопрос, откуда вы столько о них знаете, полностью прояснился. Теперь нам осталось лишь разгадать загадку вашей подлинной личности.

Он умолк, выжидательно на меня глядя, но я не смогла издать ни звука.

— Поверьте, мисс Эштон, я хорошо понимаю, как сильно вы расстроены таким поворотом дела, несмотря на все мои старания подготовить вас к чему-то подобному. Думаю, мне следует рассказать все по порядку. Дом на Гришем-Ярд в точности соответствует вашему описанию, и я уже готовился съесть свою шляпу по возвращении, пока горничная не сказала мне, что сейчас позовет мисс Феррарс. При первом же взгляде на Джорджину Феррарс многое стало понятным: сходство между ней и вами поистине поразительное. Мисс Феррарс была глубоко потрясена, но не слишком удивлена, когда я сообщил, что у меня есть пациентка, которая не только очень на нее похожа и все про нее знает, но и считает себя Джорджиной Феррарс. «Это Люсия! — воскликнула она. — Люсия Эрден! Это может быть только Люсия!» Как вы сами наверняка понимаете, едва ли инициалы «Л. Э.» являются случайным совпадением. Но я вижу, это имя ничего вам не говорит. Так вот, три недели назад, около десятого октября — точную дату мисс Феррарс не помнит, — она находилась одна в книжной лавке, когда туда зашла молодая женщина. Мисс Феррарс тотчас исполнилась уверенности, что где-то встречалась с ней раньше, но не сразу соотнесла наружность этой особы с собственным лицом, которое каждый день видела в зеркале... Вы хотели что-то сказать, мисс Эштон?

Скованная ужасом, я недвижно смотрела на него.

— Молодая женщина представилась Люсией Эрден. У них завязалась беседа и быстро возникла взаимная симпатия. Именно Люсия — позвольте мне такую фамильярность краткости ради — первая обратила внимание на внешнее сходство между ними. Уже через несколько дней она поселилась на Гришем-Ярд.

Люсия сказала, что она дочь француза по имени Жюль Эрден и англичанки Маделин Эрден. По словам девушки, мать всегда решительно отказывалась говорить о своем прошлом: мол, у нее было крайне несчастливое детство и она не желает ни вспоминать прежние дни, ни возвращаться в Англию; и она никогда не называла своей девичьей фамилии. Жюль Эрден умер, когда Люсии не исполнилось еще и года, и оставил семье

порядка двух сотен ежегодного дохода — как вы понимаете, все это известно лишь со слов Люсии, ничем не подтвержденных. Они с матерью жили на континенте, постоянно переезжая с места на место и останавливаясь в пансионах или гостиницах, но около года назад Маделин Эрден умерла. Люсия Эрден всю жизнь хотела увидеть Англию, а потому, влекомая тайной своего происхождения, приехала в Лондон, сняла комнаты в Блумсбери и однажды по чистой случайности забрела в книжную лавку Джозайи Редфорда.

Такую вот историю она поведала Джорджине Феррарс, у которой не было никаких оснований ей не верить. В детстве, сказала мне Джорджина, она часто мечтала о сестре, и теперь ей показалось, что в лице Люсии она обрела таковую. Люсия с самого начала с жадностью расспрашивала обо всех обстоятельствах прошлого Джорджины, и лишь позже Джорджина сообразила, что сама Люсия при этом почти ничего о себе не рассказывала. С течением дней Джорджина все сильнее сознавала поразительное внешнее сходство между ними, и девушки часто строили догадки, не имеет ли оно отношения к тайне происхождения Люсии. Люсия привезла с собой лишь небольшой чемодан... — Доктор Стрейкер выразительно взглянул на чемодан, распакованный Беллой. — И поскольку девушки были одного роста и телосложения, Джорджина с радостью поделилась с новой подругой своей одеждой. В скором времени Джозайя Редфорд, страдающий сильной близорукостью, уже не отличал их друг от друга.

В течение двух недель, по словам мисс Феррарс, они с Люсией жили душа в душу, как самые настоящие сестры. С благословения Джозайи Редфорда было решено, что Люсия навсегда поселится у них, но сначала — во всяком случае, она так сказала — ей надо было ненадолго вернуться в Париж, чтобы уладить там свои дела. Мисс Феррарс с превеликим удовольствием поехала бы с ней, но не сочла возможным оставить дядю одного.

И вот в прошлый понедельник — за два дня до вашего появления здесь, мисс Эштон, — Люсия Эрден собрала чемодан и отбыла в кебе, пообещав вернуться через две недели. Только после ее отъезда у мисс Феррарс начали закрадываться сомнения. Прежде всего она заметила, что Люсия забрала с собой всю одежду и пожитки, с которыми к ним приехала. А потом обнаружила пропажу двух самых своих дорогих вещей: голубого кожаного бювара, подаренного тетужкой, и доставшейся от матери драгоценной броши в виде стрекозы, с рубинами и бриллиантами.

«Это дурной сон, — сказала я себе. — Проснись сейчас же». Но лицо доктора Стрейкера не желало растаять и исчезнуть.

— Мне очень жаль, — продолжал он. — Я бы и рад пощадить ваши чувства, но мы должны смотреть в лицо фактам. Поскольку вы, вне всяких сомнений, и есть молодая особа, покинувшая Гришем-Ярд два дня назад, сейчас вы наверняка недоумеваете, почему же я в таком случае не называю вас «мисс Эрден». Объясняю: потому что Люсия Эрден — имя вымышленное и все сведения, сообщенные ею о себе, являются чистой воды вымыслом, не содержащим ни одного достоверного факта. Люсия Эрден — плод вашего воображения, а раз уж по прибытии к нам вы представились мисс Эштон, давайте мы так и будем называть вас, пока не выясним, кто вы на самом деле.

— Но я действительно Джорджина Феррарс, — с отчаянием проговорила я, обретя наконец дар речи. Вместе со словами пришла мысль: «Он лжет, он точно лжет». — Если... если эта женщина и вправду существует, значит она заняла мое место...

— В ее существовании не приходится сомневаться, мисс Эштон, ибо в данный момент я с ней разговариваю. Как не приходится сомневаться в том, что молодая особа, с которой я

беседовал в Лондоне, — это настоящая Джорджина Феррарс: самозванка еще могла бы обмануть подслеповатого Джозайю Редфорда, но уж никак не служанку.

— А как ее звали... служанку? — спросила я, хватаясь за соломинку.

— Понятия не имею, но я уверен, со зрением у нее все в порядке. — Он сделал паузу и, не дождавшись моего ответа, продолжил: — Представляется очевидным, что в момент, когда вы прибыли сюда под именем Люси Эштон, вы хорошо сознавали, что научились выдавать себя за Джорджину Феррарс. Зачем вам это понадобилось, остается загадкой. Но я с уверенностью предполагаю, что вы догадывались о нарушении своей психики, — иначе зачем бы вам разыскивать известного специалиста по расстройствам личности и являться к нему под именем безумной литературной героини?

Я вспомнила, что Фредерик — не один, а два раза — говорил ровно то же самое.

— Вы взяли вымышленное имя, поскольку еще не были готовы признаться — испугались последствий, вне всякого сомнения, — но само имя, выбранное вами, уже являлось своего рода признанием. А потом, к сожалению, ваше умственное расстройство привело к сильнейшему припадку, и вследствие него вы забыли все, кроме личности, которую хотели присвоить.

— Нет! — выкрикнула я. — Клянусь могилой моей матушки, я помню *свою собственную жизнь!*

— Мисс Эштон, мисс Эштон, я не ставлю под сомнение вашу искренность. Но прошлое, которое, как вам кажется, вы помните, не более чем фантазия, сплетенная вами из событий жизни Джорджины Феррарс. Вы этого не понимаете, потому что *ничего больше* не помните. Но не беспокойтесь, мы вас не оставим в беде. Как я уже говорил, мы будем опекать вас здесь, бесплатно, сколько бы времени нам ни понадобилось, чтобы установить вашу подлинную личность.

Я вонзила ногти в ладони, борясь с ужасом.

— Если бы только вы отвезли меня в Лондон, — пролепетала я сдавленным голосом, — и позволили мне поговорить с моим дядей, и с Корой, служанкой, и с миссис Эддоуз, экономкой, и с мистером Онслоу, галантерейщиком с Гришем-Ярд, они подтвердили бы, что настоящая Джорджина Феррарс — именно я, а не эта самозванка...

— Мне очень жаль, мисс Эштон, но об этом не может быть и речи. Я объяснил мисс Феррарс, что вы не несете ответственности за свои поступки и что встреча с ней помогла бы вам восстановить память, но она не желает вас видеть. Она считает вас обманщицей и предательницей, понятное дело. «Пусть она вернет бювар с брошью, — заявила мисс Феррарс, — и извинится за причиненное нам огорчение — тогда я еще подумаю над вашей просьбой».

— Она лжет... — начала я, но было ясно, что любые мои слова тщетны.

Я глубоко вздохнула и призвала на помощь последние остатки мужества:

— Раз вы отказываетесь мне помочь, сэр, я намерена немедленно уехать отсюда. Я добровольная пациентка и...

— Мне очень жаль, мисс Эштон, но я не могу этого допустить. Я нарушу свой врачебный долг, если позволю молодой женщине, пребывающей в плену опасной иллюзии, одной покинуть клинику. Если вы появитесь на Гришем-Ярд в нынешнем вашем психическом состоянии, вас, скорее всего, арестуют за нарушение общественного порядка. Вы *были* добровольной пациенткой, но теперь у меня нет выбора, кроме как составить медицинское заключение о вашем умопомешательстве.

Я поняла — увы, слишком поздно, — что совершила роковую ошибку.

— Прошу прощения, сэр, — пролепетала я, явственно слыша ужас в своем голосе. — Я говорила не подумавши. Может, я и вправду не я. Обещаю вести себя спокойно, пока... пока мне не станет лучше. В медицинском заключении нет необходимости...

Несколько мгновений доктор Стрейкер пристально смотрел на меня, иронично улыбаясь уголком рта.

— Почти убедительно, мисс Эштон. Почти, но не совсем. Если я не ошибаюсь глубочайшим образом, вы попытаетесь сбежать отсюда при первой же удобной возможности. Нет, боюсь, мой долг очевиден. Вы можете представлять опасность для окружающих, и вы, безусловно, представляете опасность для себя самой. А теперь, с вашего позволения, я приглашу доктора Мейхью. Сегодня утром я сообщил ему о вновь открывшихся обстоятельствах, но он должен лично осмотреть вас.

— Я не сумасшедшая! — выкрикнула я, когда доктор Стрейкер встал со стула. — Спросите Фре... мистера Мордаунта, *он* мне верит.

— Не верит, а *верил*, мисс Эштон. Мистер Мордаунт... легко поддается убеждению. И сейчас он получил полезный урок.

Проведенный доктором Мейхью осмотр заключался в том, что он пару раз хмыкнул, внимательно разглядывая мой язык, пробормотал: «Угу-угу... крайне возбуждена... представляет опасность для себя самой и для окружающих... вне всякого сомнения», а потом взял документ и писчее перо, протянутые доктором Стрейкером, поставил свою подпись и удалился.

— Ну вот, мисс Эштон, — промолвил доктор Стрейкер. — Мы еще пару дней подержим вас здесь в лазарете, просто на всякий случай, а потом переведем вас в одно из женских отделений. Я знаю, это трудно, но все-таки постарайтесь поменьше думать. Ходжес принесет вам успокоительное, а утром я вас проведу.

Я с головой погрузилась в бездну отчаяния, и к действительности меня вернули тяжелые шаги Ходжес и звон ключей.

— Ну-ну, мисс Эштон, так дело не пойдет. Я принесла вам чаю, хлеба с маслом и замечательное снотворное.

За окном было еще совсем светло, но я предположила, что день уже клонится к вечеру.

— Сколько сейчас времени? — безнадежно спросила я.

— Час пополудни. А ну-ка, сядьте и попейте чаю, а потом можете поспать вволю.

Чтобы она до меня не дотрагивалась, я послушно села. Ходжес поставила мне на колени кровати поднос и ушла.

При одном виде пищи меня затошнило, и я взяла стакан с мутной жидкостью, стоявший рядом с чашкой чая. Восемь часов блаженного забытья... а потом? Я застыла с поднесенным ко рту стаканом. Сквозь туман отчаяния и ужаса смутно проступила единственная мысль: «Если тебя переведут в другое отделение, ты уже никогда не сбежишь отсюда».

А если я не буду есть, у меня не останется сил для побега. Я поставила стакан на поднос и через тошноту принялась жевать хлеб и запивать чаем, пытаюсь собраться с остатками мыслей. Почему я здесь оказалась, было выше моего понимания; главное теперь — сбежать отсюда в ближайшие два дня (хотя это наверняка невозможно), добраться до Гришем-Ярд (но как? ведь у меня нет денег) и встретиться лицом к лицу с женщиной (хотя едва ли она существует на самом деле), укравшей мою жизнь.

Рассказ про Люсию Эрдэн казался не просто странным, а до абсурда неправдоподобным. Нет, доктор Стрейкер все выдумал для каких-то своих целей (каких именно, я даже представить боялась), а значит, мне тем более нужно уносить отсюда ноги.

Но он знает про бювар и брошь.

Я не помнила, говорила ли доктору про бювар, но была уверена, что не описывала брошь сколь-либо подробно ни ему, ни Белле.

Но вот Фредерику — описывала.

Значит... мне даже думать не следует о том, что это значит.

Побег. Я могу вылить снотворное в ночной горшок и, когда Ходжес придет за подносом, притвориться спящей или сонной. Это даст мне несколько часов. И избавиться от снотворного надо сейчас же, пока Ходжес не вернулась.

Через полминуты я снова сидела в кровати, запихивая в себя остатки хлеба и прислушиваясь, не раздадутся ли шаги в коридоре.

Побег. Я уже знала, что оконная решетка очень прочная, но будь у меня какой-нибудь инструмент, возможно, мне удалось бы ее расшатать и вынуть.

Или дверь. Замок можно открыть согнутой шляпной булавкой, — во всяком случае, я о таком читала, но никогда прежде не пробовала этого делать, вдобавок за этим замком будет еще один, и еще один, и еще...

Я точно помнила: когда Ходжес вошла с подносом, она оставила дверь открытой, с ключом в замке.

Если я положу под одеяло свернутую валиком одежду, чтобы казалось, будто я там сплю, а сама спрячусь за дверь, возможно, мне удастся проскользнуть мимо Ходжес, захлопнуть дверь, быстро повернуть ключ в замке и убежать. Но дверь открывается вплотную к боковой стене; Ходжес сразу почувствует, что я за ней стою. И даже если она подойдет к кровати, не заметив меня, здесь слишком мало места, чтобы прошмыгнуть мимо нее. Нет, она непременно меня схватит.

А если ударить Ходжес чем-нибудь по голове, чтоб ненадолго оглушить? Можно попробовать отломать ножку стула, но достаточно ли она тяжелая? И с какой силой бить? А вдруг я случайно ее убью?

В коридоре послышались грузные шаги. Я откинулась на подушки лицом к двери и полуприкрыла глаза. Ключ повернулся в замке с резким тугим скрежетом; дверь распахнулась, и вошла Ходжес. Связка ключей осталась болтаться под замком.

— Ну вот, так-то лучше, верно? Теперь спите себе крепким сном. Я загляну к вам попозже, а вечером принесу ужин и еще чуток хлорала.

Постаравшись принять отупелый сонный вид, я сквозь ресницы наблюдала, как Ходжес поворачивается и ставит поднос на пол в коридоре, прежде чем закрыть дверь. Нет, проскользнуть мимо нее даже труднее, чем я представляла, практически невозможно. А судя по тяжкому скрежету замка, обычной булавкой его не отомкнуть, даже если бы я знала, как это делается.

Значит, остается окно. Как только шаги Ходжес стихли в отдалении, я вскочила с кровати и обследовала решетку — судя по всему, глубоко вделанную в каменную кладку. Как я ни тянула, как ни дергала, решетка даже не шелохнулась. Может, получится выбить ее стулом? Нет, скорее всего, я просто сломаю стул, за что непременно буду наказана.

Кувшин и тазик на умывальной тумбе оловянные — проку от них никакого. Я повернулась к платяному шкафу. У боковой стенки там стоял на попа пустой чемодан, а на

нем покоилась шляпная картонка.

В нее я мельком заглянула еще в первый день. Сейчас же я достала и осмотрела капор — светло-голубой, с кремовой отделкой, — но не нашла ни единой шляпной булавки. Я уже собиралась положить капор на место, когда вдруг заметила карман во внутренней обивке, над самым дном картонки. Под шелковой тканью отчетливо вырисовывался маленький прямоугольный предмет.

Внезапно задрожавшими пальцами я извлекла из кармана знакомую бархатную коробочку, нажала на застежку — и увидела свою брошь в виде стрекозы, целую и невредимую.

В кармане лежало еще что-то — какой-то мешочек, тихо звякнувший, когда я до него дотронулась: коричневый бархатный кошелек с завязками, в котором оказалось пять золотых соверенов.

Не знаю, сколько времени я просидела на корточках, тупо уставившись на свою брошь и стиснув в руке кошелек так крепко, словно он мог вырваться и улететь прочь. Наконец меня осенило: а вдруг и бювар тоже здесь? Однако больше в картонке ничего не было. Я вытащила чемодан из шкафа и тщательно ощупала внутреннюю обивку, но не нашла ничего, кроме нескольких нитей корпии.

Я застонала от разочарования, ругая себя на чем свет стоит. Если бы только, *если бы только* я догадалась заглянуть в картонку раньше, а не сейчас, когда уже слишком поздно.

«Пусть она вернет бювар с брошью...» Доктор Стрейкер отнимет их у меня, если увидит.

Я засунула кошелек в карман дорожного платья, убрала в шкаф чемодан с шляпной картонкой и, чтобы согреться, залезла под одеяло, по-прежнему держа в руке открытый футляр с брошью. Рубины рдели, как капли крови.

Золотая булавка, хоть и острая, длиной не более двух дюймов. Ходжес отмахнется от нее одной своей мясистой рукой, а другой схватит меня за шиворот и поднимет в воздух.

Я мысленно представила эти маленькие алчные глазки с многозначительным прищуром, и в голове у меня начал зарождаться план.

Хуже всего будет, если она вдруг окажется честным человеком и отдаст брошь доктору Стрейкеру.

Я долго сидела неподвижно, обдумывая свои дальнейшие действия. Потом встала и надела платье, решив, что вероятность успеха возрастет, коли я встречу свою надсмотрщицу полностью одетой. Я положила дорожный плащ с капором в изножье кровати, вынула из кошелька два соверена и сунула в карман плаща. После этого мне ничего не оставалось, кроме как расхаживать взад-вперед по комнате, зябко поеживаясь, да молиться, чтобы Ходжес зашла ко мне до наступления темноты.

Наконец в торце коридора глухо хлопнула дверь и послышались приближающиеся шаги. Я подошла к окну и встала к нему спиной. В следующий миг заслонка дверной прорези отодвинулась, я услышала резкий вдох и звон ключей. Дверь с грохотом ударилась о стену, и в комнату ворвалась Ходжес:

— Это еще что такое? Вы почему не спите?

Сердце у меня колотилось так сильно, что я едва могла говорить.

— Потому что... потому что я хочу показать вам одну вещь.

— Какую такую вещь? — подозрительно осведомилась она, подступая ближе.

— Вот эту.

Я достала из кармана бархатный футляр, открыла и протянула ей, повернув таким образом, чтобы рубины засверкали на свету. Маленькие глазки Ходжес заметались между брошью и моим лицом.

— Это самая моя дорогая вещь, — сказала я. — Она досталась мне от матушки. Целых сто фунтов стоит.

— А мне-то что с того?

— Она ваша. Если вы поможете мне сбежать отсюда.

Ходжес презрительно осклабилась. Маленькие глазки так и впились в меня.

— А что мешает мне забрать ее прямо сейчас?

— Ничего, — сдавленно проговорила я, стараясь унять дрожь в голосе. — Но тогда я пожалуюсь доктору Стрейкеру, и, если вас изобличат, вы отправитесь в тюрьму.

Ходжес, прищурившись, разглядывала брошь.

— Или я отдам ее доктору Стрейкеру, — усмехнулась она, — и он выдаст мне неплохое вознаграждение.

— Возможно, и выдаст, — кивнула я, — но не двести фунтов.

— Вы ж только что сказали, что вещица стоит одну сотню.

— Да, если бы *вам* пришлось ее продавать. Но я готова отдать за нее все свои деньги — а это двести фунтов, находящиеся в доверительном управлении моего поверенного. Как только я благополучно вернусь в Лондон, я тотчас же выкуплю у вас брошь за двести фунтов.

— Откуда мне знать, что это не подделка?

Такого вопроса я не предвидела и стала лихорадочно придумывать ответ, неподвижно уставившись на нее, как если бы она была огромным свирепым псом, присевшим перед прыжком.

— Вы вправе сомневаться, — наконец сказала я. — Но неужели вы думаете, что я рискнула бы взять брошь с собой не куда-нибудь, а в сумасшедший дом, когда бы могла хоть на миг с ней расстаться?

Ходжес опять задумалась, явно взвешивая «за» и «против».

— Но если, предположим... просто предположим, учтите... если я помогу вам сбежать, меня же вышибут из клиники.

— Не обязательно, — ответила я. — Вы сможете сказать, что я спряталась за дверью, прошмыгнула мимо вас, когда вы вошли с подносом, и заперла вас снаружи.

Ходжес чуть заметно кивнула. Похоже, она начинала склоняться на уговоры.

— Какое у вас жалованье? — спросила я.

— Тридцать фунтов плюс стол и жильё.

— Двести фунтов — ваше жалованье за семь лет без малого.

— Может, оно и так, но с какой стати мне вам верить? Предположим, вы действительно вернетесь в Лондон — почему бы вам не заявить в полицию, что я украла вашу брошь?

— Потому, что я дала вам слово, и... потому, что полицейские могут препроводить меня обратно в Треганнон-хаус, прежде чем я успею доказать, что... я — это я.

Ходжес снова задумалась, прикидывая так и эдак:

— А вдруг вас поймают раньше, чем вы отсюда выберетесь? Вы скажете, что я украла брошку, ну и что тогда со мной будет?

Такого вопроса я тоже не ожидала.

— Если меня поймают на территории лечебницы, вы еще будете сидеть под замком, и... если вы мне недоверяете... вы сможете положить брошь на место, прежде чем вас здесь

найдут.

— Тогда я ничего не получу, кроме пятна на репутации.

Я отчаянно напрягла ум, но ответа так и не придумала. Свободной рукой я залезла в карман плаща и извлекла оттуда два золотых соверена:

— Вот... это останется у вас независимо от того, поймают меня или нет. Только помогите мне.

Казалось, блестящие монеты заворожили Ходжес еще сильнее, чем рубины. С минуту, показавшуюся мне маленькой вечностью, она переводила взгляд с броши на соверены и обратно, но наконец протянула руку и взяла сначала монеты, потом коробочку с драгоценностью:

— Ладно. Я согласная.

Пол поплыл под моими ногами. Я осознала, что перестала дышать, и глубоко вздохнула — как раз вовремя, чтобы не грянуться в обморок.

— Когда? — прошептала я.

— Завтра утром. Скажу вам, что делать, когда принесу ужин.

— Но утром ко мне придет доктор Стрейкер...

— После завтрака, не раньше. У вас будет два часа, пока он вас не хватится.

— Но он телеграфирует в Лондон. Полицейские будут поджидать меня.

— Ну, здесь я ничем не могу помочь. Я не собираюсь сидеть взаперти целную ночь.

— Тогда... если вы хотите получить свои двести фунтов, вам придется найти мне другой плащ, чтоб накинуть поверх моего, — иначе меня непременно поймают. Любой, сколь угодно старый.

— Значит, мне еще и за кражу плаща отдуваться. Так вы точно решились?

— Да, — кивнула я. — Точно.

Следующим утром, на рассвете, я сидела в плаще и капоре на краю кровати, дрожа всем телом. За самую длинную и тяжелую ночь в своей жизни я извергла из желудка все, что съела в течение дня, и впереди я не видела ничего, кроме бесконечной череды таких же ночей. Когда проскрежетал и щелкнул замок, я даже не поверила, что пришла Ходжес, покуда дверь не отворилась.

— Да на вас совсем лица нет, — заметила она, ставя поднос на кровать. — И трясушка, смотрю, на вас напала.

— Если побег удастся, как с вами снестись? — спросила я.

— Напишите по адресу: «Рейлвей-Армз», Лискерд. Маргарет Ходжес, до востребования. Мне сообщат про письмо.

— Спасибо. Теперь повторите еще раз, как мне идти.

— Сейчас от двери налево, в середине коридора направо. Дверь там отопрете большим ключом — вот этим, видите? — и оставите в ней ключи, они вам больше не понадобятся. Дойдете до конца коридора, потом направо — и идете прямехонько до лестничной площадки. Спускаетесь на четыре пролета и оказываетесь на первом этаже. Слева будет длинный такой коридор, а прямо перед вами еще один, покороче. Пойдете прямо — там отделение для добровольных пациентов, поэтому шагайте решительно, будто вы одна из них. В конце коридора, по правую руку, — дверь на улицу. После семи утра она всегда открыта. От крыльца направо — и идете по гравийной дорожке до самых ворот. Если вас кто остановит... ну, тут уж сами выкручивайтесь. За воротами сворачиваете направо и топаете

четыре мили до Лискерда. А может, и какой возчик вас подвезет, коли посчастливится.

Мы не раз повторили все это накануне вечером, но мне казалось, я в жизни не запомню дорогу. Я надвинула капор пониже, чтобы по возможности скрыть лицо, и еще раз поблагодарила:

— Спасибо.

— Ладно, удачи. А я хоть чайку могу попить, и то слава богу.

Ходжес тяжело села на кровать, угрожающе скрипнувшую под ней, подняла крышку чайника и принялась мешать заварку. Когда я обернулась, закрывая дверь, она даже не покосилась на меня. Я взяла ключи и торопливо двинулась по пустому коридору; шаги мои отдавались гулким эхом.

Следующая дверь открывалась внутрь, и за ней оказался еще один темный, обшитый панелями коридор, в конце которого виднелся тусклый прямоугольник света. Ходжес велела оставить ключи здесь, но, если кто-нибудь толкнется в дверь и обнаружит, что та не заперта, погоня начнется сразу же. Я заперла дверь за собой, вся передернувшись от скрежета замка, и пошла дальше, крепко сжимая ключи в руке под плащом.

Теперь мои шаги звучали громко, как ружейные выстрелы, сколь бы осторожно я ни ступала. По обеим сторонам от меня были двери; не смея даже украдкой глянуть на них, я упорно смотрела себе под ноги. Я прошла, наверное, две трети коридора, когда в освещенном проеме впереди возникла женская фигура и быстро двинулась мне навстречу. Я продолжала идти, стараясь ступать уверенно, держать спину прямо и смотреть в пол.

— Доброго утра? — с вопросительно-недоуменной интонацией произнес голос, когда мы с ней поравнялись.

— Доброго утра, — пробормотала я, не поднимая головы.

Ее шаги замедлились и остановились. Я с трудом подавила желание броситься бегом. До конца коридора оставалось каких-нибудь пять ярдов — а дальше налево или направо? Налево, налево... нет, направо. За моей спиной по-прежнему не раздавалось ни звука. Я свернула направо, в коридор пошире, и увидела еще одну женщину, в белой форменной одежде, направлявшуюся мне навстречу от лестничной площадки. Я снова постаралась ступать ровно и смотреть себе под ноги с видом человека, погруженного в свои мысли.

На сей раз приветствия не последовало, но шаги снова замедлились и остановились позади меня. Сердце мое колотилось так сильно, что я не слышала, возобновились они или нет. Наконец я достигла лестницы — покрытой ковром, к моему несказанному облегчению, — и начала спускаться, одной рукой придерживаясь за перила, а в другой по-прежнему стискивая связку ключей.

На промежуточной лестничной площадке я опасливо глянула через плечо. Никто за мной не следовал, но этажом ниже я услышала топот нескольких пар ног, приближающийся справа. Я стала спускаться дальше, прибавив шаг.

Еще одна промежуточная площадка — и я увидела широкий, выстланный плитам коридор, ведущий прямо вперед. На ватных от страха ногах я преодолела последний лестничный пролет, слыша голоса людей, спускающихся за мной следом. Влево уходил более длинный коридор, упомянутый Ходжес. А шагах в десяти впереди, положив ладонь на дверную ручку, стоял высокий мужчина в темном и пристально смотрел в мою сторону.

Если я сверну в длинный коридор и выжду там несколько секунд, возможно, он зайдет в комнату. Но тогда путь мне отрежут люди, спускающиеся по лестнице. Делать было нечего: я продолжала идти вперед, изображая глубокую задумчивость.

Там отделение для добровольных пациентов, поэтому шагайте решительно, будто вы одна из них.

Десять шагов — а он все не двигался с места. Когда я оказалась в трех футах от него, он посмотрел мне прямо в лицо и произнес, словно сомневаясь в моем праве находиться здесь:

— Могу я чем-нибудь помочь вам?

Суровый вопросительный тон заставил меня поднять глаза. Мужчина оказался старше, чем мне показалось поначалу. Высокий, худой и сутулый, с длинным изможденным лицом, глубоко запавшими глазами и редкими седыми волосами, зачесанными назад. У меня возникло смутное ощущение, что я его где-то видела раньше.

— Нет, благодарю вас, — пробормотала я и проскользнула мимо, не сбавляя шага.

Он издал какой-то звук — то ли кашлянул, то ли хмыкнул, — и я затылком чувствовала его взгляд. Но я уже видела дверь в конце коридора и полукруглое витражное окошко над ней. У меня подламывались колени, каменные плиты плыли под моими ногами; отдаленные голоса отзывались гулким эхом за моей спиной, но никто до сих пор не крикнул: «Держите ее!» Дверная ручка, стиснутая моими дрожащими пальцами, туго повернулась, тяжелая дверь плавно открылась внутрь — и мгновение спустя я уже стояла за порогом, вдыхая влажный студеной воздух и шурясь от дневного света.

Вдоль стены здания в обоих направлениях тянулась гравийная дорожка, окаймляющая лужайку шириной ярдов двадцать; за лужайкой росли купами деревья, чьи осенние краски уже поблекли над ковром палой листвы. Глянув налево, я различила за путаницей ветвей какое-то кирпичное строение, покрытое плющом. Я двинулась по дорожке направо, теперь почти бегом, со страхом прислушиваясь, не раздастся ли позади крик «держи-хватай» и хруст гравия под ногами преследователей, но все было тихо. Серая каменная кладка сменилась новой, кирпичной; оборачиваясь, я по-прежнему хорошо видела дверь, но из нее так никто и не появлялся. Я прошла под ветвями могучего лесного бука, свернула за угол и очутилась на просторном внешнем дворе, тоже усыпанном гравием. Ярдах в пятидесяти впереди находилась сторожка с распахнутыми дубовыми воротами, в которые с грохотом въезжал фургон, запряженный парой лошадей.

Я немного замедлила шаг, спиной чувствуя зловещую громаду клиники и сотни взглядов, вперенных в меня сверху. Вот сейчас, подумала я, сейчас меня точно схватят. В левой руке я все еще сжимала связку ключей, но бросить ее было некуда. Возчик фургона — дородный краснолицый мужик — почтительно прикоснулся к шляпе, проезжая мимо, и я робко помахала в ответ.

Двадцать ярдов, десять... по-прежнему никого. Из сторожки потянуло запахом жареного бекона, и у меня скрутило желудок от голода и тошноты одновременно. Уже через секунду надо мной нависала мощная каменная стена. Я быстро прошагала под аркой и вышла на ухабистую каменистую дорогу. Нигде вокруг не было видно никакого жилья, только унылые вересковые пустоши, теряющиеся в тумане. Моросил дождь, усеивая мой плащ крохотными капельками.

За воротами сворачиваете направо и топаете четыре мили до Лискерда. Я даже не представляла, как смогу преодолеть пешком целых четыре мили. Я вся дрожала от страха и усталости, но тем не менее пустилась в путь, бросив ключи в грязную лужу. Дорога тянулась вдоль стены не одну сотню ярдов; поминутно оглядываясь назад, я каждый раз по-прежнему видела ворота. На острове Уайт я прошла бы четыре мили за час, но таким медленным, тяжелым шагом я преодолею за час мили две, если не свалюсь с ног раньше. Ходжес найдут

задолго до того, как я доберусь до Лискерда, и тогда доктор Стрейкер телеграфирует... нет, из лечебницы он телеграфировать не может; он пошлет в погоню верховых, возможно даже с собаками.

Наконец дорога начала отклоняться от граничной стены поместья, потом пошла под гору, и вскоре стена скрылась за видимым горизонтом. Сколько я прошла? Всяко не меньше полумили. Я уже начала верить, что мне все-таки удастся сбежать, когда вдруг услышала стук копыт и скрип колес позади. Схорониться было негде: кругом болотистая пустошь, поросшая пучками чахлой травы, здесь и кролику-то не спрятаться.

Я в страхе оглянулась и увидела запряженную парой телегу, которая появилась на гребне возвышенности и стала спускаться по отлогому склону. Я сразу узнала толстого краснолицего возчика, поприветствовавшего меня на внешнем дворе Треганнон-хауса. Однако он, казалось, особо не спешил; когда телега приблизилась, я услышала, как мужчина насвистывает.

— Утречка доброго, мисс, — весело промолвил он, нагнав меня. — Из лечебницы идете? Нелучший день для прогулок-то.

У него был приятный деревенский говор, как у Беллы. Из-под засаленного котелка выбивались седые кудри, и нос у толстяка был даже краснее физиономии.

— Что верно, то верно, — откликнулась я, лихорадочно соображая. — Меня должны были встретить, но человек опоздал, а мне нужно добраться до станции в Лискерде.

— Вам повезло, мисс. Я тоже направляюсь в Лискерд. Ну-ка, забирайтесь ко мне. Становитесь на подножку.

Он наклонился, крепко взял меня за запястье и втолкнул облучок. Щелкнули повода, и мы тронулись с места; лошади двигались неспешным шагом, но по меньшей мере в два раза быстрее, чем брела я. Я раздумывала, какую бы историю сочинить на случай расспросов, потом вдруг меня осенило: ведь по этой дороге наверняка постоянно ездят туда-сюда добровольные пациенты клиники — пожалуй, мне и не стоит далеко отступать от правды.

— Вы живете в Лискерде? — спросила я своего спасителя.

— Господь с вами, нет, мисс. Звать меня Джордж Бейкер, а живу я в Добуолсе, вон там. — Он махнул рукой вправо.

— А... дети у вас есть?

— Да, мисс, три сына — парни рослые, пригожие как на подбор — и две дочери, обе работают в услужении, гордость и радость своей матери.

И дальше он пустился в рассказы о семье, а мне оставалось лишь изредка задавать наводящие вопросы. Теперь, когда я сидела неподвижно, воздух казался еще холоднее. Я плотно запахнула плащ и вся съежилась, стараясь унять дрожь.

Минут через двадцать сзади донесся тяжелый топот лошади в галопе, быстро настигающей нас. Джордж оглянулся через плечо, а я низко опустила голову и съежилась еще сильнее. Немного погодя мимо пронесся крупный гнедой жеребец с припавшим к гриве всадником, закутанным в теплый плащ; мужчина даже не взглянул в нашу сторону.

— Ишь как торопится, — заметил мой собеседник и тотчас вернулся к рассказу про юного Барта и сбежавших поросят, между тем как я взвешивала собственные шансы на успешный побег.

Скачет ли верховой в телеграфную контору? Или в полицейский участок, чтоб меня арестовали на станции? Может, мне лучше попробовать добраться до другого города и сесть на поезд там? Если в городе есть лавка женской одежды, я смогу купить другой плащ. Но это

означает задержку... и, скорее всего, верховой не имеет никакого отношения к лечебнице, иначе он бы остановился и выяснил, кто я такая.

Я все еще ломала голову, как мне поступить, когда мы достигли вершины холма и увидели перед собой город — совсем близко, меньше чем в миле.

— Ну вот, почти приехали, — сказал Джордж. — А ну-ка, пошевеливайтесь! — Он щелкнул поводьями, и лошади перешли на рысь.

Через несколько минут телега с грохотом катила по улицам Лискерда; Джордж обращал мое внимание на местные достопримечательности, а я украдкой высматривала полицейских. Служителей закона нигде видно не было, но некоторые прохожие приветствовали Джорджа и с любопытством разглядывали меня. Меня мутило от страха, но страх этот носил странный, фаталистический характер: спасусь я или не спасусь, больше я уже все равно ничего не могу поделать.

Когда мы наконец остановились возле маленького побеленного здания билетной кассы, в окрестности которого тоже не наблюдалось полицейских, я вспомнила, что у меня с собой только три золотые гинеи.

— Огромное вам спасибо за вашу доброту, — сказала я. — Мне хотелось бы отблагодарить вас за услугу, и, если вы немного подождете, пока я куплю билет...

— Господь с вами, мисс, в этом нет никакой нужды. Ведь поговорить с кем-нибудь в дороге — одно удовольствие. Приятного вам путешествия, а я покачу себе дальше.

Я еще раз поблагодарила славного Джорджа Бейкера и неуклюже сползла с облучка. Когда я ступила на мостовую, колени у меня задрожали, и мне показалось, будто земля подо мной покачнулась.

— Вы хорошо себя чувствуете, мисс?

— Вполне, спасибо, просто немного устала.

Когда я помахала Джорджу рукой и нетвердой поступью вошла в билетную кассу, я вдруг осознала, что ведь он не задал мне ни единого вопроса.

Часы над конторкой показывали без двенадцати девять. Передо мной стояли два человека, а спустя несколько секунд кто-то встал позади меня. Мне пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы не оглянуться. Руки у меня так тряслись, что я испугалась, как бы они меня не выдали. Если верховой ни при чем, подумала я, и если люди, видевшие меня в клинике, не забились тревогу — а я не прошла бы через ворота, подними они шум, — тогда, возможно, Ходжес все еще сидит взаперти в лазарете и в случае удачи просидит еще час. Я стиснула руки и постаралась дышать глубоко и ровно.

Пока я ждала своей очереди, минутная стрелка передвинулась на четыре деления.

— Когда следующий поезд до Лондона? — спросила я.

— Значит, так, мисс, — сказал пожилой кассир, — в девять часов шесть минут будет почтовый поезд, а в одиннадцать ровно — курьерский, но курьерский доедет быстрее. Либо вы можете сделать пересадку в Плимуте и оттуда доехать курьерским до Лондона.

— А когда почтовый прибывает в Лондон?

— В десять минут шестого, мисс.

Я уже собралась взять билет первого класса, но в последний момент вспомнила, что спрашивала у Фредерика про стоимость проезда в первом классе: именно там меня и станут искать, если дело дойдет до такого. И преследователи наверняка решат, что я села именно на курьерский.

— Мне нужен билет второго класса на почтовый до Лондона.

— Хорошо, мисс. Один фунт и три шиллинга, будьте любезны.

Кассир направил меня в дамский зал ожидания второго класса, где я положила оставаться до последнего возможного момента. Платформа находилась в глубокой железнодорожной выемке, и вела к ней отлогая каменная дорожка, проходящая прямо под окном гардеробного помещения. Ни полицейских, ни знакомых лиц из клиники я нигде не видела, но если преследователи все-таки поджидают меня, то наверняка стоят не на виду, а в густой тени насыпи. Внезапно накатила дурнота, колени мои подкосились, и я схватилась за оконный карниз, чтоб не упасть. Мгновение спустя в отдалении раздался резкий свисток паровоза.

— Вам нехорошо, голубушка? — спросил ласковый голос.

На меня встревоженно смотрела дородная седоволосая женщина.

— Голова что-то закружилась, а мне надо успеть на поезд. Кажется, он уже подходит.

— Давайте-ка я вам помогу.

Она подставила руку калачиком, подхватила большую корзину и повела меня вниз. Когда мы вышли на платформу, поезд уже останавливался. Окутанные спасительными клубами пара и дыма, со стороны мы выглядели, должно быть, как мать и дочь. О лучшей маскировке я и мечтать не могла, смутно подумалось мне.

Через три минуты я сидела рядом с доброй женщиной на жесткой деревянной скамье и смотрела, как платформа плавно уплывает назад.

Ночной Лондон за грязными окнами кеба производил впечатление преисподней. Газовые фонари зловеще мерцали над мокрыми булыжными мостовыми; в чадном дыму пылающих жаровень двигались черные фигуры, отбрасывая на стены гротескные пляшущие тени. Состояние крайнего изнеможения сменилось у меня странным лихорадочным полубредом, в котором ужин, ванна и постель казались недостижимой мечтой. Еще никогда в жизни — даже той ночью, когда произошел оползень, — я не мерзла так сильно, но тем не менее каждые несколько минут погружалась в сон наяву, где одновременно грелась у жарко растопленного камина и тряслась в кебе по улицам Мэрилебона, покуда не пробуждалась оттого, что резко роняла голову на грудь. Я не понимала, в какой именно части Мэрилебона нахожусь, но знала, что через несколько минут буду дома, в полной безопасности.

Миссис Тетворт, второй мой спаситель, ехала со мной до Плимута и даже кормила пирожками из своей корзины. Потом была бесконечная череда станций, беспокойных прерывистых снов и мучительная ломота во всем теле от долгого сидения на неудобной жесткой скамье. В течение томительных часов пути страх поимки притупился; я думала сойти с поезда в Актоне и там взять наемный экипаж, но вместо этого ухитрилась присоединиться к пожилой чете, вместе с которой прошла через турникет на вокзале Паддингтон (где опять-таки не заметила никаких полицейских) и дошла до стоянки кебов.

Теперь мы выехали на Тотнем-Корт-роуд, где поток экипажей стал еще плотнее и толпы пешеходов спешили под мелким дождем по тротуарам, освещенным газовыми фонарями (каковое зрелище привело меня в совершенное недоумение, поскольку, по моим ощущениям, времени было часа три ночи), потом свернули на Грейт-Рассел-стрит, миновали темную громаду Британского музея, наконец покатали по Дьюк-стрит и вскорости остановились напротив черного устья Гришем-Ярд.

Я с трудом вылезла из кеба, заплатила кучеру и с минуту стояла в густой тени на другой стороне улицы. Из зашторенных окон на втором и третьем этаже дядиного дома пробивался

свет. Должно быть, на самом деле сейчас без малого семь, подумала я, близится час ужина. Сегодня понедельник... нет, вторник... значит, на стол подадут баранину в остром соусе — из семи блюд миссис Эддоуз это нравилось мне меньше всего, однако при одной мысли о нем у меня потекли слюнки. Мимо прошли двое мужчин в пальто, с любопытством взглянув на меня; мне не следовало долго стоять на одном месте, привлекая к себе внимание. Закутанная в плащ женщина, быстро шагавшая по противоположному тротуару, свернула на Гришем-Ярд, и я машинально последовала за ней.

Крохотную площадь освещал единственный газовый фонарь на стене напротив входа. Женщина скрылась в узком проходе под фонарем: тупиковом проулке, ведущем к дому, обитателей которого я не знала. Почти все окна в домах вокруг горели, но в самом дворе не было ни души. В десяти футах слева от меня, под дверью в дядин дом, лежала непроницаемая черная тень.

Я прошла шаткой поступью последние несколько шагов, с трудом поднялась по ступенькам и громко постучала. Пока я ждала, мне почудилось, будто в густой тени под крыльцом что-то пошевелилось. Но потом — о счастье! — послышались торопливые шаги и знакомый грохот засова. Дверь открылась внутрь, и меня на миг ослепил свет лампы. Я уже открыла рот, собираясь произнести слова приветствия, когда вдруг увидела, что передо мной стоит не дядя, не Кора и не какая-нибудь другая служанка.

А я сама.

Ошеломленная, в первый миг я решила, будто кто-то поставил в прихожей ростовое зеркало. Но я видела перед собой не бледную и изможденную себя в измятом, перепачканном плаще, какую должно было отразить зеркало. А себя такую, какой я была до полуторамесячного периода, выпавшего из памяти, до психиатрической клиники: с волосами, зачесанными наверх и заколотыми в точности так, как я тысячи раз зачесывала и закалывала перед собственным зеркалом; в своем любимом светло-голубом платье. А потом, когда на плечо мне опустилась чья-то тяжелая рука и шум, похожий на рев стремительного потока, наполнил уши, я увидела у нее на груди мою серебряно-золотую брошь в виде стрекозы, чьи рубиновые глаза рдели, словно крохотные капельки крови.

Я очнулась в лазарете лечебницы Треганнон после бесконечного кошмара, в котором меня бросало то в озноб, то в жар, и с ужасом осознала, что настоящий кошмар, однажды уже пережитый, только начинается, повторяясь один в один, — вплоть до появления доктора Стрейкера в той же самой помятой твидовой паре с синим шелковым галстуком.

— День добрый, мисс Эштон. Рад видеть, что вам стало лучше; мы все очень за вас беспокоились.

Я даже не попыталась ответить.

— Вы ведь помните ваш побег — весьма хитроумный, надо признать, — и ваш визит к мисс Феррарс?

Я слабо кивнула, не видя смысла отрицать это.

— Рад слышать. Обнаружив Ходжес запертой здесь, я сразу понял, что вы ее подкупили. И предложил ей выбор: либо она во всем признается, либо надолго отправляется в тюрьму. Ходжес отдала мне брошь, и я тут же ее уволил. Конечно, к тому времени вы уже давно были в пути, но я поехал в Лондон курьерским поездом — чтобы предсказать каждый ваш шаг, мне нужно было лишь представить, как бы я поступил на вашем месте, — и до вашего появления на Гришем-Ярд успел вернуть брошь и уговорить мисс Феррарс посодействовать

мне. Боюсь, мисс Феррарс по-прежнему очень сердится на вас из-за кражи бювара, но она согласилась открыть вам дверь, когда я сказал, что это необходимо для вашего выздоровления.

Он немного помолчал, пытливо вглядываясь в мое лицо.

— Вы вспомнили хоть что-нибудь? Из происходившего в течение нескольких недель, предшествовавших вашему прибытию в клинику?

Я чуть заметно помотала головой.

— А что насчет более отдаленного прошлого? Ваши воспоминания — какими они вам представляются — сколько-нибудь изменились? Потускнели, потеряли отчетливость? Нет? Этого я и опасался. Но, по крайней мере, мисс Эштон, вы воочию убедились, что вы не Джорджина Феррарс. Теперь наша задача — заставить ваш ум признать это. Рано или поздно прошлое, которое, как вам кажется, вы помните, начнет меркнуть, бледнеть, а затем бесследно растает, и к вам вернуться ваши собственные воспоминания. К тому времени, надеюсь, я сумею проследить путь, приведший вас на Гришем-Ярд. Как только мы узнаем, откуда вы прибыли, мы сможем воссоединить вас с вашим прошлым и людьми, которых вы потеряли. Так что не отчаивайтесь, мисс Эштон, мы вас в беде не оставим.

Он жестом велел мне молчать и удалился, не оглядываясь.

Ночью моя лихорадка возобновилась с новой силой, и на протяжении многих дней или даже недель (я потеряла всякое представление о времени) я то металась в жару, то тряслась в ознобе, то лежала пластом в наркотическом тумане, сквозь который передо мной бесконечной вереницей проплывали лица. Иные из них, вне сомнения, были реальными, другие — например, лица тети Вайды и Ходжес — определенно были галлюцинациями, но все они казались равно призрачными. Я просыпалась от снов столь ужасных, что каждый раз испытывала облегчение, обнаружив себя в лазарете психиатрической клиники, но потом вспоминала, почему я здесь, и опять погружалась в кошмар наяву. И все же малая часть моего сознания — мое последнее и единственное прибежище — продолжала твердить мне, что все это дурной сон и, если только у меня останется сил выдержать до конца, я непременно проснусь в своей постели на Гришем-Ярд и пойму, что никакой лечебницы Треганнон нет и никогда не существовало.

Я отчаянно цеплялась за эту надежду до самого дня, когда доктор Стрейкер объявил, что я уже достаточно оправилась и меня можно перевести в женское отделение. Две кряжистые служительницы полувели-полунесли меня по бесконечным темным коридорам без окон, обшитым источенным червями дубом и пропитанным запахом сырой ткани, подгнившей древесины и застарелого табачного дыма.

Наконец мы остановились перед массивной дубовой дверью, отомкнув которую женщины вывели меня на дощатую лестничную площадку, где сидела еще одна служительница, прямо у входа в длинный пустой коридор. Справа от меня находилась лестница с узким окном во всю высоту стены, небо за ним уже темнело. Снизу по лестнице медленно шла высокая костлявая дама в трауре, с первого взгляда показавшаяся мне глубокой старухой. Однако, когда она с трудом поднялась на ступеньку выше, я увидела, что она вполне еще молода, и сообразила, что это одна из пациенток.

Позади проскрежетал запираемый замок, и мы двинулись дальше через лестничную площадку и по коридору, мимо закрытых дверей, на каждой из которых, над щитком смотровой прорези, имелась табличка с именем пациентки, написанным золотой краской: МИССИС ПАРТРИДЖ, МИССИС УЭЙР, МИСС ЛЬЮИС, МИССИС ХОКСЛИ, М

ТРАЭРН и, наконец, — МИСС ЭШТОН. При виде двух этих слов я лишилась последнего самообладания и рухнула бы на колени, когда бы служительницы не подхватили меня под руки. Они провели меня, довольно вежливо, в комнату, очень похожую на мою палату в лазарете. Я бессильно опустилась на кровать, смутно отметив, что мои вещи, вернее, вещи Люси Эштон уже здесь.

Спустя неопределенное время на плечо мне легла чья-то ладонь. Надо мной нависала крупная седая женщина с лицом цвета и пышности поднявшегося теста и тяжелым мужским подбородком. Глаза такого же стального оттенка, как волосы, сурово смотрели на меня.

— Ну-ну, мисс Эштон, возьмите себя в руки. В половине седьмого ужин, вам надобно привести себя в порядок.

Она говорила тоном важной дамы, пеняющей непослушному ребенку. Я села в кровати, вытирая опухшие от слез глаза, и недоверчиво уставилась на нее.

— Я миссис Пирс, старшая смотрительница женского отделения «Б». Первый день самый важный: как начнешь, так и пойдет дальше.

— Значит... мне можно выходить из комнаты?

— Разумеется. Как наверняка объяснил вам доктор Стрейкер, в Треганнон-хаусе практикуется метод моральной терапии: никаких наручников в моем отделении вы не найдете. Здесь, мисс Эштон, вас будут всячески поощрять к участию в собственном исцелении. Вы страдаете болезненным заблуждением касательно своей личности, но с нашей помощью сумеете его преодолеть. Покуда вы выполняете предписания врачей, постоянно занимаете себя чем-нибудь и общаетесь с другими пациентками, ваше выздоровление всего лишь вопрос времени.

— А если я не делаю всего этого? — невольно вырвалось у меня.

— Тогда придется лечиться дольше, вот и все. Иных наших несчастных подопечных мы вынуждены держать в строгой изоляции, но я уверена, вам не захочется стать одной из них. Тем более что доктор Стрейкер питает личный интерес к вашему случаю — даже уведомил меня, что вы здесь находитесь на положении гостя. А теперь я должна покинуть вас. Когда прозвучит гонг к ужину, пройдете по коридору и спуститесь по лестнице — служительница объяснит вам, куда идти. Я пришлю кого-нибудь, чтобы помочь вам одеться.

Мне хотелось закричать в голос — у меня украли все, даже имя, — однако, глядя на бесстрастное, суровое лицо старшей смотрительницы, я прекрасно понимала, что протестовать совершенно бесполезно.

В женском отделении «Б» не было ни истошных воплей, не лязга цепей, ни запертых в клетках буйных безумиц, скрежещущих зубами и валяющихся в собственных испражнениях, — во всяком случае, я ничего подобного не слышала и не видела. Почти все служительницы держались ласково, в худшем случае — безразлично. Ходжес, надо полагать, являлась выходцем из некоего более темного царства. И все же здесь была в полном смысле слова юдоль мук и страданий. Проходя по коридору, я всякий раз слышала приглушенный плач по крайней мере за одной из дверей, а порой глухие мерные удары, словно кто-то бьется, и бьется, и бьется головой об стену.

Мое окно, опять-таки забранное вертикальными прутьями, выходило в мощный плитам двор, с двух сторон огороженный хозяйственными постройками. Иногда я наблюдала за приезжающими и выезжающими повозками, но зрелище это причиняло мне невыносимую боль. Помимо железной кровати, в комнате имелись мягкое кресло,

маленькое бюро, стул, умывальная тумба, комод и платяной шкаф. Обогревалась комната с помощью диковинного устройства, никогда прежде мной не виденного: спиральных металлических труб, в которые подавалась горячая вода из парового котла, расположенного в подвале здания. Со своей задачей оно отчасти справлялось, но я все равно постоянно мерзла. По ночам мои мучительные раздумья сопровождало журчание воды в трубах. Нам не разрешалось пользоваться ни спичками, ни какими-либо источниками открытого огня; как и в лазарете, помещения здесь освещались масляными лампами, закрытыми прочными железными решетками. Вы могли потушить свет, повернув маленькое медное колесико, но зажечь лампу могла только служительница. Все светильники гасились в десять вечера и зажигались в половине восьмого утра.

Доктор Стрейкер приходил ко мне один-два раза в неделю и неизменно спрашивал, вспомнила ли я еще что-нибудь, а потом заверял, что рано или поздно установит мою подлинную личность. Рыдала ли я, бесновалась ли, умоляла или угрюмо молчала, он всегда держался спокойно, учтиво, невозмутимо и даже галстук у него всегда был повязан одинаково небрежно. Я смутно понимала, что надежда на свободу у меня появится лишь в том случае, если я признаю своей любую личность, которую доктор Стрейкер пожелает мне навязать. Но куда я подамся, если меня все же выпустят из клиники?

Тот факт, что на Гришем-Ярд я видела Джорджину Феррарс, представлялся бесспорным — ведь доктор Стрейкер встречался и разговаривал с ней, — но вместе с тем находился за пределами моего понимания. Как я ни ломала голову, на ум приходило только два возможных объяснения. Либо я и вправду сумасшедшая, как считает доктор Стрейкер, либо женщина в Лондоне, кто бы она ни была, украла мое имя, моего дядю, мою брошь — а к настоящему времени, скорее всего, и двести фунтов, оставленные мне матушкой. Может быть, она собирается столкнуть дядю Джозайю с лестницы и сбежать с деньгами, едва только завещание вступит в силу. Но так рисковать ради нескольких сотен фунтов попросту глупо, а вот в качестве мести за некое неизвестное мне преступление подобные действия очень даже имеют смысл.

По словам доктора Стрейкера, Люсия Эрден жила на Гришем-Ярд три недели из шести, выпавших у меня из памяти. Не поэтому ли я ничего не помню? Опять и опять я пыталась ухватиться за какую-нибудь ниточку и понемножку продвигаться вперед от последних воспоминаний об однообразных днях в дядиной лавке. Но всякий раз я словно бы вступала в густой туман, со страхом ожидая встретить там своего двойника, а уже в следующий миг туман рассеивался и я вновь оказывалась в лечебнице Треганнон.

Если доктор Стрейкер прав, рано или поздно моя память, вернее, память, которая кажется мне моей, начнет тускнеть и стираться. При одной этой мысли меня охватывала безудержная дрожь, порой не отпускавшая по многу часов кряду. Мне не раз доводилось читать про муки грешников, и у меня никогда не получалось представить, что они продолжают бесконечно, как не получалось вообразить вечное райское блаженство. Однако во мраке тех томительно долгих ночей легко верилось, что я незаметно для себя самой умерла — умерла и попала в ад, где даже нынешние мои страдания покажутся мне райским блаженством по сравнению с муками, ждущими впереди. Дни же в психиатрической лечебнице были заполнены разными рутинными делами, в которые я постепенно втянулась, невзирая на туман страдания и ужаса, окутывавший душу.

Между половиной восьмого утра и шестью вечера дверь на лестничную площадку стояла открытой, и мы могли спускаться на первый этаж — там располагались библиотека,

дамская гостиная, мужская гостиная, столовая зала и часовня. Мужское отделение, по всему вероятно, являлось точной копией женского: мужчины спускались по точно такой же лестнице в другом конце крыла. Заходить друг к другу в комнаты пациентам не разрешалось; если вам хотелось поговорить с кем-нибудь, вы делали это на первом этаже. В двух шагах от подножья женской лестницы находилась наружная дверь, ведущая в обнесенный стеной сад — тот самый, что я видела из окна лазарета. Туда нас выводили гулять каждый день, когда позволяла погода.

По мере того как дни становились короче и холоднее, пациенты все неохотнее выходили на свежий воздух, и служителям приходилось подолгу уговаривать своих подопечных прогуляться по саду (если столь унылое место достойно именоваться садом). Но мне прогулки приносили некоторое облегчение, и каждый день, когда позволяла погода, я надевала плащ и безостановочно расхаживала взад-вперед по гравийным дорожкам целый час, а то и дольше. Порой я разглядывала ряд зарешеченных окон на третьем этаже: окно прежней моей палаты, судя по всему, было третьим справа, а через четыре окна от него — хотя я старалась не думать об этом — находилась гостиная, где я по глупости доверилась Фредерику Мордаунту. На окнах первого этажа тоже стояли решетки, а вот на втором таковые отсутствовали — в окнах там я часто видела лица, смотрящие вниз, и гадала, не там ли обитают здешние врачи и служители.

Кирпичные стены, огораживавшие сад с трех сторон, с земли казались даже еще выше. Плющ по ним не вился, но известковый раствор между кирпичами был немного раскрошен, и мне думалось, что сильный и ловкий человек, не стесненный в движениях длинными юбками, мог бы забраться наверх в месте, где стены сходятся под прямым углом. Однако тревога поднимется задолго до того, как он достигнет верха стены, а даже если он и успеет перелезть на другую сторону, за ним тотчас же бросятся в погоню. В дальнем конце внешней стены была толстая деревянная дверь, но, судя по непроходимым зарослям кустарника перед ней, она уже много лет не открывалась. Помимо разбросанных там и сям белых цветов, в саду хорошо росли лишь растения самых темных и самых мрачных оттенков зеленого.

Праздность в клинике не поощрялась. Для успокоения нервов рекомендовалось вязать и вышивать; пациентки, которым нельзя доверить иглу или спицы, плели корзины из лозы и коврики из рафии. Когда не гуляла в саду, я читала или притворялась, будто читаю, чтобы меня не принуждали играть в карты или нарды. Мне сказали, что летом пациентам, делающим заметные успехи, разрешается гулять под строгим наблюдением в других уголках поместья. Все это, по словам миссис Пирс, являлось частью метода моральной терапии. Мне же это напоминало своего рода религиозную доктрину, приверженцы которой, невзирая на все разговоры о грядущем спасении, имеют намного больше шансов угодить в ад, расположенный в тесных пределах сумасшедшего дома и населенный десятками или сотнями страдальцев, мне неизвестных.

Принимать пищу нам предписывалось в столовой зале внизу, если только врачи не освобождали нас от такой необходимости по состоянию здоровья. Мужчины и женщины ели вместе. Там стояло несколько столов разного размера, и во время обеда и ужина за нами надзирали миссис Пирс и по меньшей мере один из врачей (все они, похоже, были холостыми и жили прямо в Треганнон-хаусе). За одним столом лица каждый день менялись; позже я узнала, что там сидят больные из отделений с более строгим режимом, которых приводят в столовую, чтобы показать, какую свободу они получают, если приложат усилия к своему выздоровлению. Разговоры за столом всячески поощрялись, но блюда подавались в

лучшем случае малоаппетитные. Когда бы не окружающее вас общество, вы могли бы вообразить, будто находитесь в каком-нибудь пансионе средней руки.

Доктор Стрейкер посадил меня за средний стол, между мистером Уингрейвом, постоянно говорившим без умолку, и мисс Траэри, никогда не раскрывавшей рта. Мисс Траэри — высокая костлявая дама с мертвенно-бледным лицом и тусклыми волосами мышинного цвета — всегда сидела с несчастнейшим видом, неподвижно уставившись на свою нетронутую тарелку, пока кто-нибудь из служительниц не напоминал ей, что надо есть. Даже размещение пациентов за столами было частью моральной терапии. Мистер Уингрейв являл собой пример человека, одержимого заблуждением, отречься от которого он решительно отказывался, а потому обреченного на пожизненное заключение в психиатрической клинике Треганнон. Мисс Траэри служила наглядным предупреждением о плачевной участи, уготованной всем, кто предался отчаянию.

Поначалу я решила, что нашла в мистере Уингрейве союзника, ибо он производил впечатление совершенно нормального человека, прекрасно понимающего, что неладно с нашими сотрапезниками. Но потом сей господин по секрету сообщил мне, что миром управляет раса незримых существ, именуемых Надзирателями; он знает это, поскольку один на всем свете слышит их голоса. Мистер Уингрейв, похоже, смирился со своим печальным жребием; Надзиратели, сказал он, заставили доктора Стрейкера признать его душевнобольным, чтобы никто за пределами лечебницы Треганнон никогда не узнал об их существовании. Людей, над чьим умом забирали власть Надзиратели, он научился распознавать по глазам, принимавшим особое стеклянное выражение. После всего, что со мной произошло, в подобное с легкостью верилось; только я безоговорочно считала доктора Стрейкера верховным божеством нашей преисподней, а служителей клиники — его подручными демонами.

Кроме нас троих, за средним столом сидели: миссис Партридж, сухонькая старушка с чрезвычайно любезными манерами, твердо убежденная, что она является младшей сестрой королевы, и помещенная в клинику собственными детьми во избежание неприятностей — каких именно, оставалось только гадать, поскольку она казалась совершенно безобидной; миссис Хоксли — болезненно беспокойная и порывистая в движениях женщина, смотревшая диким взором на каждого, кто к ней приближался; мисс Смайт — маленькая, похожая на птичку дама средних лет, которая непрестанно, даже во время еды, мотала головой, иногда медленно, а иногда лихорадочно, словно отчаянно отрицая что-то; преподобный мистер Карфакс, безупречно одетый господин импозантной наружности, который раскладывал перед собой столовые приборы с математической точностью и поминутно смахивал незримые пылинки с рукава сюртука; мистер Стэнтон — костлявый седовласый старик с постоянным выражением ужаса в глазах; мисс Льюис — тучная дама с религиозной манией, слышавшая голоса в голове и шепотом спорившая с ними. А также несколько других пациентов, чьи имена остались мне неизвестными, — вроде высоченного худого мужчины с печатью неизбывной скорби на челе, который ходил на манер диковинной болотной птицы, надолго замирая с поднятой ногой на каждом шагу.

Однажды утром, через несколько недель после моего перевода в женское отделение, я стояла у окна библиотеки, выходящего, как и окно моей комнаты наверху, в конюшенный двор. Немногим ранее прошел дождь, и с крыши конюшни напротив все еще капала вода. Во двор с грохотом вкатила телега, запряженная парой лошадей, и я признала в возчике

Джорджа Бейкера. Он остановился, и двое конюхов вышли к нему, чтобы пособить с разгрузкой. Господи, если бы только я тогда отправилась куда угодно, но не на Гришем-Ярд! Я могла бы сойти с поезда в Плимуте и попросить пристанища у доброй женщины, помогшей мне на станции. К глазам моим подступили слезы; я закусила губу и прижалась лицом к решетке, чтобы никто не увидел.

— Мисс Эштон... — внезапно раздался над моим ухом голос Фредерика Мордаунта, тихий и нерешительный.

Резко повернувшись кругом, я увидела, что выглядит он больным и положительно несчастным. Потом услышала собственный голос, полный холодного презрения:

— Вы нарушили свое слово. Вы обманули мое доверие. Вы недостойны зваться джентльменом.

Вся краска сбежала с лица молодого человека. В комнате кто-то ахнул. Губы Фредерика шевельнулись, но я стремительно прошагала мимо него, прежде чем он успел заговорить. Доктор Стрейкер с обычным своим иронично-невозмутимым видом наблюдал от двери за происходящим. Мгновением позже он выскользнул из библиотеки, а ко времени, когда я вышла в коридор, его уже и след простыл.

По мере приближения зимы я все глубже погружалась в тупую, равнодушную апатию. Изредка во мне по-прежнему вспыхивала ярость при мысли о моем несправедливом заточении, но я больше не могла поддерживать в себе такой накал эмоций, который помог мне пережить первые ужасные недели в сумасшедшем доме. Раньше я часто отказывалась от успокоительных, теперь же я безропотно принимала все препараты, что мне давали, и дремала даже в течение нескольких светлых часов дня. Пришло и прошло Рождество — отвратительная пародия на празднество, — а потом установилась слишком холодная и сырая погода, чтобы гулять в саду (во всяком случае, так я равнодушно говорила себе). Разлученная со всеми, кто меня любил, со всеми, кто хотя бы мог опознать меня, я постепенно поняла, что моя жизнь, прежде казавшаяся безусловно реальной, на самом деле состоит из одних лишь воспоминаний, причем даже не моих, по утверждению доктора Стрейкера. Иногда я и вправду старалась вспомнить хоть что-нибудь из прошлого Люсии Эрден, но в памяти ничегошеньки не всплывало. Еще сильнее, чем вероятность однажды утром проснуться Люсией Эрден, меня пугало ощущение, что я становлюсь никем: даже не незнакомкой, а призраком, обитающим в теле, которое никому больше не принадлежит.

Ясным тихим днем в конце марта, ближе к вечеру, я впервые за несколько месяцев вышла в сад, зябко кутаясь в плащ и ступая гораздо медленнее прежнего. В тени здания воздух был сырой и холодный, но на скамью в дальнем углу сада падало солнце, и, пройдя по дорожкам два круга, я присела там отдохнуть. От тепла солнечных лучей во мне словно что-то растаяло, и я начала плакать, не истерически, как обычно, а тихо, без надрыва; соленые слезы подкатывали к глазам и лились сквозь пальцы. Внезапно я почувствовала, что надо мной кто-то стоит, и подняла голову. На меня со страдальческим выражением смотрел Фредерик Мордаунт, выглядевший еще более худым и несчастным, чем в прошлый раз.

— Умоляю вас, выслушайте меня, — прерывистым голосом проговорил он. — Я не прошу... и не заслуживаю... вашего прощения, но мне нужно кое-что сказать вам.

Он стоял передо мной, как подсудимый в ожидании приговора, нервно крутя в руках шляпу.

— Если вы настаиваете, сэр, я не могу вам помешать.

При слове «сэр» молодой человек вздрогнул, но не отступил:

— Я прошу лишь выслушать меня.

Если бы он назвал меня «мисс Эштон», я бы обратилась в бегство.

— Хорошо, сэр, я вас выслушаю. И можете присесть, — добавила я, передвигаясь на один конец скамьи и указывая на другой. Мне не хотелось, чтобы он нависал надо мной.

— Спасибо... Когда доктор Стрейкер вернулся в воскресенье вечером, после нашего с вами... в общем, когда он сказал мне, что встречался с Джорджиной Феррарс в Лондоне, я сначала не поверил. Но когда я узнал, что при встрече присутствовали Джозайя Феррарс и служанка, а тем более когда услышал историю про Люсию Эрден, покинувшую Гришем-Ярд за два дня до вашего появления здесь, у меня не оставалось иного выбора, кроме как поверить. И все же сердце мое восставало против этого... Все это просто не увязывалось... со всем, что я успел узнать о вас. Я решительно не понимал, как вы можете... так глубоко заблуждаться и при этом производить впечатление абсолютно нормального человека. Доктор Стрейкер объяснил мне... уверен, он и вам говорил то же самое... дескать, вы столь твердо убеждены, будто являетесь Джорджиной Феррарс, единственно потому, что в вашей памяти не сохранилось ничего, помимо присвоенной вами личности, а следовательно, вы совершенно искренни в своем заблуждении. Но меня по-прежнему не оставляли сомнения; я даже высказал предположение, что в Лондоне он разговаривал не с Джорджиной Феррарс, а с Люсией Эрден и именно она обманом заставила вас приехать в Треганнон-хаус.

— И что он ответил на это?

— Доктор Стрейкер с жалостью посмотрел на меня и сказал, мол, у него сразу же возникла такая мысль, поэтому он наедине переговорил со служанкой, которая заверила его, что мисс Феррарс неотлучно находилась на Гришем-Ярд все время... пока мы с вами общались здесь. А потом добавил... что я позволяю своим эмоциям брать верх над здравым смыслом.

Фредерик говорил, низко опустив голову и стиснув руки с такой силой, что костяшки побелели.

— Я сказал доктору Стрейкеру, — продолжал он, — что дал вам слово чести, мол, вы можете покинуть клинику, когда пожелаете, и что я непременно должен увидеться с вами утром, как обещал. Он очень рассердился и заявил, что я позволил себе безрассудно увлечься тяжелобольной женщиной и подверг вашу психику опасности, потворствуя вашему заблуждению, будто вы являетесь Джорджиной Феррарс, и что ради вашего выздоровления, а возможно даже, ради спасения вашей жизни я должен отказаться от всякого общения с вами. В конечном счете он приказал мне держаться от вас подальше, и я почел необходимым подчиниться: на карту было поставлено ваше здоровье, и... мои собственные мотивы вызывали у меня сомнение.

— Почему вы говорите мне все это сейчас, спустя столько месяцев? — с горечью спросила я. — Совесть замучила?

— Я пытался объяснить с вами раньше, в библиотеке, но вы не пожелали меня выслушать... и доктор Стрейкер отчитал меня за то, что я вас расстроил. А потом я долго болел... впрочем, это не важно. Дело в том... я здесь затем, чтобы...

Я не собиралась проявлять никаких чувств, помимо презрения, но его виноватый вид вывел меня из себя.

— С чего вы вообразили, сэр, что меня хоть сколько-нибудь интересуют ваши чувства? Вы обманули мое доверие, предали меня; из-за вашего предательства я оказалась в заточении здесь, где, скорее всего, и останусь до самой смерти, — и вы думаете, мне нужны

ваши извинения? По вашим словам, вы законный наследник Треганнон-хауса. Так вот, если вы и тут не лжете по своему обыкновению, ваш долг как джентльмена — приказать доктору Стрейкеру немедленно выпустить меня во исполнение вашего же обещания!

Реакция Фредерика оказалась совсем не такой, как я ожидала. Он глубоко вздохнул, поднял голову и впервые за все время разговора посмотрел мне в глаза.

— Поверьте мне, мисс Эштон... вы не признаёте этого имени, но ведь я должен как-то называть вас... когда бы я не знал совершенно точно, что вы не Джорджина Феррарс, вас бы уже давно выпустили. Но я предпочитаю видеть вас здесь, чем в обычной психиатрической клинике или в тюрьме, — а другого выбора нет. Выпусти мы вас сейчас, вы отправитесь напрямиком на Гришем-Ярд — разве не так? — и мисс Феррарс непременно отдаст вас под арест.

— А если допустить, что доктор Стрейкер... — Я хотела сказать «лжет», но у меня не хватило духу. — Если допустить, что он ошибается и самозванка не я, а она?

— Боюсь, это исключено. Доктор Стрейкер никогда не признал бы вас неменяемой, оставаясь у него хоть малейшая тень сомнения: ведь он рискует потерять не только репутацию, но и заработок. Если же я, как вы выразились, «прикажу» выпустить вас, он меня попросту проигнорирует. Он здесь всем заправляет, и его слово — закон.

— Если его слово — закон, — промолвила я, по-прежнему кипя гневом, — и он запретил вам разговаривать со мной, не боитесь ли вы получить очередной нагоняй?

— Нет, знаете ли... — неловко ответил молодой человек. — Похоже, доктор Стрейкер переменил свое мнение. На днях он сказал мне, мол, поскольку вы явно не склонны верить *ему*, вам будет полезно увидеть, будто и я тоже считаю, что вы никак не можете быть Джорджиной Феррарс. А я сказал, что попробую поговорить с вами, если это поможет делу и если... В общем, в любом случае он согласился.

— Вы имеете в виду — согласился выпустить меня?

— Нет... боюсь, нет... пока что. Но когда доктор Стрейкер установит вашу подлинную личность, может оказаться, что у вас совсем нет денег и... в общем, я хотел заверить вас, что после выхода из лечебницы вы будете обеспечены средствами к существованию.

— И кто же меня обеспечит?

— Ну... я, — пробормотал Фредерик, обращаясь к гравию под своими ногами.

— С какой стати вам, сэр, обеспечивать сумасшедшую, которая даже имени своего не знает?

— Я же дал вам слово, и еще... мне не все равно, что с вами станется, независимо от вашего настоящего имени, — еле слышно добавил он.

И опять мне живо вспомнилось, как несколько месяцев назад я стояла рядом с ним у окна гостиной на третьем этаже, глядя на скамью, где мы сидели сейчас, и говорила: «У вас нежная, любящая душа, и нельзя, чтобы она умерла вместе с вами». Возможно ли, что он любит меня, изможденную и исполненную отчаяния умалишенную женщину, какой я наверняка ему представляюсь — а возможно, и являюсь на самом деле? Но следующая волна гнева смела прочь эту мысль.

— Ваше слово, сэр, ничего не стоит. Я здесь только потому, что вы его нарушили, и я скорее умру голодной смертью, чем возьму хоть фартинг из ваших денег.

— Этого я и боялся, — горестно вздохнул Фредерик, поднимаясь. — Я говорил вам чистую правду: я не надеюсь на ваше прощение. Больше я вас не побеспокою, я не допущу, чтобы вы жили впроголодь, сколь бы глубоко вы ни презирали меня.

Он неуклюже поклонился и ушел прочь, не оглядываясь.

Я осталась сидеть на скамье, вся трепеща и уже сознавая глупость своего поведения. Сколь бы странным это ни казалось, Фредерик явно питал ко мне нежные чувства, и мне следовало сохранять самообладание и играть на этой струне, а не отпугивать его своим гневом. Наконец я встала, все еще дрожа, и направилась к зданию. Внезапно внимание мое привлекло лицо, смотрящее на меня из крайнего окна второго этажа: широкое, плоское, свинячье лицо, которое исказилось испугом, когда наши взгляды встретились, и быстро отпрянуло прочь.

Если бы не столь странная реакция, я бы решила, что там просто женщина, удивительно похожая на Ходжес. Ну а так я тотчас безошибочно узнала свою бывшую надсмотрщицу.

Я замерла столбом, уставившись на окно, но потом вдруг меня осенило: возможно, мне имеет смысл притвориться, будто я ее не узнала. Я опустила взгляд, потрясла головой, словно стряхивая наваждение, и двинулась дальше медленным механическим шагом, неотрывно глядя себе под ноги. По-прежнему изображая глубокую задумчивость, я поднялась по лестнице, проследовала по коридору и зашла в комнату, где задвинула заслонку смотровой прорези и села на кровать, пытаюсь уразуметь увиденное.

Если бы Ходжес действительно приняла взятку и помогла пациентке сбежать, ее ни при каких обстоятельствах не восстановили бы в должности. Я вспомнила, как все встреченные мной по пути служительницы останавливались и оборачивались мне вслед, но тревоги не поднимали; как ворота клиники очень кстати оказались открытыми и привратник не вышел из сторожки; как Джордж Бейкер в нужный момент появился на дороге; как доктор Стрейкер подждал меня у дома на Гришем-Ярд.

Они *хотели*, чтобы я сбежала, вернее, чтобы я думала, будто сбежала. За каждым моим шагом следили. Все они — Ходжес, служительницы, Джордж Бейкер, возможно даже, по-матерински добрая женщина на лискердской станции и невольно я сама — играли предписанные роли. В спектакле, призванном убедить меня, что я встретила на Гришем-Ярд с настоящей Джорджиной Феррарс. Точно так же для страдающего мономанией Гэдда устроили встречу с мнимым Гладстоном.

Фредерик тогда сказал мне, что, если бы они не нашли служителя, внешне похожего на премьер-министра, доктор Стрейкер нанял бы актера.

Женщина на Гришем-Ярд не иначе была актрисой. Она могла часами изучать меня сквозь смотровую прорезь в двери лазаретной палаты.

Услышав шорох в коридоре, я испуганно покосилась на дверь. Не отодвинулся ли чуть-чуть щиток прорези? Подойти и проверить у меня не хватило духу. Вместо этого я подошла к окну (так, по крайней мере, никто не видел моего лица) и долго стояла, глядя в уже темнеющий двор, где недавно конюхи дружески приветствовали Джорджа Бейкера.

Не он ли вообще привез меня в лечебницу? Я очнулась после припадка в четверг, значит, скорее всего, прибыла сюда в среду...

Но это походило на правду не больше, чем история Люсии Эрден.

Поскольку мне столь часто и столь многие люди говорили, что я приехала сюда как Люси Эштон, добровольная пациентка из Плимута, постепенно я стала видеть в воображении все происходившее, сцену за сценой: вот Фредерик опрашивает меня по моем прибытии, вот я беспокоюсь брожу по территории поместья вечером; вот меня находят без чувств рано утром.

Доктор Стрейкер сказал, что «подобный выбор вымышленного имени вызывает

известные подозрения, когда речь идет о встревоженной молодой женщине, прибывшей для лечения в частную психиатрическую клинику». А может, имя Люси Эштон выбрано именно потому, что наводит на подозрения? Может, он сам его и выбрал для меня?

А ну как он солгал насчет припадка, приключившегося со мной? Ведь я запросто могла пролежать в наркотическом забытии несколько даже не дней, а недель, прежде чем очнулась в лазарете.

Больше книг на сайте - Knigoed.net

Чем дольше я размышляла, тем больше во мне крепла уверенность, что вся эта история сфабрикована доктором Стрейкером.

А значит, Фредерик обманывал меня — обманывал *во всем*. Его застенчивость, искренность, чувствительность, страдальческие слезы, скорее всего, были притворством. Вполне вероятно, у него есть жена, или любовница, или обе сразу. Он даже рассказал мне о случае Исаяи Гэдда, без сомнения полагая меня слишком глупой и наивной, чтобы увидеть в нем сходство с собственным случаем. Вспомнив, как легко Фредерик завладел моим сердцем, я покраснела от стыда и унижения.

А если и Белла, с виду такая искренняя и простодушная, тоже обманывала меня по приказу доктора Стрейкера, тогда получается, что мне нельзя верить никому и ничему, помимо собственных глаз. А возможно, и глазам своим нельзя верить.

Я вдруг осознала, что вцепилась в подоконник с такой же силой, с какой когда-то цеплялась за корни утесника, вися над обрывом.

Они делали все, чтобы свести меня с ума в самом прямом смысле слова, предоставив мне неопровержимые доказательства, что я не я.

Но *зачем*? Ведь доктор Стрейкер рисковал покрыть свое имя позором, а возможно, и оказаться в тюрьме. Что, если бы я не отправилась прямоком в Лондон, а обратилась в полицию Лискерда и полицейские мне поверили? Что, если бы мой дядя объявился в самый неподходящий момент? Доктор Стрейкер знал, что у меня мало денег и никаких видов на наследство. Зачем выбирать психически здоровую молодую женщину, когда у него в распоряжении полная клиника душевнобольных?

Разве только он руководствовался тем соображением, что никто на свете, кроме полуслеплого дяди, не беспокоится моим бесследным исчезновением и даже не узнает о нем.

Я вспомнила, как Фредерик рассказывал — опять-таки в полной уверенности, что я не уловлю намека, — об исследованиях доктора Стрейкера, связанных с прививкой фруктовых растений.

Они выбрали меня для эксперимента.

Вот почему я не получала никакого лечения. Доктор Стрейкер терпеливо ждал, когда я полностью лишусь рассудка, а сам тем временем собирал сведения о другой одинокой молодой женщине, пропавшей без вести, — женщине, чью потерянную душу он замыслил вселить в мое тело.

А что потом? Он не может отпустить меня (если вообще имеет такое намерение), пока окончательно не убедится, что из моего сознания стерты всякие воспоминания о Джорджине Феррарс. Для человека с его возможностями не составит труда создать неопровержимое доказательство, что настоящая Джорджина Феррарс умерла: распухший труп в моей одежде и с моей брошью, выловленный из Темзы.

Вполне вероятно, эксперимент закончится тем, что меня повесят за убийство себя

самой.

Каждое утро после завтрака миссис Пирс громко называла имена пациентов, к которым желают навестись врачи, и просила разойтись по своим комнатам и ждать. Я не видела доктора Стрейкера всего несколько дней, но, когда на следующее утро услышала свое имя, у меня в глазах помутнело. Удивляюсь, как я не упала в обморок, поднимаясь по лестнице.

Ожидание врача могло продолжаться от пяти минут до часа и больше. Чем упорнее я повторяла себе, что нельзя показывать свой страх, тем сильнее дрожала; и я знала, что не сумею скрыть ужас и отвращение при виде доктора Стрейкера. Даже если Ходжес ничего ему не сказала, он все равно почует неладное и будет наседать, наседать на меня, пока все не выяснит.

Можно прикинуться больной, но он раскусит мое притворство, как только потрогает мне лоб и пощупает пульс, и тогда мой страх перед ним лишь усилится. Нет, мне нужно признаться, что я боюсь (ведь приступы страха случались у меня и прежде), но исхитриться умолчать при этом, что теперь я смертельно боюсь *его*. Я села на стул спиной к окну и стала придумывать, что бы такое сказать.

Услышав в коридоре шаги, я закрыла лицо ладонями и разрыдалась, для чего мне и притворяться особо не понадобилось, а когда дверь отворилась, я даже не пошевелилась.

— Доброго утра, мисс Эштон. Печально видеть, что вы расстроены.

Я глубоко, прерывисто вздохнула и медленно подняла голову. Говорил доктор Стрейкер, по обыкновению, спокойным и вежливым тоном, но глаза его блестели ледяным блеском, а вовсе не веселым, как мне казалось в первые дни нашего знакомства.

— Вас не должно это удивлять, сэр, — ответила я. — Я здесь пленница, здесь мне суждено умереть, у меня не осталось надежды на спасение.

— Полноте вам, мисс Эштон. Мы со дня на день установим вашу личность.

— Я слышу это уже много месяцев, сэр... целую вечность невыносимых страданий... но ничего не меняется.

— Поверьте, мисс Эштон, я понимаю, как вам тяжело. Позвольте пощупать ваш пульс.

Я невольно содрогнулась, когда пальцы доктора Стрейкера прикоснулись к моему запястью.

— Прошу прощения. Утро сегодня холодное, и руки у меня, несомненно, тоже холодные.

В своей заботливости он походил на мясника, который ласково почесывает голову ягненка, готовясь перерезать тому горло. Он хотел вырвать душу из моего тела, но самым гуманным и просвещенным способом из всех возможных и искренне сочувствовал страданиям, претерпеваемым мной в ходе чудовищного эксперимента. Я отчаянно старалась унять дрожь в руке.

— Хм... пульс учащенный, но, с другой стороны, нынче утром вы взволнованы. Скажите, у вас есть причина для волнения — я имею в виду, конкретная причина? Вы вспомнили какие-нибудь события и обстоятельства нескольких недель, предшествовавших вашему прибытию в клинику?

— Нет, сэр, не вспомнила. — Страх в моем голосе слышался совершенно отчетливо.

— Жаль. На днях я получил краткое письмо от мисс Феррарс — она осведомляется, нашли ли мы бювар, и по-прежнему грозитя привлечь вас к суду. Конечно, пока вы находитесь у нас, вам нечего бояться, но, если бы все-таки вы вспомнили, куда спрятали

бювар, на вашем пути к освобождению стало бы одним препятствием меньше.

— Я вас не понимаю, сэр, — горестно вздохнула я, промокая платочком глаза, чтобы скрыть от него лицо.

— Будет прискорбно, мисс Эштон, если мы выпустим вас единственно для того, чтобы вас арестовали сразу за воротами.

— Но как вы можете выпустить меня, сэр, если у меня нет ни дома, ни денег, ни имени?

— Имя у вас будет... Постойте-постойте! То есть вы хотите сказать, что больше не считаете себя Джорджиной Феррарс?

Я зарыдала от ужаса уже непреднамеренно, комкая в руках платок и молясь, чтобы доктор Стрейкер принял мои слезы за слезы горя.

— Я уже и не знаю, что думать, сэр, — прерывистым голосом пролепетала я. — Рассудок говорит мне, что я не Джорджина Феррарс, но память говорит... если я не Джорджина Феррарс, значит я никто.

— Это интересно, — промолвил он. — И внушает надежду, хотя сами вы этого не понимаете. Постарайтесь не терять веры, мисс Эштон, ждать уже недолго.

Последние слова все еще отдавались набатом в моих ушах, когда дверь за ним закрылась.

До самой ночи лил дождь, но на следующий день я снова вышла в сад и медленно бродила по нему кругами, пока меня не сморила усталость. Я присела на скамью отдохнуть в бледных лучах солнца.

Что там доктор Стрейкер сказал про мой бювар? «Если бы вы могли вспомнить, куда спрятали его...» Безусловно, он несколько не заинтересован в том, чтобы моя память полностью восстановилась, однако при этом настойчиво требует, чтобы я вспомнила, где бювар. А вдруг бювар и впрямь не у него? Может быть, в нем находится нечто очень для него важное — или представляющее опасность?

Ну конечно! Мой дневник, который я предположительно так и вела в течение всех недель, выпавших у меня из памяти. Я ведь рассказывала Фредерику, как тетя Вайда побуждала меня записывать все события каждого дня, даже самые незначительные.

Если я привезла с собой брошь (при условии, что приехала сюда по собственной воле), значит и бювар наверняка тоже привезла.

Но ключика от него у меня на шее не было, когда я очнулась в лазарете.

Из теней в дальнем конца сада выступила темная фигура и направилась ко мне. С тревожным замиранием сердца я узнала в ней Фредерика Мордаунта, по обыкновению понурого и несчастного. Нужно держать с ним ухо остро, тем более что доктор Стрейкер, вне всяких сомнений, наблюдает за нами из окна наверху.

— Мисс Эштон, я не забыл о своем обещании не докучать вам, но я пришел сказать, что убедил доктора Стрейкера перевести вас обратно в отделение для добровольных пациентов.

Я уставилась на него, онемев от изумления. Возможно, это ловушка — но какого рода ловушка?

— Вам лучше присесть. — Я нарочно указала на место справа от себя, чтобы во время разговора с ним моего лица не было видно из окон.

— Благодарю вас. Правда, доктор Стрейкер поставил условия. Он отказывается снять ваш диагноз, и принимать пищу вы будете по-прежнему в закрытом отделении. Но вы вернетесь в свою прежнюю комнату, которую занимали до того, как с вами приключился

припадок, и вам будет позволено в течение дня гулять по всему поместью, покуда вы не предпримете попыток бегства, а я очень прошу вас не делать этого ради вашего же блага. За вами будет вестись пристальное наблюдение, доктор Стрейкер на этом настаивает; и, если вы хотя бы просто выйдете за ворота, он от вас откажется и отправит в девонширскую психиатрическую клинику как безнадежную душевнобольную.

Мне не пришлось ничего изображать: мое недоумение было неподдельным. Зачем, спрашивается, переводить меня в комнату, где я, скорее всего, и не была никогда раньше, и разрешать мне гулять по всему поместью? Или они *хотели*, чтобы я снова попыталась сбежать?

— Почему доктор Стрейкер на это согласился? — наконец спросила я.

— Потому что я настоял. Я принял ваши слова близко к сердцу — про мои возможности как наследника и про мой долг как джентльмена. Я никогда прежде не перечил доктору Стрейкеру — ни разу повода не возникало, — но после нашей с вами последней встречи... В общем, я напомнил ему о его собственном основополагающем принципе: не причинять пациенту боли без крайней необходимости. Я указал, что за несколько месяцев заключения мы принесли вам одни страдания и ни на шаг не приблизились к разгадке тайны вашей личности. И что для восстановления вашей памяти лучше всего заручиться содействием мисс Феррарс и устроить вашу с ней встречу, чтобы вы поговорили друг с другом. Доктор Стрейкер сказал, что она на такое ни под каким видом не согласится, пока мы не вернем ей бювар, а я ответил, что вероятность получить обратно бювар у нее значительно повысится, коли она встретится с вами в спокойной обстановке, а в случае неудачи я компенсирую ей утрату. На это доктор Стрейкер заявил, мол, встреча с мисс Феррарс приведет вас в такое возбуждение, что с вами снова может приключиться припадок, на сей раз фатальный. Он медик, а я нет: здесь я не мог с ним спорить. Но я настаивал, что мы должны хоть что-то для вас сделать. В конце концов он согласился, крайне неохотно, перевести вас в отделение для добровольных пациентов на вышеупомянутых условиях. И добавил, мол, если с вами что-нибудь случится, вся ответственность будет лежать на мне.

Фредерик говорил, я могла поклясться, с самым искренним чувством.

— Но почему доктор Стрейкер сам ничего не сказал мне вчера?

— Разговор у нас состоялся только сегодня утром, и он... разрешил мне сообщить вам.

— Если бы вы тогда сдержали свое обещание, сэр, меня бы сейчас здесь не было. Тем не менее благодарю вас за вашу заботу. Когда же меня переведут?

— Когда вам будет угодно. На самом деле, если вы не против, я могу прямо сейчас проводить вас туда.

Я поднялась со скамьи, чуть пошатнувшись. Фредерик предложил мне руку и густо покраснел, когда я не приняла ее. Неужели он и впрямь умеет краснеть, когда захочет? Кто он — сообщник доктора Стрейкера или послушная марионетка в его руках? В любом случае доверять ему нельзя.

— Ступайте вперед, сэр, я пойду следом, — сказала я.

Фредерик поклонился, всем своим видом являя униженное смирение, и направился к зданию. Не сдержавшись, я бросила взгляд на верхние окна: расплывчатое бледное пятно за одним из них вполне могло быть лицом.

Войдя в холл, мы с ним проследовали к двери, через которую постоянно ходила туда-сюда миссис Пирс. При нашем приближении дежурившая там служительница отперла замок, мы прошагали по темному гулкому коридору и вышли к знакомой мне лестнице:

именно здесь во время своего побега я видела высокого седого мужчину, напомнимшего мне кого-то — Фредерика, вот кого. Тогда за мной наблюдал Эдмунд Мордаунт.

— Мисс Эштон? — Молодой человек указал на лестницу.

Поднимаясь за ним следом, я размышляла: может, я неправильно его поняла и меня переводят обратно в лазарет? Однако на втором этаже он свернул в коридор, очень похожий на коридор женского отделения, разве что на дверях тут не было табличек с именами. Наконец мы остановились перед единственной дверью, снабженной табличкой — с именем «МИСС ЭШТОН», написанным знакомыми золотыми буквами.

— Здесь я вас оставляю, — неохотно проговорил он, глядя на меня (я опять могла поклясться) с безнадежной мольбой. — Чтобы пройти в столовую, вам нужно просто спуститься тем же путем на первый этаж, и там служительница вас пропустит.

Он открыл передо мной дверь, неловко отвесил поклон и удалился. А в комнате, подумать только, находилась Белла, спокойно укладывавшая в шкаф мои вещи.

— Очень рада снова видеть вас, мисс Эштон. У вас будут какие-нибудь распоряжения?

Ее гладкое детское лицо теперь казалось лживой маской.

— Нет, спасибо, Белла.

Она слегка кивнула и вышла прочь, оставив меня осваиваться на новом месте.

Комната, оклеенная голубыми обоями с растительным узором, хоть и выцветшими, выглядела гораздо веселее прежней. Обстановка почти такая же, как в лазаретной палате: кровать, небольшой дубовый комод, платяной шкаф и бюро. Из окна — слава богу, с занавесками — открывается вид на мощный внутренний двор, ограниченный тремя другими стенами здания, и ряды окон напротив. Решетка из четырех толстых железных прутьев, вделанных в каменную кладку, находится снаружи, отчего сходство комнаты с тюремной камерой уменьшается. Дверь здесь без смотровой прорези; имеется даже хлипкая щеколда, чтоб запирается изнутри, но ключа в замочной скважине нет.

Снимать плащ я не стала: поскольку до наступления темноты еще оставалось полно времени, я решила безотлагательно воспользоваться вновь обретенной свободой и проверить, действительно ли мне позволено гулять по всему поместью. У подножья лестницы стояли и разговаривали две модно одетые женщины — посетительницы? добровольные пациентки? шпионки? Они с любопытством взглянули на меня, однако ничего не сказали. Когда я приблизилась к наружной двери, сердце мое забилося учащенно, но никто не выскочил из тени, чтобы меня схватить, а уже мгновением позже я стояла на гравийной дорожке.

Густая роща слева от меня тянулась на запад, до граничной стены поместья, находившейся ярдах в ста самое малое. Бледное солнце спускалось к верхушкам деревьев. На лоскутных полях впереди и справа работали люди. У высокой каменной стены, изгибавшейся огромной дугой к северу и востоку, мирно паслись коровы. Если бы не мрачная громада клиники за моей спиной, было бы полное впечатление, будто я стою в полях рядом с лесом Брайтстоун, где мы с тетей Вайдой иногда гуляли.

Я повернула направо и двинулась по дорожке в сторону ворот, как уже делала однажды. Свобода казалась дразняще близкой; сердце мое глухо стучало и во рту пересохло от волнения, когда я прошла под раскидистыми ветвями лесного бука, теперь покрытыми набухшими почками, и вышла на внешний двор.

Ворота были закрыты: очередное доказательство (если таковое еще требовалось), что мой побег был подстроен. Мне следовало бы сообразить, что ни в одной психиатрической

лечебнице главные ворота никогда не оставят открытыми и без охраны.

За вами будет вестись пристальное наблюдение. Представив холодный насмешливый взгляд доктора Стрейкера, устремленный на меня сверху, я с трудом подавила приступ паники и, не замедляя шага, пошла дальше — свернула направо, в конюшенный двор, и обогнула угол конюшни. Теперь я находилась вне видимости из окон клиники.

Земля здесь отлого поднималась к граничной стене поместья, еле видневшейся вдали. К востоку простирались широкие поля и луга, а к югу — густые рощи. Позади конюшни оказался большой огород, справа огороженный высокой кирпичной стеной, по другую сторону которой я сидела часом раньше. Две кухонные работницы выдергивали морковь из грядки неподалеку. Они с любопытством взглянули на меня, но не выказали ни малейшей тревоги.

Я прошла огород насквозь и двинулась дальше. Красный кирпич нового корпуса сменился серым камнем среднего крыла, а впереди возвышалась мощная четырехугольная башня из гораздо более древнего камня — выщербленного временем и почти черного. Окна ее представляли собой узкие вертикальные прорезы, причем все нижние были наглухо заложены кирпичом вместе с дверным проемом.

Приблизившись, я увидела, что башня является частью длинного, беспорядочно построенного здания из такого же темного древнего камня. Оно располагалось всего шагах в двадцати от главного здания и соединялось с ним узкой каменной галереей, вымощенной плитами. Над крышей не поднималось ни дымка, сквозь гравий повсюду пробивалась сорная трава, пол галереи устилала прелые листья.

Стены двух зданий — серого и черного — словно наклонялись друг к другу, образуя подобие глубокой расселины, расширяющейся книзу. Если пойти прямо, до конца здания, а потом повернуть направо, я окажусь там, откуда начала путь. Высоко надо мной окна верхнего этажа сверкали в лучах заходящего солнца, но на земле уже лежала густая тень. *Вас нашли без чувств на дорожке...* Не здесь ли со мной случился припадок? Что я здесь делала среди ночи? И что стало причиной припадка? Что-то увиденное мной? Или услышанное?

Ноги мои словно сами собой зашагали быстрее, еще быстрее, и наконец я пустилась бегом — промчалась по гравийной дорожке до угла, повернула направо и бросилась к двери, откуда недавно выходила на прогулку, потом пронеслась через холл (казалось, ставший гораздо темнее за время моего отсутствия), взлетела по лестнице, подгоняемая эхом собственных частых шагов, стремительно пробежала по коридору и ворвалась в свою комнату, где прыгающими пальцами задвинула дверную щеколду и в изнеможении привалилась к двери, дрожа с головы до пят.

Независимо от того, является Фредерик сообщником своего хозяина или же просто покорным исполнителем его воли, доктор Стрейкер никогда не согласился бы перевести меня в другое отделение, если бы не преследовал какую-то свою цель. Неужели он и впрямь хочет, чтобы я опять сбежала? Никакой другой причины в голову не приходило. И он, безусловно, с уверенностью полагает, что я опять отправлюсь на Гришем-Ярд.

А там меня, скорее всего, ожидает что-нибудь еще более ужасное, чем в прошлый раз. В лучшем случае меня арестуют как сбежавшую из клиники душевнобольную, выдающую себя за мисс Феррарс.

Без денег дальше Лискерда мне не добраться. Следовательно, если доктор Стрейкер пытается снова заманить меня на Гришем-Ярд, где-то в моей комнате должен быть предусмотрительно спрятан еще один кошелек. А когда я заглочу наживку, главные ворота

клиники опять очень кстати окажутся открытыми.

Значит, моя единственная надежда на спасение — это найти деньги, коли таковые действительно мне подброшены, и отправиться не на Гришем-Ярд, а... в Плимут, к моему поверенному мистеру Везереллу. Кажется... нет, точно... я не упоминала о нем ни Фредерику, ни доктору Стрейкеру. Сама я с ним никогда не встречалась, но оно, может, и к лучшему, — по крайней мере, мистер Везерелл подтвердит подлинность моей подписи.

Последние лучи закатного солнца угасали на крыше напротив, но было еще довольно светло. Может, за мной и прямо сейчас наблюдают? Я обвела взглядом потолок и стены в поисках смотровых отверстий — ничего подозрительного, но, с другой стороны, в свое время тетушка показывала мне, как через крохотную дырочку, проткнутую в бумажке острием карандаша, можно увидеть все побережье. Если они и вправду наблюдают за мной, то наверняка предполагают и даже надеются, что я внимательно обследую комнату.

Чемодан и шляпную картонку Белла убрала в шкаф, так же как в прошлый раз, в лазарете. Я тщательно их осмотрела, ощупала всю подкладку, но безрезультатно. Не нашла я денег ни среди своей одежды, ни под матрасом, ни в дубовом комод: нижний ящик выдвинулся всего на дюйм и застрял; однако, вытащив другие два ящика, я увидела, что в нем пусто. Я пошарила по внутренним стенкам комода, проверяя, не прикреплено ли к ним что-нибудь, но не обнаружила ничего, кроме пыли да ключев паутины. Я осмотрела все предметы мебели, даже вынула ящик бюро и заглянула в темную полость, но и там не нашла ни единого фартинга.

Обескураженная, я опустилась на колени перед комодом, собираясь поставить обратно верхние ящики, но вместо этого невесть почему принялась возиться с нижним — трясти, дергать туда-сюда, пока он не начал по чуть-чуть выдвигаться. Я уперлась одной рукой в комод, намереваясь рвануть ящик посильнее. Внезапно в темноте за ним мне померещилась змея, изготовившаяся к броску.

Я вздрогнула всем телом, и в следующий миг ящик резко выдвинулся, больно ударив меня по ноге. В пыльном углу комода что-то тускло блестело. Не змея, а золотая застежка — две золотые застежки маленького кожаного портфельчика. Я подползла на коленях ближе и увидела, что он покрыт тонким слоем пыли, которая закружилась в воздухе вокруг меня, когда я трясущимися руками вытащила свой бювар. На пыльном дне комода от него остался отчетливый отпечаток.

От Розины Вентворт к Эмили Феррарс

*Портленд-плейс,
Мэрилебон
10 августа 1859*

Дорогая Эмилия! Ты не поверишь, что у нас случилось. Кларисса сбежала из дома! С молодым джентльменом по имени Джордж Харрингтон, я тебе о нем рассказывала. Она бесстыдно флиртовала с ним на приеме у Бошеров, но я и помыслить не могла, что дело пойдет так далеко. Я думала, сестра смирилась с тем, что ей придется выйти замуж за этого противного сморщенного старикашку, мистера Ингрэма. Однако попробую рассказать все по порядку.

В понедельник наш отец отбыл утренним поездом в Манчестер, где намеревался провести два дня, а ближе к вечеру уехала и Кларисса — якобы в Брайтон, чтобы погостить неделю у Флетчеров. Она взяла с собой огромное количество багажа, явно излишнее даже для нее, но мне настолько не терпелось поскорее получить дом в полное свое распоряжение, что я не задавалась никакими вопросами на сей счет, покуда в пятницу вечером не воротился отец. Я музицировала за роялем в гостиной, когда услышала, как он отчитывает одну из служанок. По своему обычаю, он даже не заглянул ко мне, а направился напрямик в кабинет.

Через минуту я услышала тяжелую быструю поступь в холле и решила, что отец опять уходит из дома. Но он ворвался в комнату, схватил меня за руку, рывком поднял с табурета и, потрясая перед моим носом каким-то письмом, прокричал страшным голосом: «Где твоя сестра?» — «В Брайтоне, у Флетчеров», — только и могла ответить я, чем привела разгневанного родителя в еще сильнейшую ярость. Наконец я уразумела, что письмо это от Клариссы и в нем сообщается, что она сбежала. Отец отослал меня в мою комнату, запретив выходить оттуда до дальнейших его распоряжений. Ко времени, когда Лили принесла мне ужин, новость уже распространилась на половине слуг, но знала девушка не больше, чем я.

Когда отец вызвал меня к себе в кабинет на следующее утро, он был, по обыкновению, холоден и суров. «Никогда впредь никто не произнесет имени твоей сестры в этом доме, — промолвил он. — Отныне мы будем жить так, как если бы ее никогда не существовало на свете. И предупреждаю: второй раз опозорить себя я не позволю». Он сообщил мне, что уволил мисс Вудкрофт — ты ее знаешь? — без рекомендаций. «Больше никаких дуэний на жалованье, — заявил он. — Я написал твоей тетке, она переедет к нам жить и будет надзирать за тобой, покуда я не найду тебе подходящего мужа. Тем временем тебе строго возбраняется выходить из дома. Если узнаю, что ты меня ослушалась, будешь посажена под замок в своей комнате».

Он даже голоса не повысил, но я еще ни разу в жизни не испытывала такого страха. Я всегда думала, вернее, надеялась, что при всей своей наружной холодности отец все-таки хоть немножко да любит меня, но сейчас по его глазам я увидела, что это не так. Для него я просто часть собственности, оборотный инструмент, как он выразился бы, и ничего больше. Должно быть, то же самое понимала моя бедная маменька, поэтому и умерла безвременно. Она оказалась невыгодным вложением, поскольку родила ему дочерей, а он хотел сыновей. А теперь, когда Кларисса сбежала, отец исполнен твердой решимости извлечь прибыль хотя бы из *моего* брака.

Вскороности он отлучился из дома, а я удалилась в гостиную, потрясенная до такой степени, что даже не открыла фортепьяно. Я по-прежнему не знала, куда уехала Кларисса и почему, но немного погодя прозвенел дверной колокольчик, и в комнату ворвалась миссис Харкнесс, за которой с несчастным видом плелась Бетси. Миссис Харкнесс с превеликим удовольствием доложила мне, что Кларисса бежала в Рим с Джорджем Харрингтоном, — «он отъявленный распутник, милочка, не достойный никакого доверия, и подумать только, вы ничего не знали, все лондонское общество взбудоражено...» Наконец, не в силах дольше выносить подобные речи, я самолично проводила незваную гостью к двери. Поднявшись наверх, я обнаружила, что все содержимое Клариссиной комнаты — одежда, предметы декора, постельные принадлежности, портьеры, мебель, даже ковры — свалено в огромную грудку на лестничной площадке и лакеи обдирают со стен обои — «приказ хозяина, мисс» — не иначе потому, что сестра сама их выбирала. Потом все до последней мелочи погрузили на телегу и увезли — чтобы сжечь, вероятно.

Надеюсь, Годфри больше не переутомляется. Я бы с радостью повидалась с тобой, но мне запрещено принимать гостей до приезда тети. Напишу еще при первой же возможности.
С любовью к тебе и милому Годфри,
твоя любящая кузина
Розина

Портленд-плейс

19 августа 1859

Дорогая Эмилия! Все оказалось даже хуже, чем я предполагала: теперь я нахожусь в положении пленницы и не могу принимать гостей или выходить из дома, покуда меня, образно выражаясь, не держит на поводке тетя Генриетта, — о ней я напишу подробно, когда представится случай. Она будет вскрывать все письма, адресованные мне, и читать все мои послания, подлежащие отправке. Для отвода подозрений я стану писать тебе притворные письма — не верь ни единому слову из них, но обстоятельно рассказывай мне обо всех своих новостях.

Сегодня у Лили выходной, и она тайно снесет это мое письмо в почтовую контору. Я напишу тебе об истинном положении дел, когда смогу.

Твоя любящая кузина

Розина

Портленд-плейс

7 октября 1859

Дорогая Эмилия! Я долго не решалась писать откровенно из опасения, что Лили обещут по дороге на почту и тогда мне запретят всякое сообщение с тобой. Но писать тебе под бдительным оком тети Генриетты, порой в буквальном смысле заглядывающей через плечо, стало совсем уже невмоготу.

Любая радость меркнет в ее присутствии, впрочем радости всегда было мало в нашем доме, теперь больше чем когда-либо похожем на мавзолей. По виду и не скажешь, что она родная сестра моего отца, но в части угрюмой суровости нрава сходство между ними разительное. Она худая как щепка, и волосы свои — имеющие цвет и даже *запах* холодной золы — зачесывает назад столь туго, что ее костистое лицо еще сильнее смахивает на череп. Одевается тетя во все черное — самого мрачного, самого тусклого, самого унылого оттенка,

какой только бывает. Всю жизнь она состояла компаньонкой при бабушке Вентворт в Норфолке (каковой участи я бы глубоко посочувствовала, кабы речь шла о любой другой женщине) и неустанно напоминает мне, сколь многим жертвует ее мать, отказавшись от нее в мою пользу.

На первых порах я всячески пыталась умиловить тетю Генриетту, но безуспешно. Постепенно я поняла, что она меня ненавидит просто за мою молодость и способность радоваться жизни, когда ее нет рядом. Боюсь, я тоже потихоньку начинаю ее ненавидеть, но пока в изъяснении своих чувств ограничиваюсь тем, что очень громко играю Бетховена: она страшно не любит шумное музицирование, но ничего не говорит, лишь на мигрень жалуется, а все потому, что не желает меня ни о чем просить, опасаясь, как бы я не обратилась к ней с какой-нибудь ответной просьбой.

Едва ли ты удивишься, узнав, что вот уже несколько недель кряду я не выхожу из дома никуда, кроме как в церковь. По своем прибытии тетя объявила, что будет принимать приглашения от людей, которых считает респектабельными. Но куда бы мы ни пришли, она постоянно торчала подле меня, словно тюремщик. Разумеется, всем хотелось узнать про Клариссу, но, сколь бы деликатно ни затрагивалась эта тема, тетя Генриетта неизменно вперяла в собеседника взор василиска и переводила беседу на другое, обычно на какой-нибудь вопрос религиозного свойства, а потому разговор состоял по большей части из неловких пауз. Все мои друзья меня жалели, а недоброжелатели злорадствовали. В конце концов мне стало легче — коли здесь уместно такое слово — вовсе отказаться выезжать из дома.

Если не считать твоих писем, единственное утешение я нахожу в общении с Лили. Я сразу предположила, что тетя не одобрит наших близких отношений, и потому при ней я всегда обращаюсь с Лили очень строго, а она в свою очередь изображает робкую и запуганную служанку. Раньше я считала мисс Вудкрофт излишне суровой ревнительницей дисциплины, но теперь осознала, как много свободы она нам давала, — свободы, которая и погубила бедную Клариссу. Если бы она наотрез отказалась выходить замуж за мистера Ингрэма, возможно, отец позволил бы ей подождать другого искателя руки. Но сестра согласилась, надеясь обрести независимость в браке (она никогда со мной не откровенничала, но я так думаю). Когда же приблизился день свадьбы, она вдруг поняла, что отчаянно не хочет замуж за противного старика, а тут еще появился Джордж Харрингтон, который хотя бы молод и привлекателен, пускай и распутник.

Я много раз спрашивала себя: сбежала бы сестра или нет, будь мы с ней близки? Кларисса часто обижалась на меня невесть почему, но, если я решалась осведомиться, что такого я сделала, она всегда отвечала «ничего, все в порядке» таким тоном, что становилось ясно: задав вопрос, я нанесла очередную обиду. Однажды ты высказала мнение, что она мне завидует, но я не помню, почему именно ты так посчитала. Кларисса была старше и красивее меня; она всегда была матушкиной любимицей; она неизменно оказывалась в центре внимания, когда у нас собирались гости... но я не должна писать о ней в прошедшем времени. Мне остается лишь молиться, чтобы сестра была здорова и счастлива.

Лили уже ждет, поэтому на сем я заканчиваю. Если бы только ты могла писать мне со всей откровенностью, я бы не чувствовала себя... Ах, какая же я дура! Мне только сейчас пришло в голову, что ты можешь отправлять письма до востребования в почтовую контору на Мортимер-стрит, а Лили будет их забирать, конечно, если ты не против такого обмана. Послания твои я буду хранить как зеницу ока.

Твоя любящая кузина
Розина

Портленд-плейс
3 ноября 1859

Дорогая Эмилия! У меня ужасная новость, как ты наверняка уже знаешь, коли видела сегодняшнюю утреннюю «Таймс»: Кларисса умерла. Несчастье произошло неделю назад, когда они с Джорджем Харрингтоном ехали в коляске по горной дороге в окрестностях Рима. Лошадь понесла, и они сорвались в пропасть и погибли под обломками экипажа. В газетном сообщении — краткой заметке в несколько строк — говорится о мистере и миссис Харрингтон, но сомнений быть не может. После завтрака отец вызвал меня в кабинет и сказал без всяких предисловий: «Твоя сестра умерла, и поделом. Траура не будет, и больше о ней ни слова. Все, ступай к себе». В его холодных глазах ясно читалось: «Попробуй меня послушаться, и с тобой случится то же самое».

Не помню, как я вышла из кабинета и поднялась по лестнице. Следующее, что я помню, — как сижу в своей комнате, охваченная страшным подозрением, что к смерти сестры причастен отец. Только когда Лили принесла мне газету, худшие мои опасения рассеялись. Но мне все равно не дает покоя вопрос, давно ли он знает и не потому ли сообщил мне, что теперь я в любом случае узнала бы о происшедшем.

Бедная Кларисса! У меня даже слез нет. Я не чувствую ничего, кроме черного, удушливого отчаяния.

Напишу еще, когда немного успокоюсь.

Твоя любящая кузина
Розина

Портленд-плейс
Вторник, 17 апреля 1860

Дорогая Эмилия! До чего же я рада получить твое письмо и узнать, что милый Годфри наконец-то идет на поправку. Неттлфорд — прекрасный выбор; уверена, лучшего места вы не нашли бы при всем старании. Я была бы счастлива навестить вас, но отец не отпустит меня без тети Генриетты, а я ни за что не соглашусь навязать вам такую неприятную гостью.

Знаю, я очень мало рассказывала о себе все эти долгие месяцы, но мне не хотелось обременять тебя своими печальями, пока ты в тревоге за здоровье Годфри. Как всегда, главное утешение доставляло мне фортепьяно: я музицирую часами и уже выучила на память почти все свои любимые произведения, так что теперь редко играю с листа. Лили под моим наставничеством делает заметные успехи в чтении, хотя нам приходится скрывать наши уроки и от тети, и от других слуг. Время для меня течет мучительно медленно. Двигаюсь я мало, единственно хожу взад-вперед по комнате, но все равно худею; и я часто ощущаю какой-то нездоровый голод, но в присутствии тети Генриетты всякий аппетит пропадает. Все в доме напоминает о смерти Клариссы, и на душе тем тяжелее, что говорить о ней запрещено. Как часто я сердилась на сестру за беспричинную обидчивость и раздражительность! И как я жалею сейчас, что не была к ней снисходительнее.

Я только сейчас сообразила: ведь она и Джордж Харрингтон действительно могли быть женаты. Тетя постоянно рассуждает о греховности тех, кто сожительствует вне брака, и явно находит удовольствие в мысли, что Кларисса обрекла себя на вечные муки. Она изыскивает

сотни способов намекнуть на это обстоятельство, никогда не называя Клариссу по имени. Но я не желаю верить в бога, которого почитает тетя. Она создала его по своему образу и подобию: жестоким, мелочным, мстительным, которому нравится карать и наказывать. Я по-прежнему молюсь, но у меня нет чувства, что Небеса внемлют моим молитвам. Возможно, и не было никогда.

Признаюсь, порой я завидую Клариссе: лучше уж несколько недель полного счастья (а я надеюсь, она таковое познала) и краткий миг ужаса, нежели долгое томительное прозябание в этой золотой клетке. Мэри Трейл не раз говорила, что страшно завидует *мне*, живущей в таком роскошном доме, но я теперь понимаю, что на самом деле у меня за душой ничего нет. Отец отнимет у меня даже мою одежду, коли пожелает, и запросто выгонит на улицу умирать от голода.

После смерти Клариссы он перестал устраивать приемы; ужинает он чаще не дома, завтракает рано и обычно уходит прежде, чем я спускаюсь из своей комнаты. Он больше не держит экипаж, уволил дворецкого и всех лакеев, кроме двух. Хозяйством теперь управляет Нейлор, новый камердинер, — чрезвычайно неприятный молодой человек с постоянной презрительной усмешкой на губах. Он (Нейлор) костлявый и сутулый, с несоразмерно длинными руками и двигается по-паучьи стремительно. Лили говорит, все служанки его ненавидят, но не смеют этого показывать.

Однако я еще не рассказала, чем заняты все мои мысли в последнее время. Дело в том... даже когда я пишу это, у меня такое ощущение, будто я стою на краю бездонной пропасти... дело в том, что я собираюсь сбежать из дома. Через полгода я достигну совершеннолетия, но тогда, скорее всего, будет уже слишком поздно. Я хорошо представляю, какого жениха выберет для меня отец, и, если я дождусь, когда он решит мою судьбу, а потом откажусь подчиниться, надзор за мной ужесточится. Возможно даже, он станет морить меня голодом, чтобы принудить к послушанию (я читала о таких случаях). Моя единственная надежда на спасение — это найти работу: гувернантки, или учительницы музыки, или... одним словом, любую работу, которая позволит мне добывать средства к существованию. Но как мне сделать это втайне от отца и тети? Если у тебя есть какие-нибудь советы и предложения — буду бесконечно тебе признательна.

На сем я закончу, пока мужество не покинуло меня, и немного погодя Лили снесет письмо в почтовую контору. У нее появился возлюбленный — лакей в доме на Кавендиш-сквер, — и она ухитряется урывками встречаться с ним во время походов на почту.

С любовью к тебе и милому Годфри,
твоя любящая кузина
Розина

Портленд-плейс
25 апреля 1860

Дорогая Эмилия! Я пролила столько слез над твоим письмом, что слова «в Неттлфорде тебя всегда примут как родную» совсем расплылись. Очень великодушно с твоей стороны вызваться приехать в Лондон, чтоб сопровождать меня в путешествии; и есть надежда, что отец согласится отпустить меня без тети Генриетты. Похоже, здоровье бабушки Вентворт пошатнулось, каковое обстоятельство тетя объясняет тем, что ей пришлось пренебречь своим долгом перед матерью, дабы выполнить долг свой передо мной. Главное же дело в том, что бабушка категорически возражает против моего присутствия в своем доме: а ну как

я звякну чашкой, или скрипну половицей, или — еще хуже — подниму голос выше шепота?

Поэтому, если ты твердо решилась, пожалуйста, напиши тете Генриетте. Да, я понимаю, что должна буду вернуться по первому же приказу. Да, я не приняла в соображение, что отец может привезти меня обратно силой. И ты совершенно права, когда напоминаешь мне, что на положении гувернантки или компаньонки я окажусь в полной зависимости от посторонних людей, особенно если они узнают, что отец от меня отрекся. Я обещаю сохранять спокойствие и не делать опрометчивых шагов.

Твоя любящая кузина

Розина

Портленд-плейс

30 апреля 1860

Дорогая Эмилия! Увы, все мои надежды рухнули. Тетя Генриетта заявила, что ни под каким видом не обременит тебя столь большой ответственностью (подразумевая, что не верит в твою готовность держать меня взаперти все время) и что в любом случае мне не пристало гостить у тебя, пока бабушка хворает. Следовательно, мне придется смириться с перспективой провести в заточении еще полгода, каковой срок кажется мне вечностью. Не знаю, как я это вынесу.

По крайней мере, я получу временное облегчение через две недели, когда тетя уедет в Эйлшем. Отец занят каким-то новым предприятием и почти не бывает дома.

Сейчас попробую уснуть с надеждой увидеть во сне тебя, Неттлфорд и свободу.

Твоя любящая кузина

Розина

Портленд-плейс

Понедельник, 7 мая 1860

Дорогая Эмилия! Тетю Генриетту вызвали ухаживать за бабушкой Вентворт, чье состояние значительно ухудшилось. Похоже, она наконец умирает. От души надеюсь, она постарается протянуть возможно дольше, невзирая на все ее заявления, что, мол, желает поскорее встретиться с Создателем. Когда экипаж тронулся с места и покатил прочь, я чуть не пустилась в пляс в холле, но сдержалась.

Разумеется, тетя Генриетта страшно волновалась, кто же будет за мною приглядывать, и намеревалась поговорить с отцом, но, по счастью, когда пришло известие о бабушкиной болезни, он находился в Манчестере и вернулся только после ее отъезда, так что мне пришлось самой сообщить ему о случившемся. Он ни словом не обмолвился насчет дуэний, и, похоже, я буду предоставлена самой себе, пока тетя Генриетта отсутствует. Вероятно, моя покорность и почтительность на протяжении долгих месяцев усыпили бдительность отца: он снова уезжает в Манчестер, до пятницы.

Во всяком случае, я на целых три дня останусь в доме за хозяйку и смогу играть на рояле сколь угодно громко!

Твоя любящая кузина

Розина

Портленд-плейс

Четверг, 10 мая 1860

Дорогая Эмилия! Последние три дня были самыми замечательными в моей жизни. Я познакомилась... впрочем, не стану забегать вперед и расскажу все по порядку.

Моя бурная радость по поводу отъезда тети Генриетты оказалась непродолжительной. На следующий день я проснулась спозаранку и долго стояла в печальной задумчивости у окна, по-прежнему ощущая себя пленницей. Было чудесное весеннее утро, ясное и свежее, и внезапно мне сделалось дурно от мысли, что все лето придется просидеть взаперти.

Потом меня осенило: ведь на самом деле тетя не запретила мне выходить из дома в свое отсутствие. Нейлор в Манчестере с моим отцом; все служанки ненавидят тетю Генриетту и точно меня не выдадут. Лакеям, положим, я не доверяю, но, когда Нейлор не стоит у них над душой, Уильям с Альфредом большую часть времени проводят в кладовой за игрой в карты. И вот я быстро оделась и сошла вниз, намереваясь тихонько выскользнуть из дома за час до завтрака. Лили получила наказ запереть за мной дверь и ждать моего возвращения у окна гостиной. Однако, уже направляясь к двери, я увидела на подносе для корреспонденции несколько пригласительных карточек, не замеченных тетей в спешке, в том числе приглашение от миссис Трейл на чаепитие в саду, устраивавшееся как раз в этот день. На обратной стороне карточки карандашом было написано: «Приходите непременно — очень хочу повидаться с вами — Мэри».

Я не виделась с Мэри Т. со времени тайного побега Клариссы. Близкими подругами мы никогда не были, но сейчас, глядя на эту карточку, я вдруг почувствовала, как вся боль одиночества, накопленная за долгие месяцы, наваливается тяжким грузом и в душе вскипает гнев против тети Генриетты и отца. Почему, спрашивается, я, не сделавшая ничего плохого, должна нести наказание за грехи Клариссы? Как будто ее смерть не достаточное наказание для меня? Разве не чудовищная жестокость со стороны отца — мстить собственной дочери, даже после ее смерти? Почему я должна почитать и уважать такого человека, когда связана с ним лишь узами страха?.. Ну и я положила принять приглашение Мэри. В том маловероятном случае, если тетя узнает, я разыграю невинное удивление: «Но, тетя Генриетта, я подумала, вы оставили пригласительные карточки, чтоб я на них ответила. И я рассудила, что вежливость требует нанести визит миссис Трейл». Кроме того, какое *еще* наказание они могут измыслить для меня?

И вот, отказавшись от первоначального намерения просто прогуляться, я черкнула записку, что с радостью приду, если никто не станет расспрашивать меня про Клариссу, и отправила Лили с ней на Бедфорд-плейс. Уже через пять минут после ее ухода меня начали одолевать тяжелые сомнения. На самом деле они еще много каких наказаний могут придумать. Отец может забрать у меня фортепьяно, которое, как и все остальные вещи, считающиеся «моими», на самом деле принадлежит не мне. Он может держать меня взаперти в комнате до моего совершеннолетия или даже дольше. Может уволить Лили и нанять мне в тюремщицы какую-нибудь грубую, жестокую женщину. Или отправить меня в Эйлшем, в дом бабушки Вентворт, который перейдет к нему по наследству, и заточить *там*.

Я спросила себя, что бы *ты* мне посоветовала, и, словно наяву, услышала твой голос: «Сохраняй терпение, не гневи отца, смирись с еще полугодом заточения; по достижении совершеннолетия приезжай к нам в Неттлфорд и здесь, в спокойствии и безопасности, начинай искать себе место». Я предприняла с полдюжины попыток написать другую записку, где ссылалась на внезапный приступ мигрени и просила Мэри не навещать меня, поскольку мне запрещено принимать гостей, но нарастающее в душе горячее чувство протеста помешало мне отнестись к делу со всем усердием. Грядущие месяцы — и годы —

плена предстали перед моим мысленным взором подобием бескрайней голой пустыни; и как я вообще когда-нибудь наберусь мужества пойти поперек воли отца, если не осмеливаюсь даже ступить за порог в его отсутствие?

Я по-прежнему колебалась, когда подошло время одеваться, а тут передо мной встала еще одна проблема: ожидают ли Трейлы увидеть меня в трауре, который отец запретил мне носить? В конце концов я выбрала платье темно-темно-серого цвета и вышла из дома, терзаемая самыми дурными предчувствиями. Сейчас я не могу не думать, что тогда меня подгонял какой-то добрый ангел или, по крайней мере, какой-то пророческий инстинкт, однако не стану забегать вперед.

От одного того, что я вновь оказалась на свежем воздухе, у меня голова пошла кругом. Тетя всегда нанимала закрытые экипажи, поэтому я, считай, с прошлого лета не была на улице. Гул голосов показался оглушительным, все краски — ослепительно-яркими, а запахи — столь резкими, что в первый миг я испугалась, как бы не лишиться чувств. Я намеревалась прибыть пораньше, чтобы провести немного времени наедине с Мэри, но, когда мы свернули на площадь, куранты пробили уже три. Когда же мы подкатили к дому Трейлов, присутствие духа покинуло меня окончательно. Я велела Лили пойти сказать, что я занемогла, но она и слушать не пожелала. «Вы слишком долго сидели в четырех стенах, мисс, вам следует повидаться с друзьями, покуда есть такая возможность; вы ж сами знаете, это пойдет вам на пользу».

Я ожидала увидеть не больше дюжины гостей, но, когда меня провели на террасу, мне показалось, там собралась половина Лондона: вся лужайка пестрела изысканными платьями и модными шляпками всех цветов, и я не заметила ни одного знакомого лица. Если бы Мэри не подошла ко мне с приветствием, я бы, наверное, обратилась в бегство. Она хотела сразу же представить меня обществу, но я попросила повременить, пока не совладаю с волнением. Я взяла чашку чая и, как только Мэри повернулась ко мне спиной, отошла подальше и укрылась в тени могучего дуба у самой ограды.

Там я стояла минут десять-пятнадцать, потягивая чай и наблюдая за многочисленным собранием гостей, а потом вдруг заметила молодого человека, нерешительно топтавшегося на месте в нескольких шагах от меня. С первого взгляда я приняла его за испанца: у него были густые угольно-черные волосы с блестящим отливом и лицо бледно-оливкового оттенка. Невысокого роста, но прекрасно сложенный, он был в простой темной паре и белой рубашке с широким галстуком; на рукаве у него чернела траурная повязка. Когда наши глаза встретились, молодой человек сердечно улыбнулся и, казалось, хотел заговорить, но в следующий миг на его лице отразилось замешательство, а еще секунду спустя опять появилась улыбка, несколько неуверенная.

— Прошу прощения, я обознался, — промолвил он, приближаясь. — Феликс Мордаунт, к вашим услугам.

Он и в самом деле был необычайно хорош собой, и я тоже невольно улыбнулась, называя свое имя.

— Вижу, вы предпочитаете наблюдать, чем привлекать к себе внимание, мисс Вентворт.

— Пожалуй. Я много месяцев не выходила из дома и не ожидала попасть на такой большой прием. Признаться, я в некоторой растерянности.

— Я тоже, — откликнулся мистер Мордаунт, хотя вид он имел совершенно непринужденный. — Тем более что я никого здесь не знаю.

— Но Трейлов-то знаете?

— Нет. Я только на днях с ними познакомился. Наши семьи состоят в отдаленном родстве через брак, и я решил... вернее, мой брат решил, что мне следует засвидетельствовать им свое почтение, пока я в Лондоне, ну и в результате последовало приглашение.

— Значит, вы живете не в Лондоне?

— Нет, мисс Вентворт, у нас поместье в Корнуолле. Мой отец недавно умер, и я приехал уладить формальности с завещанием.

Бормоча соболезнования, я осознала, что решительно не желаю рассказывать про Клариссу, и тотчас решила, не прибегая к прямой лжи, представить дело так, будто я единственный ребенок в семье и сейчас оправляюсь после продолжительной болезни. Оказалось, мистер Мордаунт недавно взаправду болел (чем именно, он не уточнил) и всю зиму лечился за границей. Я сказала, что играю на фортепьяно, и выяснилось, что он тоже любит музыку и играет на виолончели — превосходно, я уверена, хотя он из скромности утверждает обратное. Когда он говорит, такое впечатление, будто слушаешь песню в великолепном исполнении, звучащую за закрытыми дверями в соседней комнате: слов не разобрать, но красота мелодии и голоса завораживает сильнее любых слов. И я с невольным интересом разглядывала все до мельчайшей черты его наружности, стараясь все же не встречаться с ним глазами очень уж часто.

Скоро — слишком скоро — я увидела Мэри с матерью, идущих к нам по дорожке, и поспешила спросить, долго ли он пробудет в Лондоне.

— По меньшей мере еще неделю. А вы, мисс Вентворт... Вы позволите мне нанести вам визит?

Сердце мое неистово колотилось, и у меня была лишь секунда на раздумье.

— Боюсь, мой отец будет против. Но... если погода не испортится, мы с моей служанкой завтра утром пойдем в Риджентс-парк — прогуляться по ботаническому саду.

Тут подошли Трейлы, и мистер Мордаунт не успел мне ответить.

— Ах, Розина, мы вас обыскались, — с показной игривостью улыбнулась миссис Трейл. — Вижу, вы уже очаровали мистера Мордаунта. Пойдемте же, расскажете мне, как вы поживаете, ведь у вас было такое тяжелое время.

Я успела поймать вопросительный взгляд мистера Мордаунта, прежде чем миссис Т. повлекла меня прочь, сторающую со стыда при мысли о своем непристойном поступке. Я условилась о свидании с молодым человеком всего через несколько минут после знакомства — такое поведение он не мог не счесть развязным, особенно если Мэри рассказывала ему про Клариссу, а она наверняка рассказывала. Мистер Мордаунт наверняка решил, что и я тоже готова сбежать с едва знакомым мужчиной, не задумываясь о последствиях.

— Вы меня извините, — пролепетала я, чувствуя, как пылают щеки. — Но мне что-то нездоровится, лучше я поеду домой.

— Чепуха! Вы просто перевозбудились. Охлаждающий напиток, вот что вам нужно. Скажите-ка мне, как здоровье вашей дорогой тетушки Генриетты?

Миссис Трейл никогда прежде не разговаривала со мной столь неприязненным тоном; и я, сбивчиво отвечая на вопросы, не переставала гадать, уж не видит ли она в мистере Мордаунте возможную партию для своей дочери? Когда же я наконец от нее отделалась, ко мне стали подходить с разговорами одна знакомая за другой, и все они подчеркнуто избегали упоминаний о Клариссе. Лицо мое по-прежнему горело, по лбу стекали капельки

пота, и я нисколько не сомневалась, что все присутствующие обсуждают меня за моей спиной. И все же я задержалась там надолго — признаться, в тщетной надежде, что мистер Мордаунт снова подойдет ко мне и я как-нибудь — но как? — исправлю свою ошибку.

Наконец я поняла, что не в силах долее здесь оставаться, разыскала Лили, помогавшую разносить закуски, и покинула дом Трейлов, даже не попытавшись поблагодарить хозяйку. Мы отошли уже довольно далеко, и я заверяла встревоженную Лили, что со мной все в полном порядке, когда вдруг позади послышались быстрые шаги. К моему великому изумлению, нас нагнал мистер Мордаунт, слегка запыхавшийся и имевший вид несколько встревоженный:

— Мисс Вентворт, простите ради бога, но я не хотел упустить возможность еще немного поговорить с вами...

Непроизнесенные слова повисли в воздухе между нами. Я задалась вопросом: сколько же человек видели, как он побежал за мной?

— Я выскользнул на улицу под предлогом, что хочу выкурить сигару, — добавил молодой человек, словно прочитав мои мысли.

— Если вы действительно хотите покурить, мистер Мордаунт, я не возражаю. Это моя служанка Лили.

— Рад с вами познакомиться, мисс Лили. — Он поклонился, а она сделала реверанс, приняв самый скромный вид, но явно улыбаясь про себя. — На самом деле я не курю, просто посчитал нужным... вы позволите немного пройтись с вами?

Я беспокойно осмотрелась по сторонам, но не увидела поблизости никого знакомого.

— Да, сэр, но при одном условии: если я попрошу вас оставить нас, вы сделаете это незамедлительно.

— Прекрасно вас понимаю.

Он собрался было предложить мне согнутую в локте руку, но вовремя сдержался, и мы двинулись к Тотнем-Корт-роуд; Лили тактично отстала от нас на пару шагов.

— Видите ли, мисс Вентворт, я очень огорчился, что наш с вами разговор прервали таким вот образом. Всякий раз, когда я находил взглядом вас среди гостей, мне казалось, что вы получаете от приема не больше удовольствия, чем я, но мне все не представлялось случая снова подойти к вам. Позвольте спросить, мисс Трейл — ваша близкая подруга?

— О нет, не близкая. Раньше я считала ее подругой, но теперь... Она, случайно, не рассказывала вам про мою сестру?

— Боюсь, рассказывала, причем не в самых лестных выражениях. Могу сказать лишь одно, мисс Вентворт: я глубоко сожалею о смерти вашей сестры.

— Надеюсь, вы понимаете, почему мне тяжело говорить о Клариссе. Мой отец запрещает даже произносить ее имя.

— Искренне вам сочувствую. По странному стечению обстоятельств минувшей зимой я находился в Риме и слышал там разговоры про молодую английскую чету, трагически погибшую в горах... прошу прощения, мисс Вентворт, мне не следовало упоминать об этом.

— Вам нет нужды извиняться. Просто... мне запретили даже плакать о ней.

Внезапно слезы ручьями хлынули из моих глаз, и мистер Мордаунт неловко стоял в стороне, пока Лили обнимала и утешала меня. Похоже, моя милая служанка хорошо понимала, что никакой его вины здесь нет. Когда я наконец совладала с собой, он снова предложил мне руку, и на сей раз я оперлась на нее.

— Из-за этого... из-за Клариссиного позора... я и не выходила из дома так долго.

— Я бы не назвал это позором. Даже не представляю, что значит для жизнерадостной молодой женщины находиться под столь строгим присмотром. На месте вашей сестры я бы точно сбежал.

Я взглянула на него с удивлением и благодарностью. Я никогда прежде не слышала подобного мнения из уст мужчины, и участливые слова мистера Мордаунта побудили меня откровенно поведать о долгих месяцах заточения, о своем страстном желании сбежать в Неттлфорд, найти себе место и навсегда освободиться от тирании отца. Он слушал очень внимательно, не пытаясь перевести разговор на себя; и я все время ощущала, даже сквозь перчатку и несколько слоев ткани, его руку под своей ладонью. Скоро — опять слишком скоро — мы свернули на Лэнгэм-стрит.

— Здесь вы должны оставить нас, — сказала я, — и вернуться, чтоб попрощаться с хозяевами дома, хотя бы ради меня. Они, наверное, думают, что вы уже выкурили целую коробку сигар.

— Да, конечно. Но вы придете завтра утром в Риджентс-парк?

— Не могу обещать. Но если сумею, приду непременно, только не знаю, когда именно.

— Тогда я с удовольствием прожду в парке весь завтрашний день, а при необходимости и послезавтрашний в надежде вновь увидеться с вами.

С обворожительной улыбкой он поклонился нам обеим, повернулся и зашагал обратно к дому Трейлов.

— Мистер Мордаунт — очаровательный джентльмен, правда, Лили? — сказала я, когда мы шли по Портленд-стрит.

— О да, мисс, весьма очаровательный. Но вам нужно держать ухо востро, мисс. Все мужчины, даже джентльмены, начинают вольничать, когда... ну, встречаются поощрение.

Я не могла отрицать, что поощряю мистера Мордаунта:

— Знаю-знаю. Обещаю соблюдать осмотрительность. Но я должна увидеться с ним снова.

Лили испуганно взглянула на меня:

— Но тогда вам захочется увидеться с ним еще раз и еще. А вдруг ваш отец воротится раньше, чем обещался? Да и Нейлор всегда начеку. Вас непременно поймают.

— Я всего лишь хочу час-другой спокойно побеседовать с мистером Мордаунтом завтра. Если он пожелает продолжить общение, мы станем переписываться, так же как я переписываюсь с кузиной. Но ты права: лучше не попадаться никому на глаза. А есть ли способ покинуть дом и вернуться обратно так, чтобы никто не видел?

— Для вас — нет, мисс.

— А для тебя, Лили? Клянусь, я никому не скажу.

— Ну... я дружу с одной служанкой в соседнем доме, мисс. У нее мансардная комната рукой подать от моей, и иногда мы открываем окна и болтаем о разной всячине. Крыша не особо крутая, и там на стене выступ, по которому я могла бы добраться до ее окна, правда я ни разу так не делала, учтите...

— Но тогда тебе пришлось бы пройти через весь дом вниз.

— Да, мисс, но хозяева сейчас в отъезде, в доме только экономка да служанки, которые с проживанием. Однако вам никак нельзя вылезать туда, мисс. Вы все платье замараете, и они обязательно разболтают... и вообще, как вы обратно попадете?

— Да, понимаю. А что, если ты завтра утром незаметно выпустишь меня, а потом скажешь всем, что я лежу в постели с мигренью? А я по возвращении скажу, что

почувствовала себя лучше и вышла немного прогуляться, никого не предупредив... ну или ты посторожишь у окна в моей комнате и, когда завидишь меня на улице, сбежишь вниз и отопрешь мне дверь. Я в долгу не останусь, обещаю.

— А ну как вы не вернетесь, мисс? Что я тогда буду делать?

— Лили, я не собираюсь бежать с мистером Мордаунтом через два дня знакомства.

Но еще не договорив последнего слова, я живо вспомнила тепло его руки под моей обтянутой перчаткой ладонью и вообразила, как смотрю в эти рыжегато-карие глаза, глубокие и сияющие, — смотрю долго-долго, и мне нет необходимости отводить взгляд в сторону. Не такие ли чувства испытывала Кларисса?

— Я вот о чем, мисс: если вы не вернетесь, я же не буду знать, что с вами стряслось, и тогда мне придется рассказать кому-нибудь.

— Лили, ты ведь не думаешь, что мистер Мордаунт похитит меня? Среди бела дня в Риджентс-парке?

— Не думаю, мисс. Но он может уговорить вас пойти в какое-нибудь укромное местечко. Никогда не знаешь, на что способен мужчина, покуда не останешься с ним наедине. Я не про своего Артура говорю, он-то себе лишнего со мной не позволяет, но вот...

Я вопросительно приподняла брови, но Лили так и не закончила фразы.

Душевный подъем, вызванный встречей с Феликсом Мордаунтом, сменился нервическим беспокойством, какого я никогда прежде не испытывала. Я ни за что не могла взяться, даже музицировать не могла и раз десять, наверное, спустилась и поднялась по лестнице, ясно чувствуя, что не выдержу больше ни дня заточения, не говоря уже о шести месяцах. Я легла рано, надеясь проспять до самого утра, но уже через несколько минут опять мерила шагами комнату, обуреваемая противоречивыми мыслями. А вдруг он искушенный соблазнитель, находящий развлечение в охоте на молодых глупых женщин вроде меня? Я представляла, как он похвастается своей последней победой или даже насмехается надо мной, возвратившись на прием к миссис Трейл; я рисовала в воображении все подробности своего унижения, и жаркая краска стыда заливала лицо. Отец непременно все узнает, и меня посадят под замок навсегда, как я и заслуживаю.

Но потом передо мной, раздавленной унижением, вновь возникал образ Феликса (не сочти за развязную фамильярность, скоро ты поймешь, почему я называю его просто по имени) — образ Феликса во всей красоте и жизнерадостной искренности, и тогда сомнения мои уносились прочь, словно подхваченные ветром клочки бумаги, и я могла думать лишь о том, что непременно должна снова увидеться с ним, чего бы мне это ни стоило.

Так я провела одну из самых длинных ночей в моей жизни, одолеваемая то ужасом, то страстным желанием. Мой матрас, казалось, состоял из сплошных бугров; меня бросало в жар, и я скидывала с себя все покрывала, а потом вдруг начинало трясти от холода. Несколько раз я вставала и подходила к окну, чтобы проверить, не стоит ли под домом Феликс, — я сознавала всю дикость такого предположения, но ничего не могла с собой поделат. Наконец я забылась беспокойным сном, а когда проснулась от стука Лили в дверь и увидела солнечные лучи, свободно льющиеся в комнату, я в слепой панике выскочила из постели, решив в первый момент, что проспала все утро.

Потом, разумеется, я долго не могла выбрать, какое платье надеть... но не стану подробно описывать муки нерешительности, которые я не только претерпела сама, но и заставила претерпеть бедную Лили. Достаточно сказать, что я сумела незаметно выскользнуть из дома и, слегка запыхавшаяся, с опозданием добралась до ботанического

сада, где меня ждал Феликс, и что при одном взгляде на него все мои страхи рассеялись.

Весь вчерашний день и большую часть сегодняшнего мы провели в парке за бесконечными разговорами. Мы нашли скамью в уединенном уголке, поодаль от людных аллей, и подкреплялись чаем и жареными каштанами из кофейной палатки; погода стояла солнечная и теплая, и за все время я не увидела никого знакомого. В глубине души я понимала, что мне следует бояться — смертельно бояться — разоблачения, но в обществе Феликса я становлюсь поистине бесстрашной. Рядом с ним я чувствую себя как после первого бокала шампанского, когда шипучие пузырьки играют в крови, но голова остается совершенно ясной.

Ты наверняка уже догадываешься (только не пугайся, умоляю), что он сделал мне предложение и я дала согласие. Ну вот я сказала это! Ты встревожишься за меня, разумеется, но подумай сама: мы с ним провели наедине двенадцать часов подряд, а многим ли парам до помолвки представляется такая возможность? Ты скажешь, что не уверена в моем избраннике, а я отвечу одно: ты сразу все поймешь, когда увидишь нас вместе. В первый же момент знакомства — и Феликс тоже это почувствовал — между нами возникла такая духовная близость, как будто мы всю жизнь знали друг друга. Я еще никогда прежде не встречала мужчины с таким живым и открытым лицом — на нем явственно отражается вся игра летучих эмоций; и я полностью уверена, что мой Феликс не способен на обман или притворство. Ко всему прочему он умеет *слушать*, тогда как большинство мужчин не в состоянии внимательно выслушать более одной фразы из уст женщины... но я опять теряю власть над своим пером.

Главное и единственное препятствие, конечно же, мой отец. У Феликса будет около шестисот фунтов дохода в год после продажи поместья и раздела вырученных денег между всеми тремя братьями. Он происходит из древнего корнуоллского рода, его семья владела поместьем на протяжении многих поколений, но там есть сложность, о которой я поведаю ниже. А ты прекрасно знаешь, сколь глубоко мой отец презирает мелкое дворянство, особенно тех его представителей, которые, как Феликс, не имеют постоянного занятия: он хочет выдать меня замуж за какого-нибудь алчного дельца вроде отвратительного мистера Ингрэма. Феликс утверждает, что денег у него достаточно и вопрос приданого его нимало не волнует, но он беспокоится, как бы меня не лишили наследства. Он исполнен решимости поступить честно и нанести визит моему отцу, но я его убедила (во всяком случае, постаралась убедить), что от этого станет только хуже. Одного моего признания, что я явилась на прием к миссис Трейл без должного сопровождения и познакомилась там с молодым джентльменом, будет достаточно, чтобы меня посадили под замок.

Следует заметить, отсутствие у Феликса постоянного занятия объясняется отнюдь не ленью: просто он убежден, что его призвание лежит вне любой сферы профессиональной деятельности. При встрече с ним ты сама увидишь, что он совершенно не годится ни в военные, ни в юристы, и, хотя я уверена, что из него вышел бы очень красноречивый проповедник, он говорит, что по совести не может принять духовный сан, поскольку многое в христианском учении вызывает у него сомнения и даже отвращение. Феликс, как я уже упоминала, любит музыку — какое будет счастье играть с ним дуэтом! — и он написал великое множество стихов. Впервые познакомившись с поэзией Байрона, он остался под сильнейшим впечатлением от нее и одно время даже считал, что «Чайльд Гарольд» сочинен нарочно для него (хотя сейчас он больше любит «Дон Жуана», которого мне всегда запрещали брать в руки, а мы с ним собираемся читать вместе). В последующие годы Феликс

стремился во всем походить на лорда Байрона: купил черный плащ и бродил по болотам, стараясь выглядеть трагическим героем с печатью скорби на челе.

Хотя нрав он имеет от природы веселый, в жизни у него немало причин для печали. В роду Мордаунтов... опять прошу, только не пугайся: все твои опасения рассеются через пять минут общения с Феликсом... так вот, в роду Мордаунтов есть наследственное предрасположение к меланхолии и даже безумию, особенно по мужской линии. Мать Феликса умерла, когда ему было десять, — по всему вероятно, она не выдержала тягот жизни с его отцом, не терпевшим ни малейшего противоречия своей воле. В лучшие дни отец страдал резкими перепадами настроения, а во время приступов становился натуральным зверем. Своего старшего сына Эдмунда он лишил наследства за попытку признать его душевнобольным, а среднего, Хораса, за женитьбу без его согласия — вот почему Феликс твердо намерен поделиться с братьями. Он говорит, что отец лишил бы наследства и его тоже, если бы не скончался от приступа, и тогда все поместье перешло бы к какому-то дальнему родственнику, проживающему в Шотландии. Бедный Хорас в настоящее время помещен в психиатрическую лечебницу в связи с нервным расстройством — это тем более огорчительно, что у него есть маленький сын.

Даже Феликс, добрейший и мягчайший человек, подвержен жестоким приступам меланхолии. Началась болезнь совершенно неожиданно, осенью на второй год учебы в Оксфордском университете. Однажды вечером он лег спать в полном здравии, а наутро проснулся охваченный диким ужасом; по словам Феликса, он чувствовал себя так, словно совершил преступление, караемое смертной казнью. Временами его мысли лихорадочно метались, рисуя картины одна другой страшнее, внушающие мучительную тревогу, а потом вдруг замедлялись, густели, застывали — тогда думать становилось тяжело, все равно как брести, увязая в зыбучем песке, и он погружался в апатию столь глубокую, что не находил сил даже подняться с постели. Весь мир виделся ему в мрачном черном цвете, и беспросветное это уныние было хуже любой боли, поскольку безраздельно владело душой, убивая в ней всякую радость и надежду.

Через месяц, проведенный в таком ужасном состоянии, он оставил учебу и вернулся домой. По его словам, это было худшее решение из всех мыслимых. Треганнон-хаус даже летом производит тягостное впечатление — темный сырой дом с толстенными стенами и узкими окнами, похожими на бойницы. Оказавшись в столь гнетущей обстановке, Феликс еще глубже погрузился в пучину отчаяния и постоянно думал о самоубийстве, пока инстинкт самосохранения не побудил его покинуть Треганнон-хаус и отправиться в Неаполь, где уже через несколько недель он снова стал прежним жизнерадостным юношей. Полагая себя исцеленным, весной он вернулся в университет, но осенью почувствовал приближение очередного приступа.

На сей раз Феликс не стал дожидаться, когда тьма полностью поглотит его, а тотчас же отплыл в Италию, где опять скоро воспрянул духом. С тех пор он стал каждую зиму проводить за границей. Английский климат, говорит он, способствует проявлению дурной наследственности Мордаунтов, вот почему он решил продать поместье. К сожалению, Эдмунд против: он одержим нелепой идеей превратить Треганнон-хаус в частную психиатрическую лечебницу. Но Феликс надеется, что размолвка благополучно уладится, когда Эдмунд положит в карман свою долю денег. И он уверен, что никогда больше не впадет в меланхолию, если я буду с ним рядом.

Как видишь, Феликс был со мной совершенно откровенен; он хотел, чтобы худшее о его

семье я узнала от него самого, а не от какого-нибудь злонамеренного разносчика сплетен, и попросил меня рассказать все моей любимейшей подруге, то есть тебе. Он очень желал бы по своем возвращении из Лондона нанести вам визит в Неттлфорде, тем более что вы с Годфри будете единственными хранителями нашей тайны. Феликс решил ничего не говорить брату, пока не продаст поместье.

Мы положили сочетаться браком, как только я достигну совершеннолетия, а поскольку на благословение моего отца рассчитывать не приходится, мы с Феликсом были бы рады получить оное от тебя. Больше всего на свете мне хотелось бы отпраздновать свадьбу в твоём доме и чтобы вы с Годфри были нашими свидетелями.

Теперь полгода кажутся мне не таким уж и большим сроком. Я буду ждать писем от Феликса, и он намерен приезжать в Лондон так часто, как позволят обстоятельства. Я уверена, что сумею изредка ускользать из дома, чтобы увидеться с ним. Я даже постараюсь добрее относиться к тете Генриетте!

На сем заканчиваю это длинное письмо. Мы собираемся жить за границей, в каком-нибудь солнечном теплом крае, где ты, надеюсь, будешь навещать нас. Печально сознавать, что единственные во всей Англии люди, по которым я буду отчаянно скучать, — это вы с Годфри, ну и Лили, конечно же. Я бы с радостью взяла милую служанку с собой, но она станет тосковать по своему Артуру и по родному городу — Лили жить не может без Лондона, а мне не терпится поскорее отсюда уехать.

Твоя любящая кузина

Розина

Портленд-плейс

Суббота, 12 мая 1860

Дорогая Эмилия! Случилось ужасное. Весь вчерашний день я прождала возвращения отца; никто не знал, когда именно он приедет, и я не посмела выйти из дома. Я думала, двух полных дней с Феликсом мне окажется достаточно, чтобы набраться сил жить дальше, но с момента моего пробуждения сегодня утром меня начали глотать сомнения, становившиеся все тяжелее по мере того, как текли долгие часы, которые я могла бы провести с ним. А вдруг Феликс передумал? А вдруг в Лондоне он просто развлекается тем, что склоняет глупых девушек к согласию на брак? Мне казалось, я навсегда выкинула из головы подобные опасения, но теперь они все разом вернулись мучить меня. Пять минут с возлюбленным, даже одна-единственная минута, ну или хотя бы пара строк, написанных его рукой, успокоили бы меня. Я целую вечность простояла у окна, молясь, чтобы Феликс показался на улице внизу, хотя прекрасно знала, что нынче он весь день занят делами.

Отец вернулся только вечером. Я сидела в гостиной, и при первом взгляде на него сердце мое словно налилось свинцом.

— Мистер Брэдстоун — я тебе о нем говорил — сегодня ужинает с нами. Присоединишься к нам в семь, и постарайся понравиться нашему гостю.

Я совсем забыла про мистера Брэдстоуна. Видимо, на моем лице отразился ужас, ибо отец нахмурился и сурово осведомился, все ли мне понятно.

— Прошу прощения, сэр, — пролепетала я, — но у меня опять голова разболелась... — Уверена, я столь сильно побледнела, что мои слова прозвучали вполне правдоподобно. — Надеюсь, вы не станете настаивать на моем присутствии.

— Независимо от самочувствия ты будешь ужинать с нами, коли заботишься о

собственном благе, — отрезал он и удалился прочь, ничего больше не сказав.

Чувствуя себя как в кошмарном сне, я на ватных ногах поднялась в свою комнату и выбрала самое неказистое платье. Никаких украшений, кроме маленького серебряного крестика, я не надела, и Лили по моему указанию до боли туго зачесала мне волосы назад. Но ничто не могло подготовить меня к встрече с человеком, выбранным для меня отцом.

Мистер Джайлз Брэдстоун — высокий, крепкого сложения мужчина лет сорока. У него длинное костлявое лицо с мучнистой шелушащейся кожей, крупный нос с подрагивающими при каждом вздохе ноздрями и очень приметные глаза: самого холодного, самого бледного оттенка голубого цвета, какой я когда-либо видела, — с пристальным, неподвижным взглядом, исполненным насмешливого презрения. Мистер Брэдстоун — вдовец, и, чтобы дать тебе наилучшее представление о нем, скажу лишь одно: когда он сообщил мне, причем с едва заметной улыбкой, что его первая жена (он так и сказал: «моя первая жена») погибла вследствие несчастного случая, я ни на секунду не усомнилась, что он ее убил. Голос у него холодный и презрительный, под стать немигающему взору. Ну и разумеется, мистер Брэдстоун — коммерсант; он занимается недвижимостью, как мой отец, и держится одних с ним убеждений. Я старалась не поднимать глаз, но он часто обращался непосредственно ко мне — наверняка для того лишь, чтобы вынудить меня посмотреть на него. Мой отец пустился в свои обычные рассуждения о лености бедняков, которые могли бы трудиться гораздо производительнее, если бы не чрезвычайная мягкость законов; и едва он умолк, как мистер Брэдстоун сказал:

— Боюсь, мисс Вентворт не согласна со своим отцом.

— У меня нет иного мнения, сэръ, — ответила я, — помимо изреченного в Священном Писании: наш долг помогать всем, кому в жизни повезло меньше, чем нам.

Отец метнул на меня сердитый взгляд, а мистер Брэдстоун усмехнулся и вскинул бровь, словно желая сказать: «Я знаю, что не нравлюсь тебе, но даже не надейся от меня отделаться». Позже он заметил, говоря о каком-то своем деловом предприятии, но в упор глядя на меня: «Я не привык проигрывать. Ни в чем».

После ужина отец велел мне сыграть для них на рояле, чего в обычных обстоятельствах никогда не делает, ибо на дух не переносит музыку. Я выбрала самую печальную и заунывную пьесу, какая только пришла на ум, но все равно каждую секунду чувствовала на себе пристальный взгляд мистера Брэдстоуна. Когда же я наконец решилась с извинениями удалиться, наш гость промолвил: «Рад был с вами познакомиться, мисс Вентворт, и очень надеюсь продолжить наше знакомство». Тон его оставался в пределах учтивости, но глаза смотрели с наглым вызовом, и я вышла из гостиной, охваченная ужасным подозрением, что мое отвращение возбудило в нем интерес.

Как ты догадываешься, ночью я почти не спала. Я страшно боялась, что мистер Брэдстоун останется погостить у нас, и стояла у окна, покуда не увидела, как он уезжает в кебе. А потом я долго надеялась, что вдруг Феликс, тоже томимый бессонницей, возьмет да пройдет мимо нашего дома (он снимает комнату на Сэквилл-стрит, неподалеку от Пикадилли). Но улица все оставалась пустынной, и фонари все горели неровным призрачным светом, и каждый час раздавалась тяжелая поступь констебля... наконец я забылась кошмарным сном, в котором передо мной из темноты снова и снова выплывало лицо мистера Брэдстоуна, и проснулась на рассвете с сознанием, что кошмар продолжается наяву.

После завтрака отец вызвал меня для разговора, которого я ждала с ужасом. Когда я

вошла в кабинет, он сидел за письменным столом и знаком велел мне подойти. Я приблизилась и встала перед ним, точно провинившийся ребенок в ожидании наказания.

— Невзирая на свою угрюмость, ты произвела на мистера Брэдстоуна хорошее впечатление. Он желает увидиться с тобой снова, и, когда ваша встреча состоится, изволь держаться с ним любезно.

Я вовремя сообразила, что сбежать мне удастся только в том случае, если сейчас я проявлю покорность.

— Я постараюсь, сэр, если такова ваша воля.

Отец посмотрел на меня долгим недоверчивым взглядом.

— Ты и вчера знала мою волю, — наконец произнес он. — Почему же не повиновалась?

— Мистер Брэдстоун не понравился мне, сэр. Сожалею, если разочаровала вас.

— Очень разочаровала, но больше не разочаруешь. Мы с мистером Брэдстоуном обсуждаем условия взаимовыгодного сотрудничества. Ему нужна жена, и брак между нашими семьями укрепит наши деловые отношения. Если он сделает тебе предложение, ты ответишь согласием. Твой долг — во всем меня слушаться, и тебе придется полюбить мистера Брэдстоуна, потому что я так желаю.

— А когда мистер Брэдстоун вернется? — спросила я.

— В среду. Он будет гостить у нас две недели. Тебе же тем временем запрещается выходить из дома — как ты, говорят, делала в мое отсутствие.

— Я просто погулять выходила, сэр, — солгала я, молясь, чтобы меня не выдало выражение лица, и задаваясь вопросом, кто же все-таки меня выдал.

— Несомненно, мистер Брэдстоун будет счастлив сопровождать тебя во время прогулок. А пока из дома ни ногой. Я отдал слугам соответствующие приказы. Ослушаешься меня — и будешь посажена под замок в своей комнате. Все, ступай.

Выйдя в холл, я увидела Альфреда, который стоял у двери, как часовой, и старательно избегал моего взгляда.

Не знаю, как мне удалось сохранять самообладание в присутствии отца; ко времени, когда я достигла своей комнаты, меня всю трясло. Первым моим побуждением было сбежать тотчас же через окно Лили. Но если Феликса не окажется в съемной комнате или, что еще хуже, если меня застигнут при попытке побега, пока отец дома... в общем, я решила сперва написать Феликсу и послать Лили, чтоб разыскала его и принесла мне ответ. Мы с ним обсуждали наши возможные действия при таком повороте событий, и он сказал, что по шотландскому закону мы с ним сможем сочетаться браком после трех недель проживания в Шотландии. Признаюсь, на необходимости дожидаться моего совершеннолетия настаивал больше он, нежели я. «Как только вы окажетесь в безопасности под крышей вашей кухни, — сказал Феликс, — я смогу поступить по чести и попросить у вашего отца благословения. В худшем случае он вышвырнет меня за порог, но, по крайней мере, есть надежда, что мое появление поостудит его гнев. Однако, если ваша жизнь дома станет совсем невыносимой, мы сбежим незамедлительно».

Потом я стала раздумывать, что бы мне взять с собой из дома. Я вспомнила опустошенную комнату Клариссы, груды ее вещей на грязной телеге, суровые слова отца: «Предупреждаю, второй раз опозорить себя я не позволю». Я вообразила, как он рубит топором мое любимое фортепьяно и бросает в камин нотные тетради, и решимость моя поколебалась. Но если я останусь и откажу мистеру Брэдстоуну, отец все равно может сделать то же самое, и не только это; а если меня запрут в моей комнате — как я сбегу,

спрашивается? К моменту побега Кларисса была уже совершеннолетней — до меня только сейчас дошло, что ведь закон-то был на ее стороне, а не на стороне отца, — но данное обстоятельство несколько не уменьшило его ярости. А вдруг меня кто-нибудь видел с Феликсом? Не исключено, что мне придется бежать без малейшего отлагательства.

Охваченная тошнотворным страхом от осознания чудовищности происходящего, я выбрала маленький чемодан и принялась укладывать в него вещи: матушкины ожерелье и брошь; кольцо, подаренное мне Клариссой в приступе щедрости; несколько миниатюр, дорожный несессер, ночную сорочку, шаль... в чемодане уже почти не оставалось места. Мне придется путешествовать в одежде, имеющейся в моем распоряжении. Не в утреннем платье, сейчас надетом на мне, а в таком, в котором при необходимости можно бежать бегом, не путаясь в нижних юбках. Я нашла лишь простое белое платье, что носила в шестнадцатилетнем возрасте: самый неподходящий цвет для лазанья по крышам, но тут уж ничего не попишешь. Пока я собирала вещи, владевший мной ужас лишь усилился; когда Лили постучала в дверь, я так и подскочила от испуга.

При виде чемодана милая девушка смертельно побледнела, а когда я сообщила о своем намерении — разразилась слезами.

— Он поймает вас, мисс, вы же сами знаете.

— Нам нужно будет скрываться всего три недели. Когда мы поженимся, отец не сможет нас тронуть.

— Но что, если мистер Мордаунт не женится на вас, мисс? Вдруг он обесчестит и бросит вас? Что тогда будет — даже подумать страшно!

— Сердце подсказывает мне верить мистеру Мордаунту, Лили. Мужчины благороднее и добрее я в жизни не встречала, и мне никак нельзя здесь оставаться. Я скорее выброшусь из окна, чем позволю мистеру Брэдстоуну хотя бы прикоснуться ко мне.

— Так вы просто откажите ему, мисс. Пусть даже отец посадит вас на хлеб и воду — это все лучше, чем претерпеть бесчестье. А если мистер Мордаунт и вправду вас любит, он подождет до вашего совершеннолетия.

— Он уже обещал ждать, Лили. Но я боюсь оставаться здесь, и я никогда не буду уверена в Феликсе больше, чем сейчас.

— В таком разе езжайте к вашей кухне, мисс. Это далеко от Лондона, и там вы будете в безопасности.

Признаюсь, я испытывала сильнейшее искушение, причем не впервые. Неттлфорд представляется мне подобием земного рая, но — увы! — я не могу к тебе приехать. Отцовский гнев на Клариссу покажется пустяком по сравнению с яростью, которую вызовет мой побег, а я решительно не хочу навлекать неприятности на вас с Годфри. Неттлфорд — одно из первых мест, где он станет меня искать; у нас сердце будет обрываться при каждом стуке в дверь. В Шотландии же нам с Феликсом придется скрываться от преследования всего лишь три недели, а когда опасность минует, мы непременно приедем к вам, и все твои страхи за меня бесследно рассеются.

Продолжаю спустя время. Я получила записку от Феликса, и мы составили план действий. Я незаметно выскользну из дома чуть свет в понедельник, при необходимости — через окно Лили; к тому времени я буду знать, охраняется ли дверь и ночью тоже. Феликс будет ждать меня в кебе; мы поедем напрямиком на Кингз-Кросс и сядем на первый же поезд северного направления. Мы с Лили пролили море слез друг о друге, но я не стану разлучать

ее с любимым. Мы с ней просмотрели множество объявлений о найме прислуги и нашли для нее место на Тэвисток-сквер; я написала ей превосходную рекомендацию, и она зайдет по адресу, когда понесет это мое письмо в почтовую контору. Если Лили что-нибудь от меня понадобится, она напишет мне в Неттлфорд, — надеюсь, ты не против.

Мне хотелось бы вырваться отсюда поскорее, но завтра отец весь день будет дома; по понедельникам он обычно уходит в девять, а потому не ожидает увидеть меня за завтраком. Дверь своей комнаты я за собой запру и оставлю на ней записку, чтобы меня не беспокоили, поскольку я приняла хлорал после бессонной ночи. Лили подождет до раннего вечера, а потом скажет домоправительнице, что беспокоится за меня. При благоприятном развитии событий мы с Феликсом получим преимущество в полдня: вряд ли слуги станут взламывать дверь до возвращения отца, а когда наконец взломают, он найдет на моем бюро письмо с сообщением, что я сбежала в Париж.

Мне безумно жаль оставлять тебя в такой тревоге, но, если меня поймают (а я стараюсь даже не думать об этом), у меня уже не будет никакой возможности сообщаться с тобой. Феликс клянется, что, если меня все-таки схватят и заточат, он не успокоится, пока не изыщет способа выволить меня из плена.

Молись за меня. Напишу сразу, как только окажусь в безопасности.

Твоя любящая кузина

Розина

Дневник Джорджины Феррарс

Гришем-Ярд

27 сентября 1882

Последние недели я пребывала в столь подавленном состоянии духа, что никак не могла начать новый дневник. Записывать мне решительно нечего, но попытаться все же надо, пока воля не покинула меня окончательно. Все утро я, по обыкновению, укладывала посылки для дяди, а во второй половине дня, пока он ходил на распродажу, присматривала за лавкой, где так и не появился ни один посетитель. Как медленно тянутся часы! Дни стремительно укорачиваются, и лавка кажется еще более мрачной и унылой, чем всегда.

В жизни не представляла, что книги могут производить столь тягостное впечатление. Я любила нашу маленькую библиотеку в Нитоне, умиротворяющий запах переплетных крышек и теплые цвета корешков с тускло-золотым тиснением, но здесь книги заражают все вокруг сыростью и плесенью. Невзирая на дядины старания проветривать помещения, страницы томов испещрены серовато-синими пятнами, похожими на шляпки поганок; споры плесени летают в воздухе и забивают дыхательные пути. И за все это время я не нашла здесь ни единой книги, которую мне хотелось бы прочитать.

Я пыталась смириться со своей участью, и я понимаю, что должна быть благодарна дяде, приютившему меня, но для него я всего лишь полезный работник, более дешевый и добросовестный, чем мальчишка, который раньше занимался посылками. Если бы я сказала: «Дядя, я умираю от тоски и одиночества», он не нашелся бы что ответить, а скорее всего, даже и не понял бы, о чем я.

Нет, еще одну зиму сидения в лавке за упаковкой книг для неизвестных мне пожилых священников я просто не вынесу. Но какой у меня выбор? Я не могу жить самостоятельно, пока не найду какое-нибудь постоянное занятие. Я продолжаю повторять себе, что надо бы обучиться машинописи; лучше уж целыми днями перепечатывать слова других людей, чем томиться здесь. Однако я ничего для этого не делаю — и все не соберусь написать мистеру Везереллу, чтобы спросить насчет завещания тети Вайды, которое наверняка уже утверждено, ведь скоро год, как она умерла.

Продолжаю спустя несколько времени. Я только сейчас очнулась от транса, в котором пристально смотрела на свое отражение в оконном стекле, пытаюсь заставить его пошевелиться и заговорить со мной, как я часто делала в Нитоне, стоя перед зеркалом. Ах, если бы у меня была сестра! Сумей я вызвать Розину сейчас — что бы она сказала мне? Презрительно высмеяла бы за хандру и велела бы собрать все свое мужество и сделать *хоть что-нибудь*, чтобы выбраться из трясины уныния, — но что именно?

Как насчет двухсот фунтов, оставленных мне матушкой? Все в один голос говорят, что тратить свой капитал нельзя, но, по крайней мере, я бы немного посмотрела мир (Розина была бы рада за меня; надеюсь, и матушка тоже), а возможно, и нашла бы наконец друга. Нет, я все-таки напишу мистеру Везереллу — и напишу прямо сейчас, пока моя решимость не ослабла.

Гришем-Ярд

Понедельник, 2 октября 1882

К великому своему удивлению, сегодня утром я получила письмо из Плимута от некоего мистера Ловелла — в нем говорилось, что мистер Везерелл уже несколько месяцев болеет (отсюда задержка с улаживанием тетушкиных дел) и что на моем счете находится сумма в двести двенадцать фунтов одиннадцать шиллингов и восемь пенсов. К письму прилагался запечатанный пакет с надписью, гласящей: «Бумаги, отданные на хранение миссис Эмилией Феррарс 22 ноября 1867 года и оставленные для дальнейшего хранения по распоряжению мисс Вайды Редфорд от 7 июня 1871 года, в согласии с завещанием миссис Феррарс». В пакете оказалась пачка писем, перевязанных выцветшей голубой ленточкой; все они адресованы моей матушке в Вест-Хилл-коттедж, Неттлфорд.

Я снова и снова перечитывала письма Розины Вентворт, как в свое время, несомненно, делала моя матушка: местами листки протерлись насквозь на сгибах. Вот почему я назвала свою воображаемую сестру Розиной, — судя по всему, в детстве я случайно услышала разговор матушки и тети Вайды про нее, но по своему малолетству не поняла, о чем именно идет речь. Почему же они никогда не упоминали о Розине при мне? Удалось ей сбежать с Феликсом Мордаунтом или же отец все-таки поймал бедняжку и посадил под замок — а то и вовсе убил, как наверняка убил ее сестру? И если матушка хотела, чтобы эти письма оказались в моих руках по достижении мной совершеннолетия, разве она не оставила бы мне записку с объяснением — почему?

Возможно, она так и собиралась поступить, но сердце отказало прежде времени — она отослала пакет мистеру Везереллу всего за несколько недель до смерти. И не потому ль отослала, что предвидела свою скорую кончину? А все, что она оставила у тети Вайды, погибло вместе с нашим коттеджем.

Дядя Джозайя, разумеется, говорит, что в жизни не слышал ни о Розине Вентворт, ни о Феликсе Мордаунте, «но ведь столько лет прошло, моя дорогая, я вполне мог и забыть... если только ты не имеешь в виду доктора Мордаунта из Эйлсбери, теолога Яковинской эпохи, — у меня в задней комнате хранится неполное собрание его сочинений...» Он даже не изъявил желания прочитать письма.

Сегодня ближе к вечеру я отправилась на Портленд-плейс и долго бродила там, разглядывая огромные дома и гадая, в каком из них жила Розина. Там есть один, чей мрачный, неприветливый облик отвечает описанию, но утверждать что-либо с уверенностью нельзя.

Уже пробило одиннадцать, и в доме стоит мертвая тишина. У меня такое ощущение, будто многие дни я спала наяву и письма Розины разбудили меня. Я *должна* выяснить, что с ней случилось. Но как?

Вторник, 3 октября

Сегодня утром я написала мистеру Ловеллу письмо с вопросом, может ли он рассказать мне что-нибудь о Розине Вентворт или Феликсе Мордаунте? А едва я вернулась из почтовой конторы, как мне доставили в высшей степени странное письмо от него. В нем говорилось: «Если вы еще не вскрыли пакет, приложенный к вчерашнему моему посланию, я настоятельно прошу вас при первой же возможности вернуть мне оный нераспечатанным. И даже если вы уже ознакомились с содержимым пакета, я все равно буду глубоко вам признателен, коли вы мне его возвратите». Оказывается, письма Розины надлежало хранить вместе с другим запечатанным пакетом, который моя матушка отослала поверенному позже, и «согласно распоряжению вашей покойной матери пакет сей

надлежало передать вам только и единственно при соблюдении некоего условия» — но какого именно, мистер Ловелл не уточнил.

Невзирая на свой старомодный витиеватый слог, мистер Ловелл — Генри Ловелл — производит впечатление совсем еще молодого человека. Он приносит мне «самые смиренные извинения», что совершенно не в духе убеленных сединами юристов. Читая между строк, я пришла к заключению, что мистер Везерелл неожиданно явился в контору, узнал об оплошности мистера Ловелла и крепко его отругал. Но что это может значить? Я тотчас же написала ответ, в котором сообщала, что хотела бы оставить письма у себя, если это не возбраняется законом, и просила объяснить, что мне нужно сделать, дабы получить в свое распоряжение остальные бумаги. Все письма Розины я на всякий случай скопировала на последние страницы этого дневника.

Четверг, 5 октября

Ответ мистера Ловелла на мое письмо совсем уже странный. «К глубочайшему моему сожалению, распоряжения вашей покойной матери прямо и недвусмысленно запрещают нам разглашать условие, на котором упомянутый пакет может быть вам переслан. Равным образом нам запрещено сообщать какие-либо сведения касательно содержимого пакета, а посему я не имею возможности ответить на вопросы, заданные вами в вашем предыдущем письме от второго числа сего месяца». Далее мистер Ловелл пишет, что, поскольку я уже прочитала письма, я могу оставить их у себя, коли желаю, и выражает искреннее сожаление, что не может продолжать со мной переписку по данному предмету.

Это не имеет никакого смысла — разве только упомянутое условие состоит в том, что я могу получить на руки бумаги лишь по достижении, к примеру, двадцати пяти лет. Но в таком случае почему бы так и не сказать? Или матушка не хотела, чтобы бумаги попали ко мне, пока (или если) я не выйду замуж? Поскольку в них содержится нечто непристойное или скандальное? Но что это может быть и почему она не сочла нужным вообще скрыть это от меня? И откуда мистер Ловелл узнает, выполнила я условие или нет, если мне нельзя затрагивать эту тему в переписке с ним?

В основе тайны, я уверена, лежит судьба Розины. Матушка явно любила ее, и я наверняка тоже полюбила бы, когда бы могла с ней встретиться... но вдруг она еще жива?

Ладно, если юристы отказываются мне помочь, я должна изыскать другой способ. Но какой? Просмотрев сегодня в лавке дядины адресные книги, я нашла несколько дюжин Вентвортов в одном только Лондоне, но ни единого Мордаунта. А что, если поместить сообщение в колонке частных объявлений «Таймс»? Мама и Розина были кузинами, значит, я прихожусь ей двоюродной племянницей, а родилась Розина в 1839 году... Можно написать так: «Родственница разыскивает Розину Вентворт (1839 г. р.), последнее известное место проживания — Портленд-плейс (1859–1860 гг.). Просьба всем располагающим какими-либо сведениями о ней писать мисс Феррарс в книжную лавку мистера Редфорда, Гришем-Ярд, Блумсбери». Дяде Джозайе говорить про объявление не обязательно, если только оно случайно не попадет ему на глаза.

Но вдруг отец Розины все еще жив? Не подвергну ли я таким образом ее опасности — да и себя тоже, коли на то пошло. Конечно нет: сейчас он уже глубокий старик, и худшее, что может сделать, — это явиться в лавку и устроить скандал (хотя это будет весьма неприятно). А если Розине удавалось скрываться от него все эти годы... нет, лучшего способа не придумать. Завтра же отправлюсь на Флит-стрит и размещу объявление в газете.

Понедельник, 9 октября

Никаких откликов на объявление. Глупо было надеяться, что кто-то отзовется. Сегодня я нашла потрепанную адресную книгу Лондона за 1862 год и внимательно просмотрела список проживавших на Портленд-плейс. Однако никаких Вентвортов там не значится. Не нашла я и никаких Мордаунтов в справочнике «Представители английской знати». Что мне делать?

Среда, 11 октября

Мои молитвы услышаны! Вчера во второй половине дня я осталась в лавке одна, и всего через четверть часа после ухода дяди в дверях появилась прекрасно одетая молодая дама. Она была в переливчатом синем платье с кремовой отделкой и шляпке в тон; сочные цвета волшебным образом мерцали в полумраке. Я сидела за конторкой и глазела на нее, наверное, секунд десять, прежде чем она меня заметила. Моего роста и телосложения, с такими же, как у меня, каштановыми волосами, женщина эта показалась мне смутно знакомой, хотя я точно знала, что никогда прежде ее не видела. Когда наши взгляды встретились, мне почудилось, будто по лицу ее скользнула тень узнавания, уже в следующий миг сменившаяся неуверенной улыбкой.

— Прощу прощения, — промолвила она. — Надеюсь, я вам не помешала, но не вы ли будете мисс Феррарс? — Говорила она тихим взволнованным голосом с едва заметным иностранным акцентом.

— Да, я мисс Феррарс. Не угодно ли войти?

С бьющимся сердцем я встала, чтобы поприветствовать гостью. Что-то в разрезе и посадке ее ясных карих глаз усилило во мне чувство, будто я где-то видела ее раньше. Затянутая в перчатку рука слабо дрогнула в моей — такая легкая, едва уловимая вибрация, словно между нами прошел электрический разряд.

— Меня зовут Люсия Эрден... — Фамилию «Эрден» девушка произнесла на французский манер. — И я здесь по поводу вашего объявления... только пришла я в надежде, что *вы* поможете *мне*. Видите ли, имя Розина Вентворт мне знакомо — я слышала его однажды в детстве, — но я понятия не имею, кто она такая, а равно не знаю, почему сердце настойчиво велело мне воспользоваться возможностью разузнать о ней, когда я прочитала ваше объявление.

— Это очень странно... прошу вас, присаживайтесь; здесь темно, к сожалению, но я должна оставаться в лавке до возвращения моего дяди... так вот, это очень странно, поскольку ровно то же самое я могу сказать о себе. Но сначала, мисс Эрден, не изволите ли рассказать мне, при каких обстоятельствах вы слышали о Розине Вентворт и почему она вас интересует.

— Да, разумеется. Дело в том, мисс Феррарс, что я единственный ребенок в семье, всю жизнь прожила в Европе и в Англию приехала впервые. Мой отец Жюль Эрден был французом и много старше моей матери — он умер, когда я была еще ребенком, — но моя мать выросла в Англии. Я потеряла ее всего год назад.

— Искренне вам соболезную.

— Как ни странно, — продолжала мисс Эрден, — я совершенно ничего не знаю о своих родственниках по одной и другой линии. Матушка решительно не желала говорить о своем прошлом; складывалось впечатление, будто ее жизнь началась в день моего появления на

свет. Она всегда повторяла лишь одно: мол, в Англии она была так несчастлива, что не вернется туда ни за какие блага и вообще хочет все забыть. Как я ни упрашивала ее, как ни умоляла — все без толку. Матушка была образованна и много читала, в основном английских авторов; оставаясь наедине, мы с ней говорили только по-английски. Думаю, она происходила из богатой семьи — возможно, очень богатой, — но мы жили на скромный доход, оставленный отцом. В пересчете на английские деньги это составило бы не более двухсот фунтов в год, но на континенте жизнь гораздо дешевле. Собственного дома у нас не было, мы часто переезжали с места на место — я жила в Риме, во Флоренции, в Париже, Мадриде...

— Ах, как чудесно!

— Вы не говорили бы так, если бы провели всю жизнь в пансионах и меблированных комнатах, постоянно упаковывая и распаковывая чемоданы, постоянно расставаясь с людьми, к которым едва начали привязываться. Когда повидаеть столько великих памятников архитектуры, сколько повидала я на своем недолгом веку, начинает казаться, что все они на одно лицо. Будь у меня сестра, мы бы с ней находили утешение в обществе друг друга... но вы спрашивали про Розину Вентворт... Так вот, когда мне было лет семь, матушке нанес визит один человек. Даже не помню точно, где происходило дело, но думаю, что в Руане. Мы жили в коттедже, и там был сад с озером — настоящий подарок для меня. Прячась от воображаемого великана-людоеда, я заползла под свисающие до самой земли ветви дерева и вдруг услышала приближающиеся голоса. Украдкой выглянув из своего укрытия, я увидела матушку и высокого мужчину с землистым лицом, очень худого и сутулого, а немного погодя поняла, что разговаривают они по-английски. Я услышала, как мужчина говорит «я сохранил вашу тайну», а потом что-то вроде «но ей нельзя здесь оставаться» или «вам нельзя здесь оставаться». Матушкин ответ я не разобрала, но, когда они проходили мимо моего укрытия, незнакомец сказал что-то про Розину Вентворт. Мой слух уловил только имя и резкое восклицание, вырвавшееся у матушки, а потом голоса стихли в отдалении... Ко времени, когда я вернулась в дом, гость уже отбыл и матушка стояла у окна, отрешенно глядя на деревья. Услышав мои шаги, она вся вздрогнула и резко повернулась ко мне, а потом постаралась сделать вид, будто вовсе не испугалась. На мой вопрос, что за человек приходил к ней, она ответила: «Какой такой человек? Должно быть, тебе привиделось». Даже когда я сказала, где именно пряталась в саду, она все равно упорно твердила, что меня просто сморила дремота и мне все пригрезилось. Наконец я спросила: «Мама, кто такая Розина Вентворт?» — а она вдруг мертвенно побледнела и выкрикнула: «Что еще ты слышала?» — да с такой яростью, что у меня душа ушла в пятки. Я повторила ей все слова, случайно мной услышанные, клятвенно заверила, что вовсе не шпионила за ней (матушка сурово порицала всякое подслушивание), и минуту спустя она принялась утешать меня и опять попыталась убедить, что мне все привиделось. А на следующий день мы навсегда покинули коттедж... Больше я никогда не спрашивала матушку про Розину Вентворт, но имя это запечатлелось в моей памяти, и когда я увидела ваше объявление, то сразу поняла, что непременно должна встретиться с вами.

— Все это в высшей степени необычно! — воскликнула я и тотчас поведала собеседнице о зеркале и моей воображаемой сестре Розине.

Далее я собиралась прямо перейти к рассказу о письмах Розины Вентворт, но Люсия (так я уже называла свою новую знакомую по ее просьбе) была настолько очарована моими детскими воспоминаниями и задала мне столько вопросов, что в конечном счете я

рассказала о своем прошлом во всех подробностях. Не раз я пыталась перевести разговор на нее — ведь моя жизнь казалась такой заурядной и скучной по сравнению с ее жизнью, — но она решительно пресекала все мои попытки.

— Вы просто не представляете, — говорила Люсия, — что за счастье встретить человека, познавшего радости упорядоченной и спокойной жизни, о какой я всегда мечтала, и связанного крепкими узами любви со своими родными.

В течение всего разговора я постоянно ловила на себе ее взгляд, жадно исследующий все до мельчайшей черты моей внешности, и чувствовала себя смущенной и польщенной одновременно. Со времени матушкиной смерти никто не слушал меня с таким вниманием. Когда я дошла до рассказа об оползне, унесшем с собой наш коттедж, и ужасах, пережитых нами с тетушкой на скале, Люсия страшно побледнела и резко качнулась вперед в кресле. Испугавшись, что она сейчас лишится чувств, я бросилась к ней и обхватила обеими руками, а в следующую минуту вдруг с мучительной ясностью осознала, как давно уже никого не обнимала и как мне не хватало такой близости все последнее время.

Я долго стояла на коленях перед Люсией, чья голова покоилась на моем плече и щека прижималась к моей щеке, но наконец она отстранилась от меня с явной неохотой и снова села прямо. Мы обе начали извиняться — она за то, что так разволновалась, а я за то, что расстроила ее, — и всячески успокаивать друг друга, а потом Люсия призналась, что весь день ничего не ела, если не считать скудного завтрака, состоявшего из тоста и чашки чая.

— Где же вы проживаете? — спросила я.

— В гостинице для непьющих в Мэрилебоне. Я весьма ограничена в средствах — имею всего сто фунтов ежегодного дохода сверх небольшого капитала, — но тем не менее исполнена решимости остаться в Англии. Конечно, мои наряды стоят немалых денег, но я должна хорошо одеваться, поскольку у меня нет ни друзей, ни родственников, ни знакомых, которые могли бы дать мне рекомендацию. Я думаю поступить на сцену, но сначала хочу посмотреть Лондон.

— Мне бы очень хотелось стать вашим другом, — сказала я. — И уж конечно, я не позволю вам умереть от голода. Пойдемте со мной наверх: вы должны поесть, а потом я покажу вам письма Розины Вентворт.

Она изумленно взглянула на меня:

— Но откуда у вас ее письма, если вы потеряли все имущество вместе с вашим домом?

— Моя матушка оставила их — и другие бумаги, к которым у меня нет доступа, — на хранение нашему поверенному. Чуть позже я все расскажу вам.

Я без раздумий закрыла лавку и помогла девушке встать с кресла, с облегчением заметив, что румянец постепенно возвращается на ее лицо.

Когда Люсия перекусила — она попросила лишь чашку чая да кусочек хлеба с маслом и ела без особого аппетита, невзирая на голод, — мы поднялись в мою маленькую гостиную, где я поведала о странном распоряжении своей матери и сидела рядом с новой знакомицей на диване, пока она с напряженным вниманием читала письма. От бледных солнечных лучей, косо падавших сквозь пыльное окно, сочные краски ее переливчатого наряда сделались еще ярче и в ее волосах — высоко заколотых на затылке, в точности как у меня, — вспыхивали крохотные искорки. Закончив читать, Люсия с минуту молчала, перебирая письма с таким видом, словно не верила, что держит их в руках.

— Странно, — наконец промолвила она, — но у меня такое ощущение, будто я давно знаю Розину. Мама тоже любила фортепьяно и музицировала с большим искусством при

каждой возможности...

Мы посмотрели друга на друга, и во взгляде Люсии я прочла ту же самую догадку, что осенила меня.

— Люсия... позвольте спросить, сколько вам лет?

— Двадцать один.

— А когда у вас день рождения?

— Че...четырнадцатого февраля.

— Значит, на свет вы появились ровно за месяц до меня... и спустя девять с небольшим месяцев со дня последнего письма Розины. И ваша матушка любила фортепьяно и никогда не рассказывала о своем прошлом.

Бумажные листки захрустели в судорожно стиснувшихся пальцах Люсии. Она отложила письма в сторону и медленно повернулась ко мне, словно пробуждаясь ото сна.

— Это все объясняет, — тихо произнесла она. — Почему мы никогда не задерживались долго на одном месте... почему мама никогда никому не сообщала, куда мы направляемся дальше... почему меня неудержимо повлекло сюда сегодня... Это судьба, вы правильно сказали... Вот о чем говорил серолицый мужчина тогда в саду: он хранил матушкину тайну, но кто-то узнал, что Розина Вентворт находится в Руане... поэтому мы и бежали оттуда на следующий же день.

Ее сцепленные на коленях руки дрожали, на щеках выступили алые пятна.

— Конечно же, это означает, что я... что мама не была замужем, когда...

— Мы этого не знаем наверняка. — Я накрыла ладонью ее руки, совсем ледяные. — Возможно, Феликс Мордаунт женился на ней, а потом... с ним что-то случилось.

— Нет, вне всякого сомнения, он соблазнил и бросил ее, как и опасалась служанка Лили. Мама часто предостерегала меня. «Когда ты полюбишь, — говорила она, — не доверяй своему сердцу, внимай лишь голосу рассудка. Чтобы соблазнить тебя, мужчина скажет все, что угодно, посулит все, что угодно, причем совершенно искренне, но, как только ты отдашься, он потеряет всякий интерес к тебе и уйдет, даже не оглянувшись». Я всегда понимала, что мама знает это по горькому опыту, хотя она так и не призналась в этом.

— Даже если вы правы, ваш отец — я имею в виду Жюля Эрдена — проявил к ней сочувствие... И по закону вы его дочь, — добавила я не так уверенно, как мне хотелось бы.

— Скорее всего, никакого Жюля Эрдена и не существовало вовсе. Неужто пожилой француз женился бы на безденежной англичанке, от которой отрекся отец и которая носит под сердцем ребенка от другого мужчины? Скорее всего, мама просто выдумала его из соображений приличия.

— А каким именем называлась ваша матушка? — спросила я.

— Маделин.

— А... когда у нее был день рождения?

— Двадцать седьмого июля — она никогда мне не говорила, сколько ей лет. В детстве я часто восхищалась, какая у меня молодая и красивая мама. Но потом на ее лице пролегли морщины, и она все больше худела с каждым годом... Понятное дело, бедняжку преждевременно состарил вечный страх...

— А от чего она умерла?

— Сердце отказало, как и у вашей матушки. Мы поднимались по лестнице в пансионе — в прошлом декабре, в Париже, — и она вдруг кашлянула, потом глубоко вздохнула, и у нее

подкосились ноги. Я подхватила ее... думала, с ней приключился обморок, но она испустила дух у меня на руках.

— Мне очень жаль, — сказала я, растирая холодные руки Люсии. — Как странно, что наши матери обе... впрочем, не так уж странно, если они состояли в двоюродном родстве... хотя, конечно, мы не можем быть уверены.

На миг я усомнилась: а вдруг это всего лишь случайное совпадение? Если Розина превратилась в Маделин Эрдэн, она наверняка продолжала бы писать моей матушке. Но возможно, она и писала; возможно, именно эти письма и хранятся у мистера Везерелла.

— А я уверена! — воскликнула Люсия, глядя на меня сияющими глазами. Сейчас она походила на невиданную райскую птицу, слетевшую на землю. — Во мне говорит голос крови. Мы с вами очень похожи внешне и думаем одинаково; у меня такое чувство, будто я знаю вас всю жизнь.

— И у меня такое же. — Я порывисто обняла Люсию. — Ах, если бы только эти письма попали мне в руки, когда Розина... ваша матушка... была еще жива! Мне бы очень хотелось познакомиться с ней — и узнать вас пораньше.

— Да, жаль, что такого не случилось. Но даже если бы мама увидела ваше объявление, она не откликнулась бы на него.

— Пожалуй... из страха перед отцом, — согласилась я.

Люсия недоверчиво потрясла головой, снова разглядывая письма Розины. Внезапно меня осенила ужасная мысль:

— Но если он все еще жив, он ведь тоже мог увидеть мое объявление. Возможно, теперь вам грозит опасность — по моей вине!

Она подняла глаза и улыбнулась с легкой грустью:

— Если бы вы не дали объявление, Джорджина, мы с вами никогда не встретились бы. Что же касается Томаса Вентворта, сейчас он уже глубокий старик и...

— Люсия... почему вы назвали его *Томасом* Вентвортом?

Она вздрогнула и испуганно взглянула на меня:

— Должно быть, где-то здесь прочитала.

— Уверена, Розина ни разу не упоминает имя своего отца.

Мы снова внимательно просмотрели все письма, строчка за строчкой, но имени Томас нигде не нашли.

— Люсия, вы понимаете, что это значит? — взволнованно спросила я. — Видимо, вы случайно услышали, как ваша матушка или еще кто-нибудь говорит о нем. Точно так же когда-то в моей голове всплыло имя Розина.

Наши плечи соприкасались, и я чувствовала слабую дрожь, волнами пробегающую по телу девушки.

— Очень может статься. Наверное, тот серолицый мужчина...

— Вы его видели когда-нибудь впоследствии?

— Нет, ни разу.

— Во всяком случае, он был вашим другом. А не оставила ли вам Розина... ваша матушка... какие-нибудь письма или документы?

— Нет. Она получала письма чрезвычайно редко — при мне, по крайней мере, — и сжигала их сразу по прочтении. Все ее имущество состояло из одежды, *articles de toilette* — забыла английское слово... нескольких предметов первой необходимости и свободно помещалось в один дорожный сундучок. Мама и меня приучила довольствоваться малым.

«Собственность связывает и обременяет, — говорила она. — Лишний груз, да и только. Чем меньше у нас вещей, тем мы свободнее».

— А ваш доход? Вы сказали, что имеете сто фунтов ежегодного дохода. Вам известно, с чего он?

— До сегодняшнего дня я полагала, что с капитала Жюля Эрдена. Я могла бы написать своим адвокатам в Париже. Но это же французские юристы: если вы забудете собственное имя, они найдут причины не сообщать его вам.

— Английские юристы ничем не лучше, — сказала я. — Мне нужно любым способом выяснить, какое же условие я должна выполнить, чтобы увидеть остальные бумаги, оставленные мне матушкой. Ведь письма Розины — я вам говорила? — оказались у меня по ошибке. Я вот думаю, не хотела ли моя матушка защитить Розину таким образом? Запретив передавать письма в мои руки, покуда Томас Вентворт не умрет? Но тогда получается...

— Что он все еще жив, — закончила за меня Люсия, содрогаясь всем телом. — И это чудовище — мой дед! Даже подумать страшно.

— Но почему Розина не поехала в Неттлфорд? — воскликнула я. — После того, как Феликс Мордаунт ее бросил, я имею в виду. Моя матушка укрывала бы ее у себя до вашего рождения. А после смерти моего отца мы все жили бы у тети Вайды в Нитоне; и мы с вами выросли бы вместе... Как счастливы мы могли бы быть!

— Да, — промолвила Люсия, вновь перебирая письма. — Но неужели вы не понимаете — почему?

— Розина пишет «я не хочу навлекать на вас гнев своего отца» или что-то вроде, но я точно знаю, что матушка без раздумий приняла бы ее в свой дом, и тетя Вайда тоже. С нами вы жили бы гораздо спокойнее и гораздо счастливее, чем в одиночестве на континенте, где никто даже не знал, кто вы такие.

— Но стыд, Джорджина, стыд! Ведь весь Лондон знал, что она сбежала с Феликсом Мордаунтом. И потом родить ребенка вне брака... Какой же тяжелой обузой я была для нее, наверное!

— Вы не должны так думать — никогда!

Я обняла Люсию и попыталась представить, что бы я чувствовала на ее месте: гнев на Феликса Мордаунта, безусловно; жалость к матери, конечно же, но никак не стыд — ни за нее, ни за себя. Может, у меня недостаточно развито нравственное чувство? Тетю Вайду уж точно никогда не волновало мнение света. В моих последних словах, обращенных к Люсии, мне послышалось эхо давних тетушкиных слов, произнесенных с великой горячностью: «Ты была ее радостью, ее счастьем. Знай это — и не задавай больше никаких вопросов!» Я гладила Люсию по волосам и ласково утешала, отчасти жалея, что показала ей письма (однако могла ли я утаить их от нее?), но одновременно наслаждаясь теплом наших объятий, невзирая на все свое смущение.

Когда она наконец успокоилась, я поведала про памятный разговор у маяка, когда я высказала предположение, что матушка надорвала сердце, рожая меня, а тетя Вайда ответила мне словами, в которых я всегда впоследствии находила утешение.

— Вы с матушкой очень любили друг друга, правда ведь? — спросила я.

— О да... я ни разу в жизни не усомнилась в ее любви.

— Вот и подумайте, насколько несчастнее она была бы без вас. Двери в общество закрылись для нее в день, когда она бежала с Феликсом Мордаунтом. Но настоящие друзья — вроде моей матушки — ни при каких обстоятельствах не отвернулись бы от нее...

— Хотелось бы в это верить, — вздохнула Люсия.

— Я убеждена, все ваши сомнения рассеются, когда мы увидим остальные письма. И вот что, Люсия...

— Да?

— Пусть это останется между нами: больше никому знать не нужно. Мы даже моему дяде не расскажем. Хотя если бы и рассказали, ничего не изменилось бы: он интересуется только своей лавкой и уже через пять минут все забыл бы начисто. Для окружающих вы будете просто моей подругой мисс Эрден.

Когда я произносила последние слова, меня вдруг охватило головокружительное чувство нереальности, словно я смотрю на нас двоих откуда-то из-под самого потолка. Не иначе я просто сплю и вижу сон? И настолько сильным было это ощущение, что я впилась ногтями в свое запястье.

— Вы очень добры, — услышала я голос Люсии. — И ваши чувства мне понятны: у меня тоже голова идет кругом.

Я подняла взгляд и увидела, что она улыбается.

— Извините, — неловко пробормотала я. — Я не хотела... просто... я была бесконечно одинока здесь и страстно мечтала о друге... Но вы, безусловно, потрясены стократ сильнее меня — ведь вся ваша жизнь меняется у вас на глазах.

— О да... и все же мне кажется, я всегда ожидала чего-то подобного. В конце концов, моя матушка какой была, такой и осталась для меня. Все это не означает, что она любила меня меньше, чем я думала. Наоборот — больше, гораздо больше... как представишь, какие душевные муки она терпела каждый день.

Я уже понимала, что не могу потерять Люсию. Дядя Джозайя придет в полнейшее замешательство, но если я стану оплачивать ее содержание...

— Люсия, — решительно сказала я, — почему бы вам не поселиться здесь со мной, чем жить в гостинице? Вы можете занять спальню этажом ниже; нам нужно будет хорошенько проветрить комнату и подыскать вам мебель, но это не составит труда.

Губы Люсии легко прикоснулись к моей щеке, и я ощутила тепло ее дыхания.

— Я бы с радостью, но мне неловко навязываться, а кроме того, ваш дядя...

— Дядю Джозайю придется поугovarивать, но это я беру на себя. А если вы согласитесь иногда помогать в лавке, уговорить его будет значительно легче. Почему бы вам не остаться на ужин — сегодня вторник, значит, подадут, боюсь, баранину в остром соусе — и не познакомиться с ним? А потом мы с вами сможем снова подняться сюда и разговаривать сколько душе угодно.

Люсия для приличия поотнекивалась, но вся просияла от облегчения и радости, когда я позвонила Шарлотте и велела ей предупредить миссис Эддоуз, чтобы приготовила ужин на трех персон.

— Я уверена в одном: наши матери продолжали переписываться, — сказала я, когда мы с Люсией опять остались наедине. — Они любили друг друга, и из писем видно, что Розина всецело доверяла Эмилии. Мы должны убедить мистера Ловелла показать нам остальные бумаги. Допустим... согласитесь ли вы, Люсия, раскрыть вашу тайну мистеру Ловеллу при условии строжайшей конфиденциальности? Все-таки он мой поверенный; я убеждена, он вас не выдаст.

— Пожалуй, — с сомнением проговорила она, — но, если честно, Джорджина, я предпочла бы никому не рассказывать — по крайней мере, до поры до времени. Столько

всего еще нужно понять... осмыслить. Может, вы просто скажете, что у вас возникли некие обстоятельства, в силу которых вам жизненно необходимо увидеть эти бумаги? А если поверенный ответит отказом, вы настоятельно потребуете, чтобы он сообщил вам, в чем заключается таинственное условие, поставленное вашей матушкой?

— Да, конечно, я так и сделаю. Просто я думаю... ведь она наверняка знала о вашем существовании. Может, условие как раз и состоит в том, что мы с вами должны познакомиться?

— Возможно, — промолвила Люсия по-прежнему нерешительно. — И тем не менее мне хотелось бы пока что сохранить свою тайну.

— Да-да, разумеется. Мы не расскажем ни единой душе. Ах, какая жалость, что мы с вами не встретились раньше! Я все не возьму в толк, почему же вы не приехали к нам в Нитон. После смерти законного супруга — а скорее всего, ваша матушка действительно состояла в браке с Жюлем Эрденем; иначе откуда бы у нее взялся доход? — так вот, после смерти законного супруга она могла бы жить с нами, ничего не опасаясь. Даже Томас Вентворт не осмелился бы послать в Нитон наемных убийц. Мы знали всех фермеров в округе, и они приглядывали бы за нами. А тетушка моя вообще не ведала страха; она держала в судомойне старый мушкетон, на случай грабителей, и без раздумий воспользовалась бы им. «Любого головореза, который к нам сунется, я в два счета упрячу за решетку», — часто повторяла она. Вот мне и непонятно, как Розина могла чувствовать себя в большей безопасности за границей — особенно после трагической гибели бедной Клариссы?

Люсия недоуменно потрясла головой.

— Остается лишь предположить, что встречи с людьми из своего прошлого — вроде несносной миссис Трейл и ее дочери — она боялась больше, чем своего отца.

— Но если все знали вашу матушку под именем мадам Эрден, с какой стати было ей волноваться, что там думают о ней Трейлы? Когда на континенте она ежедневно рисковала погибнуть от руки наемных убийц? Вы же считали Жюля Эрдена своим отцом до сегодняшнего дня. Нет, я решительно не понимаю, почему она не пожелала вернуться в Англию.

Меня вновь одолели тяжелые сомнения: можно ли утверждать наверное, что все это нечто большее, чем просто удивительное совпадение?

— Мне кажется, я никогда до конца не верила, что Жюль Эрден — мой отец, — задумчиво произнесла Люсия. — Мама всегда говорила о нем в очень туманных выражениях; я даже не представляю, как он выглядел.

— То же самое и с моим отцом. — Почему-то эта мысль немного меня успокоила, но сомнения не рассеивались, пока я вдруг не вспомнила, где Люсия остановилась по приезде в Лондон.

— А где именно в Мэрилебоне находится ваша гостиница? — спросила я.

— На Грейт-Портленд-стрит.

— То есть через улицу от Портленд-плейс.

Ее глаза расширились.

— Даже при виде писем я не сообразила... такой выбор гостиницы просто показался мне естественным. Должно быть, меня безотчетно повлекло туда.

— И точно так же вы знали имя Томаса Вентворта — не сознавая, что знаете.

— Что же еще скрывается в темной глубине моего сознания, готовое всплыть в любой момент? Мне это не нравится, но все же... — Она решительно вздернула подбородок и

сделала отметающий жест. — Что бы ни случилось, теперь мы с вами есть друг у друга.

Перспектива ужинать в обществе постороннего человека — тем более молодой женщины, едва мне знакомой, — повергла дядю Джозайю в совершенное замешательство, но Люсия была столь мила и задала столько вопросов про книжную лавку, что под конец я уже и не знала, как нам от него отделаться. Слава богу, к прошлому Люсии он проявил не больше интереса, чем когда-либо проявлял к моему прошлому. Я всегда изо всех сил старалась угодить дяде, но сейчас исполнилась решимости настоять на том, чтобы Люсия поселилась у нас, невзирая на все его возможные возражения; и как только мы с ней опять остались наедине, я твердо пообещала, что завтра же утром добьюсь такого разрешения.

Мы вышли из-за стола только в начале девятого. Я ожидала, что после ужина Люсия засобирается обратно в гостиницу, но Шарлотта разожгла камин в верхней гостиной, и моя гостья не выказала намерения уйти. Отблески огня дрожали у нее на щеке и играли в волосах, вспыхивая красными, медными и золотыми искрами при каждом движении головы. Французский акцент незаметно исчез, или я просто к нему привыкла. Мне не терпелось побольше узнать об их с Розиной жизни, которую я представляла весьма смутно, но я не хотела приставать к ней с расспросами, хорошо понимая, сколь сильно она потрясена вновь открывшимися обстоятельствами своей биографии. Люсия же, со своей стороны, горела желанием узнать о моем детстве в Нитоне всё вплоть до самых мелких и обыденных подробностей; когда я показала ей матушкину брошь в виде стрекозы, она долго зачарованно разглядывала ее, точно священную реликвию, медленно крутя в пальцах, отчего рубины сверкали алым огнем в свете камина.

Мы потеряли счет времени, и, лишь когда часы в холле внизу пробили десять, Люсия встрепенулась и испуганно поднесла ладонь к губам:

— Ах, Джорджина... я совсем забыла. В десять гостиница запирается на ночь. Что же мне делать?

— Вы должны заночевать здесь, — сказала я. — Мы постелим вам на диване — или можете разделить постель со мной, если ничего не имеете против.

Она с благодарностью приняла мое предложение. Я принесла ей ночную сорочку и оставила переодеваться у камина, а сама разделась в своей спальне при свете двух свечей над туалетным столиком. Облачившись в ночную сорочку, я открыла дверь и пригласила Люсию войти, а сама села перед зеркалом и принялась расчесывать волосы.

Внезапно мое отражение в зеркале словно раздвоилось, и над моим ухом раздался тихий голос:

— Позвольте мне.

Я, вздрогнув, обернулась и с облегчением увидела, что позади меня стоит Люсия: в мерцающей глубине зеркала наше с ней сходство было поистине поразительным.

— Извините ради бога, я не хотела испугать вас... верно, вы не слышали моих шагов.

Она взяла у меня щетку и начала расчесывать мне волосы. А я в полугипнотическом состоянии замороженно смотрела на отражение Люсии, улыбавшееся мне из зеркала, и у меня было полное впечатление, будто моя воображаемая сестра обрела самостоятельное существование.

Когда Люсия закончила, мы с ней поменялись местами, но картина в зеркале осталась практически прежней, что усугубило владевшее мной чувство нереальности. Я никому не расчесывала волосы со времени матушкиной смерти и уже забыла блаженное ощущение близости, возникающее от таких прикосновений, от прерывистого скольжения и тихого

потрескивания щетки, от теплого аромата распущенных волос. Немного погодя веки Люсии медленно сомкнулись, но по слабым ответным движениям ее головы и игравшей в уголках губ улыбке я понимала, что она не спит.

Наконец я отложила щетку в сторону. Люсия встала и, обняв меня, прошептала:

— До встречи с тобой я и не сознавала, насколько я одинока.

Она подошла к кровати и уютно улеглась на ней, обратив лицо к свету. Я оставила одну свечу горящей и тоже скользнула под одеяло; мы лежали лицом к лицу, обняв друг друга одной рукой. Глаза Люсии снова закрылись, и уже через пять минут она спала крепким сном, но я долго лежала не смыкая глаз, чувствуя, как поднимается и опускается ее грудь и как ее легкое дыхание шевелит мои волосы. Вот что, должно быть, люди подразумевают под выражением «супружеское счастье», подумала я. Но испытаю ли я подобные чувства рядом с женщиной? Я вспомнила молодого бычка на лугу и слова тети Вайды: «У людей то же самое... Меня лично эта идея никогда не привлекала». Большинство прочитанных мной романов заканчивались супружеским счастьем, но о молодых бычках там ни словом не упоминалось. Мне всегда представлялось что-то грубое, неуклюжее и болезненное, но сейчас, наслаждаясь теплом, исходящим от тела Люсии, я понимала, что ничего другого мне не надо, лишь бы она мирно покоилась в моих объятиях.

Я бы с радостью прободрствовала всю ночь, но в конце концов меня сморил сон, а когда спустя какое-то время я пробудилась в кромешной тьме, Люсию, теперь лежащую ко мне спиной, мучил кошмар. Она пронзительно вскрикнула и попыталась оттолкнуть мою руку, а потом повернулась ко мне и замерла в моих объятиях, трепеща всем телом. «Успокойся, милая, успокойся, — прошептала я. — Теперь ты в безопасности». Я нежно погладила Люсию по голове, прижала к себе покрепче и почувствовала ответное прикосновение горячих губ, прежде чем ее дыхание замедлилось и выровнялось. И вновь я боролась со сном, вдыхая аромат ее волос и рисуя в воображении нашу совместную жизнь в каком-нибудь коттедже у моря... Дядя Джозайя прекрасно управлялся с лавкой до моего появления здесь — обойдется без меня и впредь... Может, поселиться в Неттлфорде?.. Мы непременно должны хотя бы навеститься туда и увидеть дом, где я родилась... Или на острове Уайт, только на сей раз подальше от обрыва...

Я проснулась на сером рассвете, вдыхая запах расплавленного воска и обмирая от страха при мысли, что Люсия мне просто приснилась. С бешено стучащим сердцем я выскочила из постели и бросилась в гостиную. Люсии и след простыл, лишь аккуратно сложенная ночная сорочка лежала на диване. А ведь я даже не спросила, как называется ее гостиница... Я упала на колени подле дивана и прижала сорочку к лицу. Из нее выпорхнул листок бумаги, на котором бледным карандашом и почерком, похожим на мой, было написано: «Тысяча благодарностей. Не хотела тебя будить. Приду в лавку сегодня после полудня. Л.».

Уговорить дядю Джозайю оказалось даже труднее, чем я предполагала. Согласно своему обещанию я поставила вопрос ребром за завтраком, хотя уже и боялась, что Люсия передумала жить у нас, если вообще не исчезла бесследно, как сказочная фея. Однако, если она по-прежнему не прочь поселиться здесь, сказала я себе, а я не поговорю с дядей, она может подумать, что на самом деле мне этого не хочется. И вот я набралась решимости перебить дядю — он с увлечением рассказывал о каталоге, полученном с утренней почтой, — и спросила, понравилась ли ему мисс Эрден.

— Да, моя дорогая, — ответил он, не глядя на меня. — Очаровательная юная леди.

— Я рада, что вы так считаете, дядя, потому что она будет жить у нас.

Он отложил лупу и уставился на меня в полнейшем недоумении:

— Не понимаю.

— Мисс Эрден будет жить у нас, — повторила я. — В свободной спальне наверху.

— Да ты, наверное, шутишь, Джорджина. Мы не можем позволить себе такое.

— Почему, дядя?

— Ну как почему? Лишние расходы, неудобство и вообще... — Дядя беспомощно вскинул ладони.

Еще за ужином накануне я вдруг заметила, как сильно он постарел за последний год. Череп у него полностью облысел, и обвислые седые усы стали совсем жидкими. Сердце мое сжалось от жалости, но отступить я не собиралась.

— Вам не придется входить в расходы, дядя. Люсия будет платить пятнадцать шиллингов в неделю, как и я, а такой суммы более чем достаточно для ее содержания.

По крайней мере последние мои слова были чистой правдой: я решила оплачивать проживание Люсии из собственных средств, ничего не говоря ей. В таком случае у меня останется меньше десяти шиллингов в неделю, но меня это не волновало.

— И никаких неудобств у вас не возникнет. Люсия станет помогать мне в лавке, когда сумеет, а есть мы будем наверху, в моей гостиной, — так что вы сможете спокойно читать за столом, не отвлекаясь на нашу болтовню.

— Ну хорошо... я подумаю, — промямлил дядя Джозайя, складывая каталог.

— Нет, дядя, вы должны принять решение сейчас же. Люсия проживает в гостинице, а ей нужен дом.

— Миссис Эддоуз это не понравится... она станет возражать.

— С миссис Эддоуз я договорюсь, — отрезала я, с удивлением сознавая, что именно так и сделаю.

— Но... но ведь мы ничего не знаем о мисс Эрден.

— Я уже знаю, что она ближайшая моя подруга, — твердо сказала я. — У нас с ней очень много общего.

— Нет, нет и нет. Я решительно против. Неудобства уже начались: вернувшись вчера с распродажи, я, к великому своему удивлению, обнаружил, что лавка закрыта. Если ты собираешься болтаться невесть где с мисс Эрден, когда тебе следует присматривать за лавкой... а сейчас мне пора идти.

— Дядя, — задыхаясь от волнения, проговорила я, — если вы не позволите Люсии жить здесь, я покину ваш дом. Я до скончания жизни буду благодарна вам за то, что вы меня приютили, но все это время я была бесконечно несчастна и одинока, и без Люсии я не выдержу здесь и дня больше.

Он рухнул обратно в кресло, держась за сердце:

— Джорджина, что за бес в тебя вселился? Я и понятия не имел, что тебе так плохо. Если ты устала и хочешь отдохнуть, тебе нужно лишь сказать мне. Как же я буду справляться без тебя? Все эти заказы... посылки! Как мне обойтись без твоей помощи?

И таким он выглядел немощным, таким слабым голосом говорил, что я испугалась, как бы он не скончался на месте. А случись такое, подумала я, вся вина ляжет на меня: ведь именно я настояла на том, чтобы он уволил своего мальчишку-помощника и стал пользоваться моими услугами в лавке. Но мысль о Люсии придала мне решимости.

— Раньше вы прекрасно обходились без меня, дядя. Мы легко найдем вам работника, чтобы занимался посылками и присматривал за лавкой.

— Но он же потребует платы! Я не могу себе позволить такие расходы.

— Тогда вам остается лишь разрешить Люсии жить с нами.

— Ох, ладно-ладно, если ты настаиваешь. Но ей-же-ей, это большое... очень большое неудобство.

— Вы не испытаете ни малейшего неудобства, дядя, обещаю вам. Все останется в точности как прежде.

— Сильно в этом сомневаюсь, но, полагаю, мне придется смириться.

Он с трудом поднялся с кресла и, шаркая туфлями, вышел из столовой залы, оставив меня дивиться собственной смелости и задаваться вопросом, не стала ли я бесчувственной и жестокосердной.

Четверг, 12 октября

Сейчас первый час ночи. Люсия (наверное) давно спит в своей комнате, уже совершенно преобразившейся. Какое все-таки счастье, что она поселилась у нас! И я знаю, она рада не меньше моего. Нынешний день прошел не в пример лучше вчерашнего: накануне все утро дядя дулся на меня и раздражался по каждому пустяку, а когда время перевалило за полдень и потянулись мучительные часы ожидания, я расхаживала взад-вперед по пустой лавке, точно зверь в клетке, рисуя в воображении разного рода катастрофы.

Когда наконец Люсия появилась в дверях, признаться, я расплакалась от радости, а потом страшно устыдилась: ведь она встала ни свет ни заря и не хотела меня беспокоить. Люсия сказала, что весь день бродила по улицам, вспоминая события своей жизни с таким ощущением, будто все это происходило не с ней вовсе. Мы с Шарлоттой проветрили комнату и постелили постель, но Люсия пожелала провести еще одну ночь в гостинице. «Хочу доказать себе, что не боюсь оставаться одна, — пояснила она, — теперь, когда я знаю, что больше не одинока». Я весь вечер сочиняла письмо мистеру Ловеллу и почти всю ночь проворочалась в кровати... но теперь Люсия здесь, в полной безопасности, и все остальное не имеет значения.

Среда, 18 октября

Я познакомилась с Люсией всего неделю назад, но уже не мыслю своей жизни без нее. Наше с ней внешнее сходство с каждым днем удивляет меня все сильнее. Дядя не отличает нас друг от друга — думаю, и миссис Эддоуз тоже, хотя ей до нас в любом случае нет никакого дела. Люсия носит мою одежду, поскольку своей у нее очень мало: кроме великолепного переливчато-синего платья, у нее появилось лишь два новых, по фасону очень похожих на мои. Когда я добродушно подтрунила над подобным выбором нарядов, она с улыбкой сказала: «Да, я хамелеон и принимаю цвет окружения». Мы часто гадаем, походили ли и наши матери друга на друга до такой поразительной степени, однако за неимением хотя бы миниатюрного портрета одной из них нам остается единственно строить догадки. Говоря о своей «маме», Люсия всегда скованна и напряжена, но вот о «Розине» говорит совершенно свободно — словно для нее это два разных человека. Она питает живейший интерес к обстоятельствам моего детства и при всякой возможности переводит разговор на меня. Мистер Ловелл на мое письмо еще не ответил, и за отсутствием каких-либо новых сведений мы с Люсией пока ничего не предпринимаем.

Дядя по-прежнему сердится и постоянно ворчит на меня (или на Люсию, когда путает нас, но она нисколько не обижается). Мне не стоило обещать, что все останется по-прежнему. Он выразительно вздыхает при малейшем нарушении привычного хода вещей и по меньшей мере два раза в день напоминает мне, что он слишком стар, чтобы обходиться без моей помощи. Я эгоистически рассчитывала, что Люсия будет помогать мне в лавке, но днем она предпочитает гулять одна. Она тактично помалкивает на сей счет, но я уверена: одиночество необходимо ей для того, чтобы все хорошенько обдумать. «Такое ощущение, будто я вспоминаю две разные жизни одновременно и все не могу уразуметь, какая же из них моя», — сказала она вчера, но войти в подробности не пожелала.

Меня тревожит, что Люсия часами бродит одна по городу, сама не ведая, куда несут ноги. Она утверждает, что не боится ни Томаса Вентворта, ни еще кого-либо, — но не притворяется ли она ради моего спокойствия? Не знаю, право слово. Думаю, во время своих одиноких прогулок она размышляет (как размышляла бы я на ее месте) о наследственном недуге Мордаунтов и тревожно задается вопросом, не передалась ли болезнь ей? Но я не заговариваю с ней на эту тему, поскольку могу и ошибаться в своих предположениях. Порой, когда на лице Люсии лежит тень печали, внутри у меня все холодеет и в голову приходит пугающая мысль, что, возможно, она была бы счастливее, не встретясь мы с ней.

Я прекрасно понимаю, откуда у Люсии такая потребность в одиночестве, но мне все же хотелось бы, чтобы она находила больше утешения в общении со мной: я бы с радостью проводила каждую минуту дня и ночи с ней рядом. Всякая ее улыбка, всякое ласковое прикосновение, всякий поцелуй — бесценный дар для меня. В романах подруги и кузины постоянно целуются и обнимаются, но каждый божий вечер... ах, с каким нетерпением я всегда жду этого часа!.. каждый вечер, когда мы обнимаемся и желаем друг другу доброй ночи, меня так и тянет попросить: «Ляг в постель со мной и позволь мне обнять тебя, как в первую ночь».

В воскресенье я наконец собралась с духом и сказала:

— Люсия, ты мучаешься кошмарами, я знаю, — так почему бы тебе не остаться со мной, чтобы я тебя успокаивала?

Она улыбнулась, нежно погладила меня по руке и после минутного колебания ответила:

— Спасибо, милая кузина, но я уверена, что сегодня буду спать крепким сном.

Еще раз обратиться к ней с таким предложением мне боязно: вдруг она подумает... сама не знаю что. Хорошо ли с моей стороны испытывать подобные чувства? Неужели я, как Нарцисс, влюбилась в собственное отражение?

Четверг, 19 октября

Сегодня дядя Джозайя в кои-то веки не ушел из лавки днем: он ждал какого-то важного клиента и отпустил меня. Люсия, к великой моей радости, пригласила меня с собой на прогулку. Держась под руки, мы дошли до Риджентс-парка и бродили там, пока не приблизились к маленькому гроту со скамеечкой внутри, расположенному в стороне от дорожки. Несомненно, именно здесь в свое время сидели и разговаривали Розина с Феликсом Мордаунтом. Неподалеку от грота находилась и упомянутая в одном из писем кофейная палатка, где хозяйничал древний морщинистый старик — скорее всего, тот же самый: он сказал, что торгует здесь вот уже двадцать семь лет. Было такое ощущение, будто нас обслуживает призрак.

Мы вернулись со своим чаем в грот и сели на скамеечку, рассчитанную на двоих. Наши

плечи соприкасались; я взяла чашку в левую руку, чтоб не задевать локтем Люсию, и придвинулась к ней поближе. А потом вдруг осознала: должно быть, точно такие же чувства испытывала Розина, сидя на этом самом месте рядом с Феликсом Мордаунтом.

— Ты любила когда-нибудь, Джорджина? — спросила Люсия, словно прочитав мои мысли.

Я вздрогнула, едва не расплескав чай, и густо покраснела:

— Нет, пока не встретила с... то есть нет. Нет, не любила.

— Но ведь ты наверняка думала о замужестве. Тебе хочется выйти замуж, родить детей?

— Не знаю даже... едва ли. Правду сказать, я... не очень высокого мнения о мужчинах.

Наша маленькая семья в Нитоне всегда казалась мне совершенно полной, даже после смерти матушки. С возрастом я поняла, что мне хочется *чего-то*, и смутно предположила, что не иначе — радостей супружества. Но я никогда не встречала — и даже не видела — мужчины, которого могла бы вообразить в роли своего мужа. Что же касается детей... как всякая женщина, я должна бы мечтать о детях, но на самом деле у меня нет такой мечты; не могу представить себя матерью. Я чувствую себя вполне... вполне счастливой, сидя здесь с тобой. — Щеки у меня запылали еще жарче. — А ты, Люсия?

— О, я влюблялась в самых разных мужчин, однако, как и ты, ни одного из них не могла представить своим мужем. И я привыкла к свободе, привыкла сама всего добиваться; меня так просто не возьмешь. Мне хотелось бы прожить много жизней и в каждой из них быть другим человеком. Хотелось бы узнать, каково быть богатой, посещать роскошные балы и банкеты, носить умопомрачительные наряды и вызывать у всех восхищение, — но только опыта ради: чтобы выйти на сцену, где собрался весь цвет общества, безусловно сыграть свою роль и незаметно ускользнуть за кулисы. Возможно, однажды мы с тобой вместе продеваем что-нибудь подобное; именно это всегда привлекало меня в профессии актрисы. Но в театре все так искусственно, так манерно, а мне хочется быть актрисой в настоящей жизни. Секрет актерского мастерства, по твердому моему убеждению, заключается в умении *стать* человеком, роль которого исполняешь: не просто *притвориться* тем или иным персонажем, а полностью отринуть свое «я» — как сбрасываешь один костюм, чтобы надеть другой.

— Это все замечательно, но у меня нет актерского дара.

— Я уверена в обратном. Твой дядя постоянно твердит, что не может обходиться без тебя. Так давай докажем, что он ошибается, поменявшись местами на один день. Я стану тобой: буду упаковывать посылки и присматривать за лавкой. А ты наденешь мое переливчато-синее платье, немного, самую малость, подкрасишь лицо — и я бьюсь об заклад, что даже Шарлотта ничего не заметит.

— Хорошо, давай попробуем, — согласилась я, чувствуя взволнованное сердцебиение. — И что ты готова поставить об заклад?

— А что бы ты хотела получить в случае выигрыша?

Я хотела сказать «твое сердце», но лишь покраснела и поднесла к губам чашку, пытаясь спрятать за ней лицо.

— Возможно, твое желание уже сбылось, — тихо промолвила Люсия, дотрагиваясь до моего запястья кончиком затянутого в перчатку пальца. — Завтра мы с тобой поменяемся местами и в случае удачи никому ничего не расскажем. Это будет еще одним нашим секретом до поры до времени.

Суббота, 21 октября

Люсия оказалась права: Шарлотта называла меня «мисс Эрден» с самой минуты, как мы спустились. Тетя Вайда часто повторяла, что пудрой, румянами и помадой пользуются лишь глупые и тщеславные женщины, но, когда Люсия наконец разрешила мне посмотреть в зеркало, признаться, я была потрясена увиденным: она сделала мои глаза темней и ярче, брови тоньше, а скулы резче, но навела грим столь искусно, что я не могла взять в толк, как она добилась такого эффекта. Переливчато-синее платье пришлось мне точно впору. Прежде Люсия лишь раз наблюдала, как я укладываю посылки, но сейчас сноровисто выполнила всю работу, не обращая внимания на дядино раздраженное ворчание. Она даже настояла на том, чтобы я отправилась на прогулку во второй половине дня, пока она будет присматривать за лавкой. Я бы предпочла остаться с ней, но она твердо промолвила:

— Нет, Люсия, ты очень великодушна, но все-таки у тебя должен быть досуг.

Мы продолжали изображать друг друга, даже оставаясь наедине, и я испытывала такое удовольствие от происходящего, что поделилась с Люсией своими чувствами, на мгновение выйдя из роли.

— Вот видишь? — живо откликнулась она. — Я же тебе обещала: это и есть чистая радость актерства. Конечно, мы с тобой настолько во всем похожи, что нам легко поменяться местами. А теперь, Люсия...

Когда она упоминает о нашем разительном сходстве, я не возражаю, потому что мне приятно это слышать, но все же я не уверена, что мы с ней *во всем* похожи. Однако, чем именно мы отличаемся друг от друга, мне непонятно. Люсия по-прежнему остается для меня загадкой — она определенно чего-то недоговаривает, тогда как я с ней предельно откровенна, — и эта ее загадочность восхищает и чарует меня.

Когда подошло время ложиться спать, мы, по обыкновению, обнялись в гостиной у камина — только на сей раз, против обыкновения, она крепко прижалась ко мне и прошептала, почти касаясь губами моего уха:

— Люсия, почему бы тебе не лечь со мной сегодня? Тогда я успокою тебя, если тебе приснится кошмарный сон.

Я уже собиралась воскликнуть: «Ах, Люсия, мне бы очень этого хотелось!» — но вовремя спохватилась, что ведь ответить мне нужно за нее, а не за себя. Сердце у меня упало, слова замерли на языке. Надеется ли она услышать «да»? Или просто мягко укоряет за излишнюю настойчивость? Я осторожно отстранилась от нее. Руки Люсии по-прежнему лежали на моих плечах, на губах играла слабая лукавая улыбка; она пытливо смотрела на меня, как смотрел бы учитель на примерного ученика, запнувшегося при чтении наизусть.

— Спасибо, милая кузина, но я уверена, что сегодня буду спать крепким сном.

Ее улыбка стала шире. Я получила высший балл за ответ, но отказалась от того, чего желала больше всего на свете.

— Доброй ночи, милая кузина, — сказала Люсия, снова притягивая меня к себе, а потом добавила хрипловатым шепотом: — Мы еще сделаем из тебя настоящую актрису. — Легко скользнув губами по моим губам, она повернулась к двери.

Однако, вместо того чтобы направиться к лестнице, Люсия двинулась направо, в сторону моей комнаты, и через несколько секунд я услышала, как открывается и закрывается моя дверь.

Уже спускаясь по лестнице, я вдруг вспомнила про бювар. Ключик висел у меня на шее (Люсия про него не спрашивала, поскольку я всегда прячу цепочку под платьем), но заперла

ли я дневник в бювар и убрала ли последний в ящик стола — или же тетрадь осталась лежать на виду? Может, подняться обратно и проверить? Но если я постучусь, Люсия подумает... В лучшем случае она решит, что мне есть что скрывать от нее. «Ты всегда запирала свой дневник, — сказала я себе. — А не помнишь просто потому, что делаешь это машинально». Я долго топталась на лестнице, безуспешно силясь припомнить, поворачивала ли я сегодня ключик в замке бювара, но потом все-таки с тяжелым сердцем спустилась в спальню Люсии, где почти всю ночь промаялась без сна, то терзаясь сожалением об упущенной возможности (а вдруг она хотела услышать от меня «да» и теперь думает, что я отвергла *ее*?), то испытывая жестокие муки унижения при мысли, что она читает мой дневник. В конечном счете утром я поднялась позже обычного и обнаружила, что спальня моя пуста, бювар заперт на замок и лежит в ящике стола, а Люсия уже внизу, снова в собственном своем образе, и держится так, будто нам никогда и в голову не приходило выдавать себя друг за друга.

Понедельник, 23 октября

Мистер Ловелл наконец прислал мне ответ с извинениями за задержку: мистер Везерелл перенес очередной удар и по состоянию здоровья полностью отошел от дел, препоручив всех своих клиентов заботам мистера Ловелла. Письмо доставили, когда мы с Люсией завтракали; она с живым нетерпением наблюдала за мной, пока я вскрывала конверт, но лицо у нее вытянулось от разочарования, едва я принялась читать вслух:

«К глубокому моему сожалению, распоряжения вашей покойной матери решительно воспрепятствуют мне передавать вам пакет по вашей просьбе. Вы говорите, что в силу неких вновь возникших обстоятельств вам стало жизненно необходимо увидеть все прочие бумаги; позвольте осведомиться, о какого рода обстоятельствах идет речь? Следует добавить, что оставшаяся часть вашего наследства состоит из единственного запечатанного пакета. Помимо того, что в нем лежат какие-то бумаги или документы, я ничего не могу сказать о его содержимом. Пожалуй, я не нарушу воли моей доверительницы, если сообщу вам, что в случае вашей смерти — или неких иных событий, разглашать характер которых мне строго возбранено, — пакет надлежит уничтожить не вскрывая. Коли у вас имеются какие-либо распоряжения на любой другой предмет, я почту за честь оные выполнить...»

— Глупо было надеяться, — вздохнула Люсия с таким горестным видом, что у меня сердце сжалось от жалости.

— Не отчаивайся, Люсия. Ты обязательно увидишь бумаги, даже если для этого мне придется нанять грабителя, чтоб выкрал пакет из конторы мистера Ловелла. Впрочем, услуги грабителя нам не потребуются; ты же сама видишь, мой поверенный понемногу сдает позиции. Он уже просит уточнить, какие «вновь возникшие обстоятельства» я имею в виду, а это явный намек. Люсия, нам непременно надо написать мистеру Ловеллу о нашем с тобой знакомстве — уверена, оно имеет самое прямое отношение к условию, оговоренному в завещании.

— Может статься, ты и права, — согласилась Люсия, — но я предпочла бы лично встретиться с ним... хотелось бы убедиться, что он человек благоразумный и умеет хранить молчание.

— Так давай съездим к нему в Плимут.

— Но твой дядя... он страшно расстроится.

— Дяде Джозайе скоро предстоит вообще обходиться без нас.

— Но нельзя же так сразу; ты должна подготовить старика и сообщить о своем решении

деликатно, ради собственного же спокойствия. А что подразумевает мистер Ловелл под «некими иными событиями»? Возможно, твоя матушка распорядилась уничтожить пакет в случае, если о нем будет спрашивать кто-то, кроме тебя... И есть еще один способ. Какой смысл пользоваться услугами поверенного, проживающего в Плимуте? Почему бы не найти юриста здесь, в Лондоне, и не попросить мистера Ловелла переслать пакет ему? Нового человека будет гораздо проще убедить.

Мне такое не приходило в голову. Предложение казалось разумным, однако все мое существо восстало против него.

— Но смена поверенного как раз и может быть одним из упомянутых «иных событий», — возразила я, пытаюсь оправдать свое нежелание последовать совету Люсии. — Мистер Ловелл хочет помочь нам, я уверена. Если я письменно сообщу ему под строжайшим секретом, что мы с тобой познакомились и что ты дочь Розины Вентворт, состоявшей в браке с Жюлем Эрденем, — какой вред может выйти из этого?

— Ну... сама не знаю, чего боюсь, — неловко проговорила Люсия. — Вот если бы я встретила с твоим поверенным, я бы поняла, можно ли доверить ему мою тайну...

— Нам нет необходимости рассказывать *все*. Мистер Ловелл не знает, что находится в пакете; для него имеет значение лишь то, что ты законная дочь Жюля Эрдена, женившегося на Розине Вентворт во Франции. Ничего сверх этого мама не стала бы сообщать.

— Но вдруг мы ошибаемся и в завещании оговаривается совсем другое условие?

— В таком случае я поеду в Плимут и заявлю мистеру Ловеллу, что не уйду из конторы, пока не получу пакет.

— Ты права. — Люсия глубоко вздохнула и решительно вскинула голову. — Я понимаю, что веду себя глупо... просто... А давай вместо тебя в Плимут поеду я? В конце концов, мистер Ловелл никогда с тобой не встречался.

— Но, Люсия, вдруг он попросит тебя подписать какие-нибудь документы?

— Уверена, я сумею воспроизвести твою подпись, если немного попрактикуюсь.

— Нет, моя дорогая, так не пойдет. Если мистер Ловелл хотя бы заподозрит неладное, он наверняка уничтожит бумаги и даже может отправить тебя в тюрьму. Нет-нет, в Плимут поеду я — и обернусь за сутки, — а ты, если не возражаешь, опять притворишься мной, тогда дяде Джозайе будет не на что жаловаться. Ты совершенно права: надо дать старику время свыкнуться с мыслью о скором расставании со мной и найти помощника в лавку, но я поставлю его в известность сразу по возвращении из Плимута. И обещаю тебе, Люсия: если у меня возникнут хоть малейшие сомнения в надежности мистера Ловелла, он не узнает о твоём существовании.

— Но как же ты тогда убедишь его отдать пакет?

— Не волнуйся, Люсия. Мистер Ловелл хочет помочь нам, сердцем чую. Вот увидишь, я вернусь не с пустыми руками.

Ее лицо по-прежнему хранило встревоженное выражение, но моей уверенности с избытком хватило бы на двоих, и уже часом позже мое письмо к мистеру Ловеллу находилось в почтовой конторе.

Среда, 25 октября

Мистер Ловелл ответил со следующей почтой — добрый знак. Он назначил мне встречу в понедельник в два часа пополудни; даже посоветовал, каким поездом удобнее ехать, и порекомендовал остановиться в маленькой частной гостинице Даулиша, расположенной

всего в пятидесяти ярдах от его конторы. Я надеялась вернуться вечером того же дня, но лондонский курьерский отбывает из Плимута в четыре сорок две, и я не уверена, что успею на него, — возможно, мне не хватит одного визита, чтобы убедить мистера Ловелла отдать пакет.

Люсия весь день пребывала в подавленном настроении. Когда я принималась уговаривать ее поехать со мной, она всякий раз заверяла, что совсем не против остаться здесь с дядей Джозайей. «Все в порядке, просто на душе как-то тяжело, но это пройдет», — снова и снова повторяла она. Наконец, когда мы уже собирались ко сну, я заключила Люсию в объятия и умоляюще попросила объяснить, что же такое с ней творится.

— Нет-нет, все хорошо, разве только... Я не вправе ничего требовать, но мне очень хотелось бы находиться рядом, когда ты вскроешь пакет.

— Ты имеешь полное на это право! — воскликнула я, упрекая себя за недогадливость. — Поедем со мной, и мы вскроем пакет вместе.

— Нет, одна из нас должна остаться с твоим дядей.

— Тогда я не стану вскрывать пакет до своего возвращения.

Люсия просветлела лицом и горячо поцеловала меня:

— Спасибо, Джорджина! Значит, мы скажем твоему дяде завтра утром, что мне надо ненадолго отлучиться? К слову, почему бы тебе не путешествовать под моим именем? Я про гостиницу говорю, а не про встречу с поверенным, разумеется. Ты наденешь мою одежду и возьмешь мой чемодан — тогда иллюзия будет полной, даже Шарлотта ничего не заподозрит.

Частная гостиница Даулиша,

Джордж-стрит, Плимут

Вторник, 30 октября

Столько всего надо написать, но начать следует с рассказа о встрече с мистером Ловеллом, пока она еще свежа в моей памяти. Адвокатская контора размещается в высоком узком здании из бурого камня; пожилой клерк поднялся со мной на третий этаж, и там на лестничной площадке меня сердечно приветствовал сам мистер Ловелл. Интуиция меня не обманула: он высокий, долговязый, свежий лицом и выглядит не старше двадцати пяти лет, хотя я думаю, ему по меньшей мере тридцать. Вдоль трех стен у него в кабинете тянутся книжные полки, на которых представлено поистине удивительное собрание предметов: камни, ракушки, птичьи яйца, десятки пресс-папье, рыболовные крючки, медные инструменты, куски цветного стекла, декоративные вещицы всех форм и размеров, а равно книги, втиснутые как попало. Стол был завален горами бумаг попеременно с книгами, многие из которых лежали раскрытые, обложкой вверх. На свету у окна стояло кресло.

— Боюсь, у нас тут все еще царит полнейший хаос, мисс Феррарс, — промолвил он, подводя меня к креслу.

Я не могла не заметить, что Генри Ловелл весьма привлекателен. У него густые белокурые волосы, слегка растрепанные, и длинное, чисто выбритое лицо; кожа на подбородке чуть красноватая, словно раздраженная бритвой. Его костюм — коричневая пара из грубого твида, с кожаными заплатками на локтях — более приличествовал бы какому-нибудь неотесанному фермеру. Молодой человек подтащил по ковру стул, уселся, вернее, живописно расположился на нем, и следующие несколько минут мы разговаривали о моем путешествии и болезни мистера Везерелла: несмотря на оброненное мистером Ловеллом

замечание о «все еще царящем хаосе», скоро стало ясно, что он вот уже несколько лет ведет почти всю практику (наследственное дело моей матушки было одним из немногих, которыми мистер Везерелл занимался самолично) и что у него в кабинете всегда такой беспорядок.

К концу нашей светской беседы я исполнилась решимости поведать мистеру Ловеллу все, кроме тайны рождения Люсии, которую я обещала не раскрывать, покуда у меня остается хоть малейшая возможность заполучить в свои руки матушкины бумаги. Он внимательно, не перебивая, выслушал мой рассказ, хорошо продуманный по дороге в Плимут: как Розина сбежала от жестокого и грубого отца, вышла замуж за Жюля Эрдена во Франции (о Феликсе Мордаунте я не упомянула) и впоследствии всегда отказывалась говорить о своем детстве.

— Так что вы сами понимаете, мистер Ловелл, — в заключение сказала я, — почему я уверена, что моя матушка хотела бы, чтобы пакет оказался в моем распоряжении теперь, когда мы с кузиной встретились.

Несколько долгих секунд мистер Ловелл молчал, не сводя с меня встревоженного взора, а потом наконец произнес:

— Мне очень жаль, мисс Феррарс, но распоряжения вашей покойной матери совершенно недвусмысленны, и оговоренное в завещании условие не имеет никакого отношения к вашей кузине, мисс Эрден. Я ни минуты не сомневаюсь в том, что ваша матушка действительно хотела бы, чтобы вы получили пакет в свое владение при описанных вами обстоятельствах, но — увы! — закон вынуждает меня исполнять письменно выраженную волю, а не предполагаемые желания завещателя.

— Но в таком случае, мистер Ловелл, вы же можете хотя бы сказать мне, в чем состоит условие, оговоренное в завещании?

— Боюсь, нет. Ваша матушка, как я уже говорил, отдала распоряжения ясные и недвусмысленные. Пока ваши обстоятельства не изменятся неким вполне определенным образом, я не вправе ни отдать вам пакет, ни раскрыть подробности завещания. Если бы я не совершил непростительную ошибку, отослав вам письма Розины Вентворт, вы бы вообще не узнали о существовании пакета.

— Пока мои обстоятельства не изменятся неким вполне определенным образом, — задумчиво повторила я.

— Да, совершенно верно.

— Но если они вдруг изменятся, мистер Ловелл, как вы об этом узнаете, если моя матушка не пояснила вам, что именно имеет в виду? Значит, она пояснила?

— Ну... да, — неловко промямлил он. — Право слово, мисс Феррарс, мне не следует обсуждать с вами все это...

— Понимаю ваши чувства, мистер Ловелл, но я тоже ваша клиентка.

— Да... что ставит меня в очень затруднительное положение. — Он криво улыбнулся, и мне показалось, будто улыбкой этой он поощряет меня к дальнейшим рассуждениям.

Пока ваши обстоятельства не изменятся... Ну конечно! Как же я сразу не догадалась? Внезапно на память мне пришли слова тети Вайды, произнесенные на смертном ложе: «Ты девушка красивая... у тебя будут поклонники с серьезными намерениями... напиши мистеру Везереллу... сообщи, за кого выходишь замуж. Он объяснит... какие бумаги нужно составить...»

— Я поняла, в чем заключается условие, мистер Ловелл. Я получу пакет, когда выйду

замуж или обручусь.

Вид у него сделался положительно несчастный.

— Ну... да, но...

— Но?

— Насколько я понимаю, мисс Феррарс, — сказал мистер Ловелл, бросив взгляд на мою левую руку, — вы не обручены... и не собираетесь обручиться в ближайшее время?

— Безусловно, нет.

— В таком случае, боюсь, я никак не могу отдать вам пакет.

— Но если бы я собиралась обручиться...

«С каким-нибудь любезным молодым человеком, который согласится сыграть роль моего жениха, — пронеслось у меня в уме. — С другой стороны, почему бы такового просто не выдумать?»

— Тогда вам следовало бы письменно известить меня, да. Но сама по себе помолвка, скорее всего, — почти наверняка — не удовлетворит условию, оговоренному в завещании. Больше я ничего не могу добавить, мисс Феррарс...

Почти наверняка... «Сообщи, за *кого* выходишь замуж», — сказала тогда тетя Вайда...

— Я получу пакет, если обручусь с каким-то конкретным человеком, — твердо произнесла я. — Мистер Ловелл, вы очень мне помогли, — может, вы сделаете последний шаг и скажете, о ком идет речь?

— Это совершенно исключено, мисс Феррарс. Я вышел так далеко за рамки дозволенного потому лишь, что именно по моей случайной вине у вас в руках оказались письма Розины Вентворт. Но одно дело — допустить оплошность по неосмотрительности, и совсем другое — сознательно нарушить свои обязательства перед клиентом. За такие вещи лишают адвокатской практики.

Последовало короткое молчание. Наши глаза встретились, и я ободряюще улыбнулась:

— Но, мистер Ловелл, вы не нарушите своих обязательств перед моей матушкой. Мне совершенно необходимо — ради собственного моего спокойствия и ради спокойствия Лю... мисс Эрден — увидеть содержимое пакета. И будь моя матушка здесь сейчас, она сказала бы вам то же самое.

— Вы вполне в этом уверены, мисс Феррарс?

— Разумеется, мистер Ловелл. Не думаете же вы, что я не знаю, чего желала бы моя родная мать?

— Я о другом: уверены ли вы, что обретете спокойствие, увидев бумаги?

— В своем письме, мистер Ловелл, вы сказали, что содержимое пакета вам неизвестно.

— Так и есть. Но... нет-нет, мне очень жаль, но это решительно невозможно. В самом деле, мисс Феррарс, больше мне нечего добавить. Не угодно ли вам чаю?

— Да, благодарю вас.

— В таком случае позвольте отлучиться на минутку. — Он с нескрываемым облегчением встал и покинул комнату.

Мне нужно всего лишь задать правильный вопрос, подумала я. Может, матушка не хотела, чтобы я вышла замуж за какого-то конкретного человека, — или не хотела, чтобы я вышла за него замуж, не прочитав прежде остальные бумаги? За некоего человека, наверняка имеющего отношение к Розине и Люсии, Томасу Вентворту и Феликсу Мордаунту... Мог ли Томас Вентворт жениться вторично и произвести на свет сына? Но тогда к чему такая секретность? Почему мама или тетя Вайда просто не предостерегла меня против брака с

ним? И почему, спрашивается, матушка опасалась, что из всех мужчин королевства я выберу именно его? Она запечатала пакет по меньшей мере десять лет назад: к настоящему времени он вполне мог жениться на другой. Или умереть.

И было еще что-то... что-то, сказанное мистером Ловеллом в последнем письме, которое я привезла с собой. «В случае вашей смерти — или неких иных событий, разглашать характер которых мне строго возбранено, — пакет надлежит уничтожить не вскрывая». *Неких иных событий...* Безусловно, речь идет о смерти этого человека. Значит, сейчас он жив!

Но в письме говорится о «событиях», во множественном числе. Догадка осенила меня за мгновение до того, как мистер Ловелл вернулся и снова уселся напротив меня.

— Чай сейчас подадут, — промолвил он, беспокожно взглянув на листок, лежащий у меня на коленях.

— Прошу прощения за назойливость, — сказала я, — но я уже догадалась о столь многом, что вы вполне можете рассказать мне все остальное. Вам предписано отдать мне пакет единственно в том случае, если я обручусь с неким конкретным человеком... — (При этих моих словах мистер Ловелл неуловимо переменялся в лице.) — А если он умрет — или если я сочетаюсь браком с любым другим мужчиной, *кроме* него, — вам надлежит уничтожить пакет не вскрывая. Я права?

Он застонал и обеими руками взъерошил волосы:

— Я сам во всем виноват, мисс Феррарс. Как говорится, сам себе вырыл яму. Но я не могу ответить на ваш вопрос.

— Тогда мне остается лишь посочувствовать вам, мистер Ловелл, поскольку я поклялась, что не уеду из Плимута без пакета.

— Вы чрезвычайно настойчивая девушка, мисс Феррарс. — Он страдальчески улыбнулся.

— Вероятно, вы находите мое поведение неприличным...

— Я такого не говорил, мисс Феррарс, и не подразумевал. Совсем напротив, — горячо сказал он, — вы в полном праве настаивать. Но факт остается фактом: должностная присяга обязывает меня держать пакет в своем владении до тех пор, покада не будут выполнены условия, поставленные вашей матерью.

— Но, мистер Ловелл, если она имела намерение предотвратить мой брак с этим мужчиной, неужто она не пожелала бы, чтобы вы назвали его имя сейчас, когда уже открыли мне столь многое?

— Из вас вышел бы адвокат лучше некуда, — вздохнул он, снова ероша руками волосы. — Но все, что я могу сделать — руководствуясь искренним чувством, а не профессиональными соображениями, — это посоветовать вам всецело положиться на здравый смысл вашей матери. По крайней мере, моя оплошность послужила хоть к какой-то пользе: вы встретились со своей кузиной, к которой, судя по всему, питаете глубокую привязанность. На самом деле... я прав в своем предположении, что вы здесь скорее ради нее, нежели ради себя?

— Ради нас обеих, — ответила я, отводя взгляд в сторону и заливаясь краской.

— Но даже принимая во внимание все сказанное вами, мисс Феррарс, я решительно не понимаю, каким образом счастье вашей кузины может зависеть от содержимого пакета. Я настоятельно советую вам довериться вашей матушке и оставить все как есть... О, благодарю вас, мистер Причард! — воскликнул он, вскакивая со стула и обращаясь к

пожилому клерку, возникшему в дверях с подносом.

Я обрадовалась передышке, поскольку еще не решила, как действовать дальше. Внутренний голос говорил мне, что я ничего не добьюсь, даже если открою поверенному тайну Люсии. Мне нужно либо самой угадать имя человека, за которого мне нельзя выходить замуж, либо выпытать его у мистера Ловелла — но как это сделать?

— Вы всегда жили в Плимуте, мистер Ловелл? — спросила я, когда он опять уселся.

Выражение облегчения, появившееся у него на лице, было почти комичным, и следующие несколько минут он рассказывал о себе, отвечая на мои вопросы. Он действительно вырос в Плимуте и до недавнего времени жил со своими родителями — его отец тоже держал адвокатскую контору — и двумя младшими сестрами, а две замужние сестры и брат жили в пределах двадцати миль от города. Родители несколько месяцев назад переехали в деревню Носс-Мейо, оставив мистера Ловелла в холостяцкой квартире неподалеку от набережной Хоу. Обо всех своих близких мистер Ловелл говорил с большой любовью, и складывалось впечатление, что жизнью своей он совершенно доволен.

— Но, мисс Феррарс, — вдруг спохватился он, — я совсем забыл о своих обязанностях. Не для того же вы проделали такой путь, чтобы выслушивать мою болтовню.

— Мне интересны ваши рассказы про близких. Но действительно, у меня есть к вам еще одно дело, никак не связанное с завещанием.

— Вам нужно лишь сказать, в чем оно заключается.

— Я хотела бы узнать кое-какие сведения о двух людях: выяснить, живы ли оба, и если да, то где обретаются. Но ни один из них не должен знать о моем расследовании.

Лицо мистера Ловелла, прояснившееся при словах «не связанное с завещанием дело», снова вытянулось.

— О ком именно идет речь?

— Один из них — Томас Вентворт, — медленно проговорила я, пристально глядя на него, — отец Розины Вентворт.

— Пожалуй, здесь я сумею вам помочь, — нерешительно произнес он. — Что еще вы можете рассказать о нем?

— Он был человеком богатым — каким-то предпринимателем или финансистом — и жил на Портленд-плейс, по крайней мере с пятьдесят девятого по шестидесятый год. Его старшая дочь Кларисса сбежала из дома летом пятьдесят девятого; она и ее любовник, некий Джордж Харрингтон... оба погибли вследствие несчастного случая в октябре того же года; сообщение об этом было в «Тайме».

— Понятно. — Мистер Ловелл взял со стола листок бумаги и черкнул на нем несколько строк, с видом обеспокоенным, но не сказать чтобы очень уж встревоженным. — А другой?

— Феликс Мордаунт из Треганнон-хауса в Корнуолле.

На сей раз мистер Ловелл испытал явное потрясение; он низко склонился над листком, прилежно записывая, но раздраженная кожа у него на челюсти внезапно посерела.

Я отгадала загадку, но по-прежнему оставалась в глубоком недоумении. Феликс Мордаунт мог быть отъявленным распутником, но с чего вдруг матушка вообразила, что из всех мужчин королевства я выберу в мужа именно его?

— Можно полюбопытствовать, почему он вас интересуется? — спросил мистер Ловелл, не поднимая глаз от листка.

Я хотела сказать: «Потому что он тот самый человек, которого назвала в завещании моя

мать», но в последний момент сообразила, что не знаю этого наверняка.

— О... он дальний свойственник семьи, — ответила я со всем спокойствием, какое сумела изобразить. — Тетушка несколько раз упоминала его имя — оно вам знакомо, мистер Ловелл?

Он вскинул голову, покраснев от досады:

— Если вы *знали*, мисс Феррарс, то зачем же?.. — и осекся, пораженный догадкой.

— Уверю вас, мистер Ловелл, до встречи с вами я не имела ни малейшего подозрения. И ни за что не угадала бы имя, если бы вы сами не подвели меня к правильному ответу. Но теперь, когда вы *сказали* мне...

Мистер Ловелл снова испустил стон и взъерошил волосы столь яростно, что я испугалась, как бы он не выдрал пару пучков.

— Вы хотя бы объясните, — наконец проговорил он, — на каком основании вы пришли к такому заключению?

— Я не могу сделать это, не выдав чужую тайну, мистер Ловелл. Но я точно знаю, почему моя матушка не хотела, чтобы я вышла замуж за этого человека... — (тут он опять неувовимо переменялся в лице), — и могу заверить вас, что наше с кузиной счастье зависит от вашего согласия отдать мне пакет, как велела бы вам моя матушка, находишься она сейчас здесь. Я обещаю вам — поклянусь на Библии, коли хотите, — что никто на свете, кроме меня и мисс Эрдэн, никогда не узнает, что вы передали мне бумаги.

Мистер Ловелл откинулся на спинку стула, взбалтывая остатки чая в чашке.

— Признаться, мисс Феррарс, я просто не знаю, как поступить. Мне иногда кажется, что зря я подался в юристы... Но факт остается фактом: условия, оговоренные в завещании, на сегодняшний день не выполнены, и я еще раз настоятельно советую вам положиться на здравое суждение вашей матери. Вы говорите, что от моего согласия зависит ваше счастье, но ведь вам, как и мне, неизвестно содержимое пакета, и вы можете ошибаться.

— Мне очень жаль, мистер Ловелл, но я не отступлюсь от своего решения.

— Этого я и боялся. Вы позволите мне взять двадцать четыре часа на раздумье?

— Я смогу увидеться с вами утром? Мне хотелось бы вернуться домой завтра же вечером.

— Увы, все утро у меня занято. Но я освобожусь самое позднее к половине третьего.

Мистер Ловелл встал и подал мне руку, приятно теплую и сухую; несколько мгновений мы стояли, держась за руки и улыбаясь друг другу.

— Вы были очень любезны, — сказала я, выходя с ним на лестничную площадку, — и чрезвычайно терпеливы — гораздо более терпеливы, чем я заслуживаю.

— Напротив, мисс Феррарс, это я восхищен вашей выдержкой. Итак, жду вас завтра, в половине третьего.

Только спустившись до второго этажа, я осознала, что еле держусь на ногах и вся дрожу от волнения.

На часах лишь девять вечера, но в гостинице стоит полная тишина — оно и неудивительно, поскольку, кроме меня, здесь всего один постоялец. Комната моя просторна и очень уютна: хозяйка гостиницы миссис Гиффорд — пожилая дама с белоснежными волосами, уложенными в затейливейшую прическу, — в высшей степени услужлива. Из моего окна видна вереница газовых фонарей, протянувшаяся вдоль пустынной улицы в одну и другую сторону.

Записав со всей возможной точностью разговор, состоявшийся в адвокатской конторе, я надела плащ и вышла на улицу с намерением прогуляться до набережной Хоу и полюбоваться морем. Но уже начинало смеркаться, в воздухе веяло вечерней прохладой, а потому я дошла только до телеграфной конторы на Ройял-Парейд, чтобы сообщить Люсии: рассчитываю, мол, вернуться домой завтра вечером (очень было странно отправлять телеграмму на собственное имя). По моем возвращении миссис Гиффорд, без дела сидевшая в холле, пригласила меня выпить чаю у камина в общей гостиной. Я хотела было отказаться, но потом мне пришло в голову, что она может знать что-нибудь о семействе Мордаунт.

Общая гостиная здесь выглядит уныло, как большинство помещений такого рода; за время путешествий с тетей Вайдой я повидала с полдюжины таких комнат, заставленных креслами и диванами эпохи Регентства, обитыми выцветшим плюшем, с обязательными подножными скамейками и маленькими столиками при каждом из них, с тяжелыми темно-малиновыми портьерами на окне и отваливающимися обоями, тоже выцветшими и тоже эпохи Регентства. Но огонь в камине весело потрескивал, и во избежание расспросов о себе (мне *необходимо* научиться откликаться на имя «мисс Эрден» без малейшего колебания) я сразу же поинтересовалась у миссис Гиффорд, знает ли она Мордаунтов из Треганнон-хауса.

— Мордаунты, Мордаунты... Нет, не припомню что-то, — ответила она, присаживаясь в кресло рядом со мной. — Но вот Треганнон звучит знакомо. Так называется психиатрическая лечебница в окрестностях Лискерда.

«Значит, Эдмунд Мордаунт все-таки настоял на своем», — подумала я и сказала:

— Наверное, это и есть Треганнон-хаус. А где находится Лискерд?

— Милях в двадцати к западу от Плимута, мисс Эрден, на самой границе Бодминской пустоши.

— Думаю, лечебницей Треганнон владеет семейство Мордаунт. — Еще не договорив, я заметила краем глаза, что в комнату кто-то вошел.

— О миссис Ферфакс! — Хозяйка вскочила на ноги. — Не изволите ли испить чаю с нами? Мисс Эрден, миссис Ферфакс.

Я разминулась с этой дамой на лестнице нынче днем, когда направлялась в контору мистера Ловелла. У нее по-девичьи стройная фигура и темно-каштановые волосы без малейшей седины, но лицо изможденное, с глубокими складками у рта и синеватыми сморщенными мешочками под блестящими, почти черными глазами.

Пока мы обменивались приветствиями, в гостиную вошла служанка и шепнула что-то миссис Гиффорд.

— К сожалению, я должна вас покинуть, — промолвила хозяйка. — Вы здесь располагайтесь, а Марта сейчас принесет еще одну чашку.

Вести светские беседы с миссис Ферфакс мне не хотелось, но уйти сейчас было бы невежливо, поэтому я опустила обратно в кресло.

— Очень уютная гостиница, вы не находите, мисс Эрден?

— Да, чрезвычайно.

— И такой чудесный вид на город. Я живу в седьмом номере, этажом выше вас. Вы надолго в Плимут?

— Нет... то есть пока не знаю. А вы, миссис Ферфакс?

— Я думаю задержаться здесь еще на пару дней... Прошу прощения, мисс Эрден, — она заговорила приглушенно, — надеюсь, вы не сочтете меня навязчивой, но я невольно услышала, что вы упомянули психиатрическую лечебницу Треганнон.

У нее был чуть хрипловатый мелодичный голос, показавшийся мне смутно знакомым. Наверное, она разговаривала в холле с миссис Гиффорд перед тем, как мы встретились на лестнице сегодня.

— Да, совершенно верно.

— Я не собираюсь совать нос не в свое дело, боже упаси. Просто, знаете ли... я только что навещала там одну свою дорогую подругу.

Я приняла участливый вид, пытаясь сообразить, следует ли мне выразить соболезнование.

— О, это вовсе не тягостная обязанность, — улыбнулась миссис Ферфакс. — Моя подруга — добровольная пациентка и может покинуть клинику, когда пожелает. У нее предрасположенность к нервному истощению, и она уверяет, что месяц в лечебном заведении Треганнон равносителен отдыху в Баден-Бадене.

— Значит, это не сумасшедший дом?

— О, там содержатся и душевнобольные — отдельно от добровольных пациентов, — но с ними очень хорошо обращаются. Доктор Стрейкер, главный врач, премного гордится тем, что управляет самой гуманной и просвещенной психиатрической клиникой в стране.

— А владеет ею семейство Мордаунт, — решила заметить я.

— Да, мисс Эрден. Вы с ними знакомы?

— Нет, — ответила я слишком поспешно. — Я... э-э-э... одна моя подруга состоит в дальнем родстве с ними. А вы, миссис Ферфакс, вы знаете Мордаунтов?

— Нет, лично не знаю. Но моя хорошая знакомая общалась с мистером Эдмундом Мордаунтом, нынешним владельцем, правда дело было несколько лет назад. Я слышала, у него сдает сердце и в последнее время он редко появляется в обществе.

— Он живет в клинике?

— О да. Поместье уже много веков принадлежит Мордаунтам... но, вероятно, вам это известно, — добавила она, устремляя на меня пытливый взгляд, который, казалось, говорил: «Поверь мне, доверься». Зрачки у нее блестели, словно полированный гагат, и них горели точечные блики огня.

— Подруга немного рассказывала мне о них, — промолвила я возможно небрежнее. — Она упоминала некоего Феликса Мордаунта. Вы о таком слышали?

— Нет, пожалуй... если только вы не имеете в виду Фредерика Мордаунта, племянника Эдмунда Мордаунта. Очаровательный молодой человек; моя подруга на него не нахвалится. Он состоит в должности личного помощника доктора Стрейкера и, по всей видимости, унаследует поместье.

— Значит, у Эдмунда Мордаунта нет своих детей?

— Нет, он никогда не состоял в браке.

— А Фредерик Мордаунт?

— Он тоже холостяк, мисс Эрден... причем весьма завидный, — добавила она, глянув на мою левую руку.

— Нисколько в этом не сомневаюсь, — машинально сказала я и тотчас вспомнила, как мистер Ловелл переменялся в лице при словах «моя матушка не хотела, чтобы я вышла замуж за этого человека»... этого человека, *этого* человека... Внезапно меня осенило: да ведь миссис Ферфакс сейчас дала мне ключ от сейфа мистера Ловелла!

— Мисс Эрден?

Я осознала, что вот уже добрую минуту сижу, отрешенно уставившись в огонь.

— Покорно прошу прощения. Я несколько рассеянна... мысли заняты одним семейным делом.

— Ах, ради бога, не извиняйтесь, — сказала миссис Ферфакс задушевым тоном, располагающим к доверительным признаниям.

Я не нашлась что ответить, и между нами наступило неловкое молчание, продолжавшееся до возвращения миссис Гиффорд и служанки с чайным подносом.

Едва переступив порог гостиницы, я поняла, что совершила большую ошибку, назвавшись мисс Эрдэн. Позаимствовать историю жизни у Люсии я не могла, поскольку тогда она вся извелась бы от тревоги; мне предстояло играть роль сироты, еще в младенчестве потерявшей своих родителей и с тех пор проживавшей с двоюродной бабушкой в разных уголках страны. Но Люсия переоценила мои способности: я уже допустила несколько противоречивых высказываний и теперь боюсь, что миссис Ферфакс подозревает меня во лжи. Во время чаепития возник еще один неловкий момент, когда миссис Гиффорд предложила нам с миссис Ферфакс отужинать вместе, раз уж мы единственные постоялицы. Путешествуй я под своим именем, я бы непременно ухватилась за возможность поподробнее расспросить свою новую знакомую о Мордаунтах, а так я замялась и не знаю даже, как стала бы выпутываться, если бы миссис Ферфакс не сообщила, что сегодня ужинает с друзьями. Спускаясь в столовую залу вечером, я снова встретилась с ней на лестнице, — надо полагать, она шла в свою комнату переодеться.

Над крышами напротив восходит луна; со времени отъезда из Нитона я толком не видела луны, да еще такой ясной. Завтра собираюсь посетить Неттлфорд. Через залив курсирует паром до Тернчепела, а там еще мили три пешком вдоль берега; если я тронусь в путь сразу после завтрака, то вернусь задолго до половины третьего. Надеюсь, Люсия не обидится, что я не стала ждать дня, когда мы сможем навеститься туда вместе. Лучшего способа скрасить томительное ожидание не придумаешь; и конечно же, она поощрила бы такое мое желание, как поощрила бы я, возникни оно у нее на моем месте.

Счастье мое было бы полным, находишь Люсия рядом со мной сейчас. Но уже завтра вечером я вернусь домой с пакетом, и мы вместе его вскроем. А потом мы покинем Гришем-Ярд и никогда больше не расстанемся. В ночь перед моим отъездом, лежа рядом со мной в постели, она сказала: «Не тревожься за меня, дорогая: что бы там ни выяснилось, в любом случае нам обоим станет легче, ведь *знать* всегда лучше, чем пребывать в неведении».

Странно, что ссора может принести такое счастье — ну пускай не ссора, а легкая размолвка, причем затеянная не мной, но все равно чрезвычайно огорчительная. Произошло это незадолго до отхода ко сну; мы с Люсией упаковывали чемодан у нее в комнате и уже собирались закрыть его, когда я вдруг вспомнила про бьювар и брошь и сказала, что сейчас сбегая за ними.

— Но так ты все испортишь! — резко возразила Люсия. — Шарлотта догадается, в чем дело, если заметит их отсутствие.

— Извини, Люсия, — мягко промолвила я, — но я никогда с ними не расстаюсь. Ведь это все, что у меня осталось после постигшего нас с тетушкой несчастья, — (как ты сама прекрасно знаешь, чуть было не добавила я), — и Шарлотта ничего не узнает, поскольку бьювар и брошь у меня всегда хранятся под замком в ящике письменного стола.

Люсия вспыхнула от гнева, сверкнула глазами и открыла было рот, чтобы возразить мне, но потом круто повернулась и стремительно вышла из комнаты. Я услышала, как она

взбегает по лестнице и хлопает дверью моей спальни. Сердце мое болезненно стеснилось, и я бессильно опустилась на кровать, терзаемая душевной мукой.

Спустя, казалось, целую вечность ее рука ласково легла мне на плечи. Подняв затуманенный слезами взор, я увидела, что Люсия принесла бьювар и брошь.

— Прости меня, Джорджина, — прошептала она, притягивая меня ближе. — Когда дело доходит до исполнения роли, я становлюсь настолько требовательна к мельчайшим деталям, что порой забываюсь. Конечно, ты должна взять бьювар и брошь с собой.

Я позволила поцеловать себя, но отдаться объятиям не смогла. Люсия нежно взяла меня за плечи и развернула к себе лицом. Мое счастье в твоих руках, подумала я, но можешь ли ты сказать мне то же самое?

— Мне ужасно жаль, дорогая, — сокрушенно проговорила она. — Я не хотела... знаю, что это глупо, но я с ума схожу от тревоги за тебя; если с тобой что-нибудь случится, я просто не вынесу.

— Тогда поедем с мной. Еще не поздно.

— Нет, так тебе будет только тяжелее — я имею в виду, когда придет время сказать твоему дяде, что мы собираемся жить вместе, — а я не могу этого допустить. Знаю, я веду себя глупо. Но... можно мне лечь с тобой сегодня?

— Конечно! — воскликнула я, мигом забыв о своих переживаниях. — Но что насчет Шарлотты?

— Мне нет никакого дела до Шарлотты. Я хочу провести ночь с тобой здесь, в моей постели.

Когда я расчесывала ей волосы, глядя на ее отражение в зеркале, я вдруг с изумлением осознала, что во внешности Люсии что-то изменилось с нашей первой ночи, но не сразу поняла, что именно. Туалетный столик у нее такого же размера и такой же формы, как у меня; свечи размещаются примерно так же, как тогда; обе мы в тех же самых ночных сорочках — и тем не менее... А потом до меня дошло: в тот первый раз я была совершенно ошеломлена нашим сходством и ничего, кроме него, не видела; теперь же я замечала лишь едва уловимые различия между нами: в разрезе и посадке глаз, в очертании скул, в выражении лица... Никакой я не Нарцисс, подумала я, преисполняясь радостью. Мы с ней *разные*, вот почему нас влечет друг к другу. Наши взгляды встретились в зеркале, и Люсия изобразила губами поцелуй, словно угадав мои мысли.

— Люсия, где бы тебе хотелось поселиться?

— А тебе, милая?

— Где-нибудь у моря. Но я буду счастлива там, где будешь счастлива ты.

— Ты прямо говоришь моими словами. Раньше я думала — и, помню, сказала тебе в первый же день нашего знакомства, — что хочу лишь одного: прочно обосноваться в одном месте и никогда уже не уезжать оттуда. Но на самом деле я всегда хотела *этого*... — Она взяла мою руку и прижала к своей груди. — И где бы мы с тобой ни жили вместе, здесь всегда будет наш дом.

Ее грудь волновалась под моей ладонью; сердце у меня так и заходило. Люсия встала и оказалась в моих объятиях; наши тела слились, наши губы соприкоснулись и разомкнулись, и меня захлестнуло невыразимое блаженство. Мои руки двигались словно по собственной воле, лаская, исследуя, замирая, восхищаясь. Люсия прильнула ко мне теснее, и я ощутила мягкое давление ее языка на мой, но потом она отстранилась, держа меня за талию, и пытливо взгляделась в меня огромными встревоженными глазами. Нас обеих колотила дрожь.

— Прости меня, — выдохнула она. — Ты только не подумай... что мне этого не хочется... мне безумно хочется, но...

— Но?..

— Я была жестока к тебе, жестока и несправедлива: ведь в моих жилах течет кровь Мордаунтов.

— Люсия, милая Люсия, мне все равно, чья кровь течет в твоих жилах. Значение имеет лишь то, что я люблю, обожаю тебя, и покуда ты тоже меня любишь...

— А что будет, если я разлюблю тебя?

— Тогда я умру, — сказала я более серьезно, чем намеревалась. — Но я никогда не пожалею, что любила тебя. И кровь Мордаунтов совершенно ни при чем: просто ты переживаешь из-за пакета. Вспомни, ты же сама говорила: нам ничего не страшно, пока мы вместе.

— Ты бесконечно добра ко мне. Вот когда я буду все *знать*... Но я все равно хочу остаться с тобой сегодня, только...

— Конечно. — Я нежно поцеловала Люсию. — А можно мы не будем гасить свечу? Я хочу тебя видеть.

— Да, моя дорогая.

Я была бы вполне счастлива просто лежать рядом, но она заключила меня в объятия и притянула к себе.

— Вот он, наш постоянный дом, — сонно пролепетала она, — а когда ты вернешься из Плимута... — Веки ее сомкнулись, губы тронула безмятежная улыбка, и уже через несколько минут она крепко спала.

Но я, пока не погасла свеча, лежала без сна, тихо лаская свою возлюбленную, вспоминая нашу первую ночь, когда большего счастья мне не мыслилось, и мечтая о грядущем блаженстве.

Частная гостиница Даулиша

Вторник, 31 октября 1882

Сейчас соберусь с духом и начну с самого начала, — возможно, это поможет мне решить, что делать дальше.

Прошлой ночью я спала плохо — луна светила прямо в лицо, но задерживать портьеры мне не хотелось — и проснулась с головной болью и без всякого аппетита. На пароме меня сильно мучило, но на душе стало легче, когда я сошла на сушу и зашагала в Неттлфорд по дороге, пролегающей вдоль побережья через широкие луга, — похожая местность простирается за Чалом, только берега там выше и круче. Неттлфорд всегда представлялся мне уменьшенной версией Нитона, с мощеными улицами, почтовой конторой и гостиницей вроде «Белого льва», но оказался крохотной деревушкой, состоящей из десятка домишек, разбросанных вокруг заколоченной церкви. Несколько из них явно пустовали; над крышей одного вился дымок, но, когда я приблизилась к воротам, во дворе истошно залаяла собака. Дверь дома приотворилась, резкий голос приказал собаке замолчать, потом в щель выглянула угрюмая седая женщина и подозрительно уставилась на меня:

— Что вам угодно?

— Я ищу дом, где жил доктор Феррарс. Дело было давно, около двадцати лет назад, но, возможно, вы помни...

— Таких здесь нет, — перебила женщина и решительно закрыла дверь; двинувшись

дальше, я заметила, как в окне шевельнулась занавеска.

Я дошла до церкви, не встретив по пути никаких других признаков жизни, и остановилась у арочного входа на старое запущенное кладбище. С минуту я задумчиво разглядывала заросшие бурьяном могилы и потрескавшиеся надгробия в пятнах лишайника, а потом внимание мое привлекло имя, похожее на Феррарс.

Я отодвинула засов и толкнула деревянную калитку. Ржавые петли пронзительно закрипели, к моим ногам посыпались трухлявые щепки. Открылась калитка ровно настолько, чтобы я смогла протиснуться в щель.

Высеченное на камне имя оказалось не Феррарс, а Феннар — Марта Феннар «Отошедшая в мир иной...» — все прочее обвалилось. Многие надписи было совсем не разобрать, но среди кустов у противоположной ограды, шагах в двадцати впереди, виднелось сравнительно новое надгробие: под наростами лишайника тускло блеснул розоватый мрамор. Утапывая густую траву, я пробралась к нему.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

Розины Мэй Вентворт

род. 23 ноября 1839

ум. 6 марта 1861

горячо любимой кузины

Эмили Феррарс

МИР ПРАХУ ТВОЕМУ

Описывать последовавшие часы мучительных раздумий не имеет смысла. Я прибыла в контору мистера Ловелла на полчаса раньше назначенного времени, твердо уверенная в одном: я не могу вернуться в Лондон, пока не завладею пакетом и не узнаю, что в нем находится. Я безостановочно расхаживала по приемной под беспокойным взглядом клерка, чьего имени не помнила, пока наконец не услышала быстрые шаги на лестнице.

При виде меня Генри Ловелл расплылся в улыбке, но уже в следующий миг лицо его приняло встревоженное выражение.

— Что-нибудь случилось, мисс Феррарс? — спросил он, проводя меня в кабинет. — Вы так бледны, словно... словно увидели призрака.

Так оно и есть, подумала я.

— Да, я сегодня испытала сильнейшее потрясение... открылись новые обстоятельства, вынуждающие меня еще тверже настаивать на том, что мне необходимо ознакомиться с содержимым пакета.

— Понятно. Но сначала вы должны подкрепиться. Может, бокал вина? Чашку чая? Кусочек кекса?

— Благодарю вас, я ничего не хочу. Мне нужен лишь пакет, оставленный моей матушкой.

— Тогда... вы можете рассказать, что же все-таки произошло?

— Нет, мистер Ловелл, не могу.

Он по-прежнему колебался.

— Мистер Ловелл, — начала я заранее заготовленную речь, — боюсь, вчера я была не вполне откровенна с вами.

— Я так и подумал. Уверю вас, мисс Феррарс, ни одно сказанное вами слово не выйдет

за пределы моего кабинета.

Он с ободряющим видом подался вперед.

— Вы спросили, помолвлена ли я, и я ответила отрицательно. Но на самом деле я тайно помолвлена с мистером Фредериком Мордаунтом из Треганнон-хауса, ныне известном как психиатрическая клиника Треганнон.

Мистер Ловелл резко отшатнулся, словно я его ударила:

— Мисс Феррарс, вы не... боюсь, я вам не верю.

— Это оскорбительно, сэр! — воскликнула я со всем негодованием, какое сумела изобразить.

— Приношу свои глубочайшие извинения, но, право слово, мисс Феррарс, вам нет нужды разыгрывать этот... спектакль. Я уже принял решение отдать вам пакет.

Если это правда, почему же он сразу не сказал? Уж не пытается ли он поймать меня в ловушку? Я не могла рисковать.

— Моя помолвка, сэр, никакой не спектакль. Вчера я не сказала вам, потому что мне требовалось время на раздумье. Даже дядя Фредерика, мистер Эдмунд Мордаунт, еще не знает о нашей помолвке. Так что, мистер Ловелл, условие моей матушки выполнено. Теперь вы отдадите мне пакет?

Он медленно поднялся со стула. На лице его отражалась целая гамма чувств: сомнение, растерянность, тревога... мне почудилось, даже разочарование.

— Да, мисс Феррарс, отдам. Знать бы только... — Мне показалось, он собирается сказать «можно ли вам верить», но он оборвал себя на полуслове.

Затем мистер Ловелл взял большой серый пакет, лежавший на шаткой стопке бумаг на столе, и протянул мне.

Отклоняя очередное предложение подкрепиться, я вдруг осознала, что мне не было необходимости лгать поверенному.

— Если у вас возникнут еще какие-нибудь просьбы, мисс Феррарс, — на прощание сказал он, — надеюсь, вы без малейших раздумий обратитесь ко мне. Вот моя визитная карточка. На обратной стороне я написал адрес своих родителей, и, если вам случится оказаться в Носс-Мейо, вас всегда радушно примут там... Ах да, и еще одно. Вы просили меня узнать, жив ли Томас Вентворт: так вот, он умер банкротом в ноябре семьдесят девятого года — покончил с собой.

Мое внимание было настолько поглощено пакетом, зажатым в руке, что последние слова я пропустила мимо ушей. Когда я обернулась на лестничной площадке пролетом ниже, мистер Ловелл стоял на прежнем месте, с тревогой глядя мне вслед.

От Розины Вентворт к Эмили Феррарс

*Керкбрайд-коттедж,
Белхавен, Восточный Лотиан
Пятница, 18 мая 1860*

Дорогая Эмилия! Извини, бога ради, что столь долго держала тебя в томительном неведении. Могу лишь надеяться, что ты получила две мои короткие торопливые записки, отправленные с вокзала Кингз-Кросс и из Данбара. Я в безопасности, жива-здорова и гораздо счастливее, чем представлялось возможным. А теперь соберусь с мыслями и попытаюсь рассказать все по порядку.

Последнее воскресенье дома показалось мне самым длинным в моей жизни. Я намеревалась притвориться больной и оставаться в своей комнате, чтоб не встречаться с отцом, но притворяться не пришлось: мне было дурно от страха и за весь день я не съела ни крошки. Несколько утешала меня лишь мысль, что Лили произвела прекрасное впечатление на семью с Тэвисток-сквер, вдового врача и его дочерей, и вряд ли когда-нибудь станет вращаться в кругах, где часто бывали мы с Клариссой; новые хозяева сказали, что она может приступать к исполнению своих обязанностей хоть завтра. Мое душевное состояние было столь бедственным, что, когда Люси вызвалась снести мои вещи к Феликсу, я до самого ее возвращения рисовала в воображении картины, как Феликс скрывается из города с ней, а не со мной, — тем более непростительно с моей стороны, что мне никогда не удалось бы сбежать без помощи моей преданной служанки.

Перед сном мы с Лили нежно попрощались. В понедельник, в пять утра, я оделась, накинула плащ и тихонько вышла из спальни. Накануне Альфред занял свой пост только в восемь часов, но передняя дверь всегда запирается на ночь, и ключ хранится у Нейлора, поэтому я решила покинуть дом через половину для прислуги. Я на цыпочках проскользнула по лестничной площадке второго этажа — комната отца расположена буквально в двух шагах от нее — и спустилась в сумрачный холл. Кровь оглушительно стучала в ушах; мне померещилось какое-то движение за колонной, но никто из-за нее не появился. Шагая настолько быстро, насколько хватало смелости, я вошла в вестибюль и проследовала к узкой двери на черную лестницу; дверь мне пришлось оставить приоткрытой, чтобы видеть ступени.

Темноту в коридоре внизу рассеивал лишь тусклый свет, проникавший сквозь матовое окошко над подвальной дверью. Я тихонько отодвинула верхний засов, потом нижний и уже поворачивала ручку, когда вдруг за моей спиной раздался голос:

— Вам нельзя выходить, мисс; приказ хозяина.

В нескольких футах от меня стоял Нейлор. Слабый свет падал на бледное лицо с красными губами, растянутыми в торжествующей ухмылке. Я рывком открыла дверь и ринулась вверх по ступенькам. Камердинер схватил меня за плечо, но я вывернулась, оставив у него в руке плащ, в котором он запутался, тем самым подарив мне несколько драгоценных секунд, чтоб отворить и захлопнуть за собой подвальную калитку. Нейлор заорал во все горло. Я увидела Феликса, бегущего навстречу мне от кеба, что стоял двадцатью ярдами дальше, потом услышала грохот калитки и тяжелый топот башмаков позади.

— Беги к кебу! — выкрикнул Феликс, проносясь мимо, но я оцепенело повернулась и встала столбом посреди улицы.

Мой возлюбленный отважно преградил путь Нейлору, который по меньшей мере на голову выше его; Нейлор попытался вильнуть в сторону, но Феликс сбил его подножкой. Уже в следующую секунду камердинер вскочил и кинулся на него, яростно размахивая кулаками. Один удар пришелся Феликсу в челюсть, и он сильно качнулся назад. Нейлор схватил его за воротник, собираясь свалить с ног, но Феликс вывернулся, с треском раздирая ткань своего сюртука, и сам Нейлор тяжело рухнул наземь, глухо ударившись головой о булыжную мостовую. Когда Феликс резко повернулся и бросился ко мне, из разорванного кармана у него выпорхнул листок бумаги. На сей раз я не стала мешкать: рука об руку мы добежали до кеба, и Феликс посадил меня.

— Вокзал Виктория, к дуврскому поезду, как можно быстрее! — прокричал он, запрыгивая следом за мной, и кеб рванулся с места.

Выглянув в окошко, я увидела, как Нейлор с трудом поднимается на ноги, а из дома появляется еще один слуга.

— Будем надеяться, он услышал мои слова, — сказал Феликс, промокая разбитые губы носовым платком.

Через две минуты мы с грохотом катили по Веймаут-стрит, никем не преследуемые.

Изначально мы предполагали позавтракать на вокзале Кингз-Кросс и сесть на десятичасовой курьерский до Эдинбурга, но Феликс решил, что сейчас, когда за нами уже пустились в погоню, задерживаться в городе слишком опасно. Если мое обманное письмо с сообщением, что я сбежала в Париж, не ввело отца в заблуждение, он наверняка в первую очередь подумает про курьерский шотландского направления. Вдобавок ко всему Феликс потерял письмо от своего поверенного. Поэтому мы взяли билеты на ближайший поезд до Лестера на имя мистера и миссис Чайльд, а оттуда поехали с пересадками на север и поздно вечером добрались до Данбара.

С первой же минуты пути мне казалось совершенно естественным, что мы с Феликсом сидим рядом, взявшись за руки; у меня ни разу не возникло чувства, будто я путешествую с едва знакомым мужчиной. На каждой остановке Феликс тревожно наблюдал за платформой, но мой страх уменьшался по мере удаления от Лондона, и в конечном счете я исполнилась счастливой уверенности, что все обойдется благополучно. Почти всю дорогу из Йорка до Ньюкасла я проспала безмятежным сном — мне снилось, будто я покоюсь в объятиях Феликса, а по пробуждении обнаружила, что так оно и есть.

Как ты, наверное, знаешь, Данбар расположен у самого моря; летом в городе полно народу, но в мае на улицах пустынно. Побережье здесь дикое и чрезвычайно живописное. Взвзвзавший нас на станции возчик рассказал про наемный коттедж, который очень понравился мне по описанию: он находится рядом с Белхавеном, милей дальше по побережью, и оттуда открывается вид на море. Я захотела тотчас же поехать посмотреть дом, но Феликс сказал, что сначала нам надо подумать, и мы сняли меблированные комнаты поблизости от Данбарского замка.

А теперь я должна сделать признание. Я долго колебалась, говорить тебе или нет, но сегодня утром решила все-таки сказать. Поменяйся мы с тобой местами, мне бы хотелось, чтобы ты ничего от меня не скрывала, твердо зная, что я тебя люблю и никогда не стану судить строго; поэтому и я не стану ничего утаивать от тебя.

Еще в поезде Феликс выразил мнение, что до истечения трехнедельного срока нам следует жить порознь, но я отказалась расставаться с ним.

— Нас в любой момент могут разлучить, — заявила я, — поэтому каждое мгновение,

проведенное вместе, бесценно.

— Но мы должны жить раздельно до бракосочетания. Я взял тебя под свое покровительство и не хочу, чтобы ты когда-нибудь пожалела... подумала, что я злоупотребил твоим доверием.

На том разговор тогда закончился, но вечером после ужина — мы были единственными постояльцами и ужинали у камина в гостиной — Феликс вернулся к нему. Его рука обнимала мои плечи; мои пальцы нежно перебирали его темные кудри; время от времени он целовал меня в висок или в щеку, и всякий раз, когда наши губы встречались, дыхание мое учащалось и я льнула к нему теснее, а Феликс с дрожью вздыхал и мягко отстранялся от меня.

— Если мы снимем коттедж, — сказал он, — нам будет еще труднее держаться врозь, живя под одной крышей.

— Я не хочу держаться врозь с тобой, — ответила я. — Моя репутация навсегда погублена в глазах людей вроде Трейлов, и меня это нисколько не волнует. Хозяева примут нас за мужа и жену, мы поклялись друг другу в вечной любви, я ношу твое кольцо, и если мой отец выследит нас... я не хочу умереть, не познав...

— Но, любимая моя, даже в самом худшем случае — если меня арестуют за твое похищение и нападение на Нейлора, а тебя насильно увезут в отцовский дом — нам просто придется дождаться твоего совершеннолетия; твой отец не посмеет тебя тронуть.

— Мой отец способен на все; он считает, что на сильных мира сего закон не распространяется. Я так и не избавилась от ужасной мысли, что именно он убил Клариссу. Не собственными руками, конечно, а наняв разбойников, чтобы столкнули экипаж в пропасть. Никогда не забуду, с каким лицом он сообщил мне о смерти сестры.

— Но ведь было установлено, что произошел несчастный случай. Я сам слышал в Риме разговоры о молодой чете, трагически погибшей, когда лошадь понесла.

— Хочется в это верить. Я надеюсь лишь, что Кларисса умерла счастливой — такой же счастливой, как я сейчас, — добавила я, опять придвигаясь ближе к Феликсу. — Давай завтра же арендуем коттедж — за пределами города мы будем в большей безопасности — и раз и навсегда покончим с разговорами о раздельном проживании.

— Розина... ты понимаешь, что это значит?

— Не совсем... но примерно представляю. Я доверила тебе свою жизнь — так почему бы не доверить... и все остальное?

Он сжал меня в объятиях, но потом протяжно вздохнул и отодвинулся прочь, внезапно помрачнев:

— Розина, я должен кое в чем признаться. Я собирался сказать тебе еще в Лондоне, но времени не было...

— Я приму с пониманием все, кроме признания, что ты уже женат.

— Нет, не это, но... я не всегда жил монахом. Если бы только я знал, что мне суждено встретиться с тобой, я бы никогда даже не взглянул ни на одну другую женщину, но, увы... Я не давал никаких обещаний и не нарушил никаких клятв, но я... вступал в телесную близость прежде, о чем сейчас глубоко сожалею. Поэтому тебе следует хорошенько подумать, хочешь ли ты по-прежнему выйти за меня замуж. Какое бы решение ты ни приняла, я буду оберегать и защищать тебя до последнего своего вдоха...

— Мне нужно лишь одно: быть уверенной, что ты любишь меня всем сердцем и что никакая другая привязанность — ничего из твоего прошлого — никогда не встанет между

нами.

— Я клянусь тебе всем, что есть в мире святого! Если ты хочешь спросить меня о чем-нибудь, о чем угодно, — спрашивай, и я отвечу со всей прямоотой... только...

— Только?..

— Только если ты действительно в силах простить меня, не лучше ли нам начать совместную жизнь с чистого листа, не оглядываясь в прошлое?

Феликс встал, подбросил топлива в камин и вышел из гостиной, пробормотав что-то насчет хозяйки и завтрака. Неподвижно глядя на раскаленные докрасна угли, я осознала, что он не сказал мне ничего такого, о чем я не догадывалась бы. Но буду ли я больше уверена в его любви, если узнаю все о каждой женщине, которую он обнимал когда-либо? Разве не будет это знание мучить меня, сколь бы я ни старалась от него отрешиться? И не кончится ли дело тем, что при каждом поцелуе, каждом объятии я стану ревновать, представляя на своем месте другую?

Один уголек с треском рассыпался, выбросив сноп искр, мгновенно погасших.

— Ты прав, — промолвила я, когда тень Феликса упала на диван. — Давай начнем все с чистого листа.

Феликс предупредил, что первая близость может сопровождаться болезненными ощущениями. Наслушавшись расхожих разговоров о греховности и постыдности плотского сношения, я смутно предполагала, что все должно происходить в полной темноте, но мы не стали гасить свечи, и он овладел мной столь нежно, столь бережно, что я почти не почувствовала боли. Мы занимались любовью до рассвета (теперь я понимаю, почему это называется «заниматься любовью»), причем с таким самозабвением, с такой ненасытной страстью, что я опасалась, как бы нам не разбудить хозяйку стонами и криками. Супружество между людьми, истинно любящими друг друга, сродни тайному обществу (и вы с Годфри к нему принадлежите): как можно стыдиться такого наслаждения, такого экстаза тела и души, такой любви, переполняющей сердце?

Мы проснулись в объятиях друг друга и выехали в Белхавен, окрыленные счастьем. Я никогда прежде не видела столь прекрасных пейзажей, столь ярких и сочных красок. Все вокруг — пение птиц, ароматы цветения, соленый запах моря — дышало жизнью, как в первый день весны после долгой, унылой зимы, но в гораздо большей степени.

Сам коттедж просто превосходен: он стоит всего в сотне ярдов от берега и скрыт от соседних домов густой рощей. По утрам к нам приходит женщина из деревни, а все остальное время мы предоставлены друг другу и можем делать все, что душе угодно. Феликс умеет заваривать чай и жарить бифштексы; вчера мы ужинали в постели хлебом с сыром, мясными консервами и кексом — и остались премного довольны.

На сем заканчиваю: мы собираемся сходить в деревню, чтобы отправить письмо с вечерней почтой. Я не решаюсь перечитать написанное и успокаиваюсь лишь мыслью, что на твоём месте я бы хотела знать все. Если отец не найдет нас здесь, мы с Феликсом поженимся (мне только сейчас пришло на ум упомянуть об этом, поскольку у меня такое чувство, что мы уже женаты) в понедельник, четвертого июня, в Данбаре. Мне бы очень хотелось, чтобы вы с Годфри были свидетелями при бракосочетании, но вам долго добираться, и, возможно, ты считаешь... нет, я должна гнать прочь подобные мысли, иначе смалодушничая и порву письмо, вместо того чтобы снести в почтовую контору. Можно ли будет нам приехать в Неттлфорд в ближайшее удобное для вас время после четвертого числа? Мне не терпится поскорее обнять тебя, и в самом скором времени я напишу еще. Не

тревожусь за меня, дорогая кузина: я безмерно счастлива.

С любовью к тебе и милому Годфри,

твоя любящая кузина

Розина

Керкбрайд-коттедж,

Белхавен

Среда, 23 мая 1860

Дорогая Эмилия! Читая твое письмо, я пролила столь обильные слезы радости, что Феликс испугался, уж не стряслась ли какая беда. Что значат для меня твои исполненные любви слова, я не сумею выразить словами, покуда не заключу тебя в объятия девятого июня. Да еще знать, что Лили благополучно устроена на Тэвисток-сквер... поистине чаша моего счастья переполнилась.

Мы прожили здесь уже девять дней, не имея ни малейшего повода для тревоги. О нашем местонахождении не знает никто, кроме поверенного Феликса, мистера Карбертона, которому велено писать до востребования в почтовую контору Данбара. Выронив письмо от него в ходе драки с Нейлором, Феликс посчитал необходимым написать мистери Карбертону, дабы объяснить причины нашего побега и предупредить, что ни одному слову моего отца нельзя верить. Если отец появится у него в конторе, мистер Карбертон должен сообщить, что мы скоро поженимся, но ничего более.

Феликс также счел нужным написать своему брату, хотя Эдмунд не одобрит наш брак: он твердо держится мнения, что Мордаунтам нельзя жениться. Эдмунд по-прежнему резко возражает против продажи Треганнон-хауса, невзирая на заверения Феликса, что вырученная сумма будет поделена между братьями поровну, — со стороны Феликса это тем более великодушно, что он был вынужден войти в долги под залог своей доли и сейчас с великим нетерпением ждет, когда придут бумаги о купле-продаже. Письмо пойдет через руки мистера Карбертона, поскольку Феликс не хочет, чтобы Эдмунд знал о нашем местонахождении, пока мы не сочтемся браком.

Но это единственное облачко, омрачающее нашу радость, и бóльшую часть времени мы его даже не замечаем. Погода здесь стоит теплая и солнечная; совершая прогулки вдоль берега, мы проходим по несколько миль, не видя нигде поблизости ни одного человека. Последние ужасные дни на Портленд-плейс уже кажутся далеким кошмарным сном, лишь изредка у меня случаются странные приступы суеверного страха, когда мне приходится щипать себя за руку, дабы удостовериться, что я не сплю — что я действительно свободна и счастлива сверх всякой мыслимой меры. Феликс обладает просто поразительной жизненной энергией: он спит всего по несколько часов в сутки, и очень часто, просыпаясь среди ночи, я вижу, как он сидит за столом при свече, торопливо записывая стихи собственного сочинения или глядя на звезды. А услышав мое шевеление, он оборачивается ко мне с таким восторженным лицом, что сердце мое заходится от радости. В голове у него постоянно роятся идеи, и зачастую мысли скачут с такой быстротой, что я не успеваю за произносимыми им словами, но мне кажется, я всегда понимаю общую музыку речей, хоть и пропускаю отдельные слова. Феликс мечтает найти или даже основать сообщество (похоже, несколько таких есть в Новой Англии), основанное на принципах любви и уважения к ближнему, — братство по духу, как он выражается, где женщины уравниваются в правах с мужчинами и все имущество общее. В моих глазах он истинное воплощение человеческого

духа: пылкий, страстный, полный любви и радости жизни.

До встречи девятого июня. Феликс шлет тебе горячую сердечную благодарность за приглашение и разделяет со мной надежду, что вы с Годфри пребываете в добром здравии.

Твоя любящая кузина

Розина

Керкбрайд-коттедж,

Белхавен

Пятница, 25 мая 1860

Дорогая Эмилия! Увы, я сглазила наше счастье. Вчера утром мне неужилось, и я осталась дома, когда Феликс пошел в Данбар узнать, пришли ли бумаги о купле-продаже. Он вернулся мрачный, с огорчительным письмом от мистера Карбертона, в которое было вложено еще более неприятное письмо от Эдмунда. Оказывается, в утро нашего побега мой отец отправился напрямиком в полицейский участок Мэрилебона и получил постановление об аресте Феликса за насильственное похищение и оскорбление действием. Потом он ворвался в контору мистера Карбертона и грозно осведомился, где мы находимся. Разумеется, мистер Карбертон ничего не знал о происшедшем (письмо от Феликса пришло только в пятницу), однако он не на шутку встревожился и написал о визите моего отца Эдмунду в Треганнон-хаус. Ответ Эдмунда гласил:

Любезный брат! Я давно потерял надежду, что ты откажешься от распутного образа жизни, но мне и в голову не приходило, что ты способен учинить такое безобразие. Похитить наследницу (даже если она уехала с тобой добровольно, это все равно похищение) и избить преданного слугу, пытавшегося защитить ее честь, — это деяния столь гнусные, что мне остается лишь предположить и почти надеяться, что ты напрочь лишился рассудка. Я письменно снесся с мистером Вентвортом, чей гнев не утолило бы даже зрелище твоей казни, и умолял его о единственной милости, о какой мог умолять: чтобы тебя посадили в заточение как душевнобольного, а не как опасного преступника. Но он непреклонен и заявляет, что не успокоится, покуда не упрячет тебя в Ньюгейтскую тюрьму.

Тем не менее у тебя еще остается слабый шанс избежать позора тюремного заключения. Тебе надлежит сейчас же устроить возвращение глупой девицы в отцовский дом, если только ты еще не соблазнил ее (что, скорее всего, произошло). Коли мистер Вентворт откажется принять блудную дочь обратно, нам придется назначить ей содержание. Не вздумай, однако, отправиться вместе с ней в Лондон, но незамедлительно возвращайся домой. Мейнард Стрейкер любезно изъявил готовность приехать по первому зову и обследовать тебя. Если он признает тебя невменяемым — а я нисколько не сомневаюсь, что так оно и будет, — мы объявим тебя процессуально недееспособным и заточим здесь, в Треганнон-хаусе.

Теперь что касается твоего бессовестного намерения продать крышу над нашей головой: я отправил мистеру Карбертону письмо, где сообщил об обстоятельствах дела и посоветовал впредь не выполнять никаких твоих распоряжений и не выдавать тебе никаких денежных средств, так как ты явно не в своем уме.

Еще раз настоятельно призываю тебя позаботиться о незамедлительном возвращении мисс Вентворт к отцу и явиться сюда без малейшего отлагательства. Если слушаешься —

я за последствия не отвечаю.

Твой брат

Э. А. Мордаунт

Мистер Карбертон, со своей стороны, советует Феликсу «основательно подумать, хотите ли вы по-прежнему, чтобы я составил договор купли-продажи: ведь ваш брат непременно оспорит вашу дееспособность, а следовательно, и право подписывать этот или любой другой документ, касающийся продажи поместья. В таком случае я, как доверительный управляющий, окажусь в чрезвычайно неприятном положении, поскольку буду поставлен перед необходимостью действовать в интересах одного члена семьи в ущерб интересам другого. Я настойчиво рекомендую вам достичь соглашения с вашим братом, прежде чем продолжать дело».

— Что он подразумевает под фразой «достичь соглашения с вашим братом»? — спросила я.

День стоял пасмурный, камин не был растоплен, и наша маленькая гостиная впервые за все время казалась холодной и унылой.

— Мистер Карбертон имеет в виду — хотя, будучи адвокатом, никогда не скажет этого прямо, — так вот, он имеет в виду, что полностью согласен с Эдмундом: то есть считает, что я безумен, как мой отец, и должен смиренно предстать перед его другом Стрейкером, который признает меня душевнобольным и упрячет в сумасшедший дом, как бедного Хораса... после того, разумеется, как я препровожу тебя в ближайший полицейский участок.

— Но это чудовищно... просто дико! Никто не поверит, что ты душевнобольной.

— Ты забываешь историю нашей семьи, любимая. Для Эдмунда одно мое желание продать этот проклятый мавзолей уже является убедительным доказательством моего безумия.

— Все равно... ты думаешь, тебя действительно посадят в тюрьму, если нас поймают?

— Когда бы ты смогла подтвердить под присягой, что уехала со мной добровольно и что драку затеял Нейлор, вероятно, все обошлось бы. Но твой отец посадит тебя под замок, лишив всякой возможности дать показания в суде, и ничто не помешает им возвести на меня клевету. Поэтому — да, скорее всего, меня признают виновным и заключат в тюрьму, если только Эдмунду не удастся объявить меня душевнобольным, что было бы гораздо хуже... Но не бойся, моя дорогая: через десять дней мы сочетаемся законным браком, и это частично обломает им зубы.

— Частично?

— Они все равно смогут арестовать меня и бросить в тюрьму до суда. А если твой отец похитит тебя и насильно вернет домой — это будет противозаконно, но он наверняка пойдет на такой риск, — тогда они заявят, что на момент бракосочетания я находился в невменяемом состоянии, и попытаются признать наш брак недействительным. До твоего совершеннолетия, то есть до ноября, нам придется держать ухо востро. Но не волнуйся так, любимая: мы с тобой уедем отсюда при ближайшей возможности. Я сейчас же наведу судное агентство и узнаю расписание пассажирских судов.

— Значит, мы не поведемся с Эмилией перед отъездом? — спросила я, стараясь скрыть разочарование.

— За домом твоей кухни, скорее всего, ведется наблюдение... Но я знаю, как много это для тебя значит, — добавил Феликс, взглядываясь в мое лицо. — Мы изыщем способ

сбить их со следа.

— Тебе обязательно идти в город сегодня? Не опасно ли это? А вдруг мистер Карбертон сообщил твоему брату, что пишет тебе в Данбар?

— Я смотрел в оба с самого момента, когда вскрыл письмо — что сделал прямо в почтовой конторе, думая найти в конверте долгожданный договор, — но не заметил ничего подозрительного. Уверен, за мной не следили, хотя такая опасность всегда существует, спору нет. Самое неприятное, что мне необходимо постоянно вести переписку с Карбертоном по поводу продажи поместья и на новом месте возникнет точно такая же проблема. Вдобавок нам будет легче доказать наше трехнедельное пребывание в Шотландии, если мы останемся здесь. Отныне я буду ходить в Данбар один; если придется убежать от преследования, в одиночку у меня будет больше шансов спастись. Постарайся не волноваться, прошу тебя: единственная опасность подстерегает меня в почтовой конторе, а я буду смотреть зорче ястреба.

— Но если мистер Карбертон принял сторону твоего брата...

— Именно поэтому мне и нужно сейчас вернуться в город: я решил обратиться к врачу, чтобы он написал заключение о моем психическом здоровье. Необычный шаг, я понимаю, но если можно признать чью-то невменяемость, почему нельзя признать и противоположное? Медицинское заключение я сразу же отправлю Карбертону вместе с распоряжением составить договор и выдать мне очередные двести пятьдесят фунтов. Все-таки я законный наследник, и он уже ведет мои дела. Думаю, в конечном счете ему придется выполнить мои требования. А теперь мне пора. Возможно, на все про все уйдет несколько часов, но чем раньше я это сделаю, чем скорее мы сможем отплыть.

Глядя вслед Феликсу, шагавшему по лужайке, я внезапно поняла, что, невзирая на нависшую над нами опасность, мне совсем не хочется жить за границей. Мы много говорили — вернее, говорил он, а я слушала, уютно покоясь в его объятиях, — о далеких городах вроде Рио-де-Жанейро, о краях, в которых Феликс никогда не бывал, но которые описывал с величайшей живостью на основании прочитанных книг и виденных картин, словно вспоминая райские видения. Однако мне все эти чудесные места всегда казались не вполне реальными; реальностью для меня была кровать, где мы лежали; солнечные лучи, падающие на постельное покрывало по утрам; соленый ветер, веющий с моря; биение его сердца у моей груди. Я говорила себе: «Где будет счастлив Феликс, там и я буду счастлива», — говорила и искренне в это верила, но сейчас, впервые заметив пятна сырости на обоях и запах плесени от ковра, я мысленно представила унылую череду меблированных комнат, и душа моя воспротивилась. «Нет, я хочу, чтобы мы жили здесь, в нашей родной стране, в собственном доме, — подумала я. — Хочу, чтобы наши дети росли среди друзей, музыки и смеха, а не чужаками в чужой стране». Однако совсем еще недавно, когда мы обсуждали наше будущее в Риджентс-парке, перспектива уехать далеко-далеко казалась мне восхитительной. Что вдруг на меня нашло? Я упрекнула себя за непостоянство чувств и эгоизм, но восторженное чувство, владевшее мной тогда, так и не вернулось.

Когда я очнулась от задумчивости, Феликс уже скрылся из виду. Переднюю дверь я заперла за ним, но что насчет остальных? С трех сторон дом окружает роща, которая прежде создавала ощущение уютной защищенности, но теперь кажется населенной зловещими тенями. Фасадные окна обращены на низкую каменную ограду — за ней лежит луг, потом тянется длинная изогнутая полоса светлого песка, а дальше до самого горизонта простирается море. Если выйти через кухонную дверь, можно пробраться сквозь рощу,

сильно заросшую кустарником и крапивой, перелезть через руины другой каменной стены и спуститься с крутого откоса на Эдинбургскую дорогу, откуда рукой подать до деревни. Но в Данбар мы всегда ходим не этим путем, а по тропинке, пролегающей вдоль берега.

Я заложила кухонную дверь засовом и заперла на щеколды все окна на первом этаже. У меня поджилки тряслись от страха. Потом я поднялась на второй этаж, усилием воли заставив себя не оборачиваться, и прошла в спальню. За окном не было видно ни души, только запущенный луг да темно-серая гладь моря, вдали подернутая туманом. Тупая боль обручем сдавливала голову, под ложечкой мучительно щемило — я не знала, дурные ли предчувствия тому причиной или же просто недомогание, которое я чувствовала с самого утра. Меня била дрожь, но разжигать камин я не стала, сказав себе, что в доме не так уж холодно, и постаравшись подавить внутренний голос, настойчиво шептавший: «Дым тебя выдаст».

В конце концов я прямо в одежде улеглась в постель и плотно закуталась в прохладные одеяла. Спустя несколько минут дрожь отпустила меня, и я погрузилась в тревожную дремоту, от которой, вздрагивая, пробуждалась всякий раз, когда били часы или птички коготки стучали по наружному подоконнику. Потом я забылась более глубоким сном и спустя неопределенное время проснулась от стука в дверь.

Я в панике отбросила в сторону одеяла, гадая, давно ли Феликс ждет под дверью, и только на полпути к лестничной площадке меня осенило, что ведь это может быть и не Феликс вовсе.

Стук не повторился. Я на цыпочках вернулась в спальню, опустилась на четвереньки подле кровати и подползла к окну. Юбки громко шуршали по ковру — или то внизу хрустел гравий под чьими-то ногами? Очень медленно я подняла голову.

У каменной стены, в каких-нибудь в десяти ярдах от дома, стоял человек, пристально смотревший прямо на меня, — во всяком случае, мне так показалось. Коренастый, крепко сбитый мужчина, в серовато-коричневом сюртуке, похожем на форменный, из бокового кармана которого торчала фуражка. Череп совершенно лысый и бугристый, обтянутый бледной кожей, блестящей, как полированная кость. Левую щеку пересекал синевато-багровый шрам, тянувшийся от виска до нижней челюсти и проходивший в опасной близости от глаза.

Я замерла на месте, боясь шелохнуться. Мужчина стоял с таким видом, словно имел полное право здесь находиться; взгляд его бегло скользил по окнам, но постоянно возвращался ко мне, обдавая холодом, почти осязаемым физически: на меня будто веяло сквозняком из щелей оконной рамы. Наконец мужчина повернулся и зашагал прочь, но, прежде чем скрыться за деревьями, обернулся и еще раз пристально посмотрел на окно спальни.

Заметил ли он меня? Он повернул налево, словно намереваясь обогнуть рощу и выйти на Эдинбургскую дорогу, но, вполне возможно, он притаился за деревьями в ожидании, когда я покажусь на глаза. В любую минуту с противоположной стороны к коттеджу мог подойти Феликс, не подозревающий об опасности.

Если его еще не схватили.

В прихожей начали бить часы, и я испуганно вскочила на ноги, не сразу сообразив, что это за звуки. Если мужчина все еще наблюдает за домом, теперь он меня точно увидел. Пять вечера. Феликс отсутствует уже почти четыре часа.

Однако, если бы Феликса уже взяли под арест и мужчина таки заметил меня в доме,

полицейские сразу взломали бы дверь. Но ничего не происходит, а значит... Мысль потонула в волне паники, но я уже хорошо понимала, что это значит. Единственная надежда спастись — выскользнуть сейчас через кухонную дверь, пробраться через рощу окружным путем и молить небо, чтобы я успела найти Феликса раньше их.

За окном никого не было видно. Я подошла к шкафу, трясущимися руками надела плаш и башмачки на низком каблуке и спустилась по возможности быстрее и тише.

Найдется ли в доме какое-нибудь подобие оружия? Ничего более грозного, чем кочерга, мне на ум не пришло, а одной мысли о человеке со шрамом хватило, чтобы я отказалась от намерения вооружиться. Низко над рощей висело расплывчатое серое облако; позади дома я тоже не увидела ни души, но за деревьями могло прятаться сколько угодно людей.

Ничего не поделаешь. Я отодвинула засов и подняла щеколду. Тишину нарушал лишь бешеный стук моего сердца. Медленно, дюйм за дюймом, я приотворила дверь — только бы петли не скрипнули! — и выглянула в щель. Никто не выскочил из-за деревьев, но пол под ногами повел себя очень странно: покачнулся, потом закружился. Дверная ручка выскользнула из пальцев, и меня поглотила тьма.

Очнулась я, лежа щекой на холодном камне и ощущая тяжелое биение в висках. Несколько секунд я не могла понять, где нахожусь, признавала лишь, что валяюсь на каком-то пороге и что-то врезается мне в голени. Сколько времени я пролежала здесь? Дрожа всем телом, я с трудом поднялась и осмотрелась по сторонам.

Ни звука, ни шевеления в заросшем саду и сумрачной роще за ним. Держась вплотную к стене, добралась до угла дома и осторожно выглянула. По-прежнему никого, только низкая каменная ограда да луг за ней. В двадцати ярдах от меня, за полосой кустистой травы, начиналась роща.

Земля была вся в кочках и сплошь устлана палой листвой, поэтому приходилось смотреть под ноги. Пять шагов, десять. До рощи оставалось всего ничего, когда вдруг слева от меня раздался крик: «Стой!»

Я бросилась бегом, наступила на подол плаща и упала. Услышав приближающиеся шаги, я неловко вскочила, в отчаянии повернулась к своему преследователю — и увидела перед собой Феликса.

— Розина! Бога ради, что стряслось?

Я сбивчиво рассказала о подозрительном субъекте, но Феликс, к моему удивлению, ничуть не встревожился.

— Он был один, говоришь? И ты никогда прежде его не видела?

— Да, но...

— Значит, он понятия не имел, кто ты такая. Я тут поразмыслил на обратном пути и сообразил, что они прислали бы кого-нибудь, кто может тебя опознать: Нейлора, к примеру. Даже твой отец побоялся бы похитить не ту женщину. А теперь пойдём в дом, дорогая, ты вся дрожишь и бледная как полотно.

— Ах, Феликс, ты не понимаешь, они могут вернуться в любую минуту...

— Они не появятся здесь, любимая, потому что не знают, где мы. Во время наших прогулок никто за нами не следил, я уверен. Ты переволновалась — по моей вине, мне не следовало тебя расстраивать — и вдобавок неважно себя чувствовала. Твой человек со шрамом, невзирая на зловещий вид, скорее всего, был безобидным путником, нуждавшимся в воде или пище. И не забывай, ты крепко спала: стук в дверь вполне мог тебе присниться — и даже сам подозрительный незнакомец.

Не обращая внимания на мои возражения, Феликс отвел меня в дом и уложил в постель так ласково и сноровисто, как сделала бы Лили. Только когда он разжег камин и принес мне бокал глинтвейна, я наконец спохватилась и спросила, как у него все прошло в Данбаре.

— Превосходно, моя дорогая. Врач поначалу впал в легкое замешательство, но после пятнадцатиминутной беседы охотно согласился выдать мне заключение. Потом, пока я разыскивал нотариуса, я вдруг подумал про свое завещание, которое подписал по настоятельному совету Карбертона через несколько дней после смерти отца, — согласно ему все мое имущество переходит к Эдмунду как ближайшему наследнику; бедный Хорас лишен права вести свои дела. Тогда вместо нотариуса я нашел стряпчего — некоего мистера Макинтайра, чья контора расположена на Касл-стрит, далеко от почты, — и он составил новое завещание, по которому все поместье отходит к тебе. Составлено оно «в преддверии брака», как выражаются юристы, и вступит в силу лишь после того, как мы поженимся.

— Но ты же обещал поделиться с братьями, милый! Это несправедливо по отношению к ним — даже по отношению к Эдмунду, сколь бы отвратительно он себя ни вел.

— Ну, в известном смысле дело именно в нем. Как только документ был заверен подписями и скреплен печатью, я написал брату о новом завещании, но копию оно не приложил и имени стряпчего не назвал. Таким образом, до продажи поместья и раздела вырученных денег моя смерть будет крайне невыгодна Эдмунду.

— Феликс... ты боишься, что он попытается тебя убить?

— Нет, но это покажет брату, что своими угрозами он ничего не добьется. Это — и заключение о моем психическом здоровье, которое я отослал Карбертону вместе с распоряжениями насчет сделки. Одна копия завещания осталась в сейфе мистера Макинтайра, другая будет храниться у тебя. А теперь тебе надо поспать, и пообещай мне, что никакие незнакомцы со шрамом тебе во сне не привидятся. Мы бы не задержались здесь ни минутой дольше, если бы я думал, что нам грозит хоть малейшая опасность.

Успокоенная уверенностью Феликса (и, вне сомнения, горячим глинтвейном, допитым до последней капли по его настоянию), я согласилась, что человек со шрамом вполне мог мне присниться, и сама почти поверила в это ко времени, когда погрузилась в сон.

Сейчас почти полдень пятницы. Я опять дала волю перу, но не нарушу своего обыкновения поступать так, как хотела бы, чтобы поступала ты на моем месте (вернее, писать так, как хотела бы, чтобы писала ты). Я все еще остаюсь в постели по настойчивой просьбе Феликса, по-прежнему с головной болью и общим недомоганием, но всего лишь с парой царапин и синяков, свидетельствующих о вчерашнем приступе паники. Мой возлюбленный винит себя, что поспешил вернуться домой, все еще пребывая в расстройстве чувств из-за письма Эдмунда, когда прежде следовало успокоиться. А мне, со своей стороны, ужасно стыдно, что я впала в такую панику при виде безобидного незнакомца. Через десять дней мы благополучно поженимся, и девятого июня, даст Бог, я наконец обниму тебя.

С любовью к тебе и милому Годфри,

твоя любящая кузина

Розина

Керкбрайд-коттедж

Пятница, 1 июня 1860

Дорогая Эмилия! Мне опять пришлось уверять Феликса, что я проливаю слезы над твоим письмом единственно от радости. Какое счастье, что Годфри снова стал самим собой

и горит желанием вернуться к своей работе, — сколько же тревог и волнений тебе пришлось пережить! И какое облегчение, что ни вы, ни ваши соседи не видели никаких подозрительных личностей в округе.

У нас здесь тоже все спокойно. Человек со шрамом не вернулся и даже не являлся мне во снах. Феликс пребывает в чудесном расположении духа; вчера вечером он сказал, что в нашей любви обрел счастье, о каком и не мечтал. «До встречи с тобой даже в лучшие дни в душе моей всегда витало облако печали, — сказал он. — А в худшие дни царил кромешный мрак; я едва мог оторвать голову от подушки и каждую минуту страстно желал лишь одного — забыться беспробудным сном. Но теперь я полон света; я кормлюсь небесным нектаром и упиваюсь райским млеком, и облако печали бесследно рассеялось». По словам Феликса, именно поэтому он так мало спит; для него весь мир озарен сияющим светом, и он готов поверить, что люди могли бы летать по воздуху, когда бы имели достаточно веры в свои силы, — так апостол Петр спокойно ступал по водам, пока не поддался страху.

Вчера днем мы дошли по берегу до так называемой Колыбели Святого Балдредра — скалистой расселины в речном устье. Феликс настоял на том, чтобы взобраться на крайнюю скалу, хотя он не столько взобрался, сколько взбежал по зубчатому каменистому отрогу на высоту пятидесяти или шестидесяти футов, а потом прыгал с камня на камень на самой вершине, радостно размахивая руками, в то время как я наблюдала за ним снизу, обмирая от страха. Спустившись на берег, он заверил меня, что нисколько не боялся оступиться, но мне очень хотелось бы, чтобы *немного* бояться он все же научился, хотя бы ради моего спокойствия!

От Карбертона пока нет никаких известий, но сегодня утром в Данбаре интуиция подсказала Феликсу наведаться в судовое агентство. Там он узнал, что двадцать девятого июня из Ливерпуля в Рио-де-Жанейро отплывает пассажирское судно «Утопия». Усмотрев в таком названии доброе предзнаменование, он тотчас же заказал для нас каюту; плату за билеты нужно внести пятнадцатого числа, и Феликс уверен, что к тому времени сделка купли-продажи уже состоится.

Признаюсь, у меня сердце похолодело от этой новости — ведь двадцать девятое наступит так скоро! — но я исполнена решимости подавить дурные предчувствия. Феликс смотрит в будущее с превеликим воодушевлением, и мне просто страшно его разочаровывать. «Мы навсегда забудем о холодных пасмурных зимах! — воскликнул он, входя в дом. — Потому что в Рио-де-Жанейро тепло и солнечно круглый год». Хотя он уверен, что навсегда исцелился от меланхолии, с моей стороны было бы непростительным эгоизмом пытаться удержать его здесь, где зимы будут напоминать ему о той ужасной душевной тьме. Я сказала лишь, что мне очень тяжело навсегда расставаться с тобой, но Феликс весело ответил, мол, само собой, мы будем приезжать в гости. Возможно, немного пожив в Рио, он с радостью переберется куда-нибудь поближе — в Испанию, например, или на один из островов Греции (позавчера вечером он читал мне восхитительные строки из «Дон Жуана», где говорится о греческих островах). Тогда мы сможем проводить все лето в Англии (под Англией я разумею Неттлфорд, конечно же), обитать в наемном коттедже по соседству и видеться с тобой каждый день.

С любовью к тебе и милому Годфри,

твоя любящая кузина

Розина

Керкбрайд-коттедж

Вторник, 5 июня 1860

Дорогая Эмилия! Вот мы и сочетались законным браком, хотя сама церемония, проведенная суровым и (мне показалось) осуждающим нас священником в присутствии двух платных свидетелей, нетерпеливо переминавшихся с ноги на ногу, оставила столь жалкое и тягостное впечатление, что по выходе из церкви я всплакнула и даже Феликс был заметно подавлен. День стоял погожий, но отмечать знаменательное событие нам совершенно не хотелось, и мы уже собирались вернуться домой, когда мой новоиспеченный муж заметил извозничий двор и предложил нанять коляску до вечера. Быстрая езда вдоль побережья вернула нам хорошее настроение. Примерно в миле за деревней Скейтро мы увидели маленькую безлюдную бухту и привязали лошадей близ травянистой ложбины, где нам обоим в голову пришла одна и та же мысль: ведь фактически мы женаты не три часа, а уже три недели. Расстелив на траве плащи, мы предались любви, а когда потом я лежала под теплыми солнечными лучами, обнимая спящего Феликса (редкое наслаждение!), у меня было ощущение, будто мы при жизни вознеслись на небеса и парим в сиянии неземного света.

Уже через четыре дня я наконец заключу тебя в объятия. В пятницу утром мы выедем курьерским в Лондон и остановимся на ночь в отеле «Грейт-Нозерн», чтобы Феликс смог повидаться с мистером Карбертоном по поводу договора купли-продажи. Мне страшновато останавливаться в такой близости от Портленд-плейс, но Феликс, вопреки своим недавним словам, утверждает, что обвинение в похищении ему не грозит. «Тогда я был расстроен письмом Эдмунда и плохо соображал, — сказал он. — Ты моя законная жена, и, если кто-нибудь к нам пристанет, он у меня живо сядет под арест». Феликс наведается в контору мистера Карбертона в субботу утром, а потом мы сразу же поедem на Паддингтонский вокзал и прибудем в Неттлфорд самое позднее в шесть вечера. И тогда мое счастье станет действительно полным.

Твоя любящая кузина

Розина

Привокзальная гостиница,

Дарем

Четверг, 7 июня 1860

Дорогая Эмилия! Я битый час просидела над чистым листом бумаги, мучительно думая, что же написать тебе, и пытаюсь представить твои ответы, но в ушах у меня неумолчно звучит собственный голос: «Боже, как глупа ты была, как неопиcуемо глупа!» Мне следовало знать... но откуда я могла знать? Феликс... впрочем, попробую рассказать все по порядку.

Сегодня утром — мне кажется, с тех пор прошла целая вечность, — мы с Феликсом отправились в Данбар. «Закон на нашей стороне, — весело сказал он, — и отступить не собирается». Погода стояла прохладная, но ясная, и я решила не заходить с ним в почтовую контору (он был уверен, что договор купли-продажи наконец-то пришел), а подождать на лавочке у двери. Сидя там на солнышке, в самом безмятежном расположении духа, я случайно бросила взгляд на противоположную сторону улицы и вдруг увидела в проходе между домами давешнего незнакомца со шрамом, пристально наблюдающего за мной. На сей раз он был в фуражке, низко надвинутой на лоб, но шрам я узнала сразу. Как только наши взгляды встретились, мужчина быстро отступил назад и скрылся в тени.

Я вскочила со скамейки и кинулась в почтовую контору, чтобы предупредить Феликса, стоявшего там у стойки. Впервые за все время нашего знакомства Феликс выказал раздражение. «Да это просто какой-нибудь местный фермер!» — резко промолвил он и вернулся к разговору с женщиной-почтмейстером. Когда мы вышли на улицу, зловещего субъекта нигде поблизости не было, и мы двинулись домой в гнетущем молчании. Феликс мрачно размышлял о чем-то — вероятно, о договоре, все еще не высланном мистером Карбертоном. Я, обиженная и встревоженная, часто оглядывалась через плечо и ловила неодобрительные (как мне казалось) взгляды Феликса.

— Прости меня, моя дорогая, — сказал он, когда мы подходили к коттеджу. — Я злюсь на Карбертона, а не на тебя. Может, прогуляемся еще немного?

— Нет, спасибо, — ответила я. — У меня все еще голова побаливает. Но ты пройдишь, коли хочешь; не беспокойся за меня.

Если бы Феликс решил остаться, я бы, наверное, полностью простила его. Но он небрежно чмокнул меня в щеку и зашагал в сторону Колыбели Святого Балдрета, не проводив меня в дом.

Я беспокойно бродила по комнатам, впервые за много дней жалея, что здесь нет фортепьяно. Феликс всегда возвращался из почтовой конторы в приподнятом настроении, выражая уверенность, что договор придет завтра, но ведь я ни разу прежде не находилась рядом с ним в первую минуту разочарования. Ему не следовало обращаться со мной столь пренебрежительно, но, с другой стороны, я должна была проявить больше понимания. Несомненно, он прав насчет мужчины со шрамом, который обязательно последовал бы за нами, когда бы имел недобрые намерения. И сегодня наш последний день в этом коттедже, нельзя покидать его в дурном настроении.

Феликс отсутствовал уже около четверти часа. Я сбежала по лестнице и выскочила к передней калитке, думая догнать его, но потом спохватилась: а вдруг он свернул с берега? Ветер улегся, солнце приятно пригревало, и я присела на каменную ограду в ожидании Феликса.

Через несколько минут на душе у меня опять стало беспокойно, и я уже собралась вернуться в дом, когда вдруг услышала стук колес и звяканье уздечки, доносящиеся с тропы за деревьями слева от меня. Я кинулась к коттеджу, но, прежде чем успела достичь двери, из-за деревьев показался экипаж — открытая коляска с кучером на козлах, а на сиденье за ним — дама в темном плаще и шляпе.

Борясь со страхом и любопытством, я осталась стоять на пороге. Кучер спрыгнул с козел и помог своей пассажирке выйти. Она просто приехала посмотреть коттедж, подумала я. Хозяин сообщил ей, что завтра мы съезжаем.

Дама негромко произнесла несколько слов, и кучер взобрался обратно на свое место и взялся за поводья. Когда она повернулась и направилась ко мне, я увидела, что она в тягости. И во всем ее облике было что-то знакомое — что-то такое, от чего кровь застыла у меня в жилах и сердце сковало льдом.

Это была Кларисса.

Не призрак, не галлюцинация, а моя сестра во плоти, улыбающаяся до боли знакомой улыбкой.

— Значит, теперь ты миссис Мордаунт, Розина? Феликсу придется выбирать между нами.

Я не чувствовала ровным счетом ничего; полагаю, я лишилась всякой способности

чувствовать, да и соображать тоже. Я пригласила Клариссу в дом — что еще мне оставалось делать? — и, кажется, даже предложила чаю. Выглядела она, по обыкновению, великолепно, несмотря на свое положение. Под дорожным плащом у нее оказалось роскошное атласное платье нежно-голубого цвета, богато отделанное кружевом; я же была одета простенько, как четырнадцатилетняя девочка, — любой человек, зашедший в комнату, принял бы меня за горничную. Глаза ее казались даже больше и темнее, чем мне помнилось (скорее всего, сурьма и белладонна, но примененные столь искусно, что и не скажешь наверное); волосы стали гуще и пышнее, а черты лица — еще тоньше, изящнее. У сестры сохранилась привычка смотреть на вас — на меня, по крайней мере, — с видимым интересом, к которому примешивалась неуловимая насмешка, едва заметная, как легкие мазки румян у нее на скулах. Но старая насмешка приобрела новые оттенки ожесточения, горечи, недоверия и холодной решимости, каких я не замечала никогда прежде. Волнение Клариссы выдавали только руки: она нервно сплетала и расплетала пальцы под широкими рукавами.

Словно в кошмарном сне, когда ты не в силах пошевелиться или заговорить, я сидела и слушала. Сестра объяснила, что женщина, погибшая вместе с Джорджем Харрингтоном, была ее служанкой, молодой англичанкой, нанятой в Дувре. Кларисса застигла парочку на месте преступления, как она выразилась, за неделю до несчастного случая (еще во Флоренции) и сразу же ушла от своего любовника, забрав с собой все, что только смогла. По ее предположению, девица решила назваться миссис Харрингтон, когда они с Джорджем перебрались в Рим.

В Сиене, путешествуя под именем Каролины Дюмон, молодой вдовы, Кларисса услышала новости о собственной смерти и тотчас положила навсегда оставить Клариссу Вентворт в могиле. Она не сказала, заподозрила ли отца в причастности к трагедии, но решение было принято, и отказываться от него она не собиралась. А потом на балу-маскараде в Венеции познакомилась с Феликсом Мордаунтом.

Их связь продолжалась около месяца и закончилась, когда Кларисса сблизилась с неким мистером Хендерсоном, состоятельным американцем лет сорока.

— Феликс был младшим сыном, без определенных видов на будущее, — спокойно заявила она. — Он никогда не упоминал, что наследует отцу, иначе я бы осталась с ним.

Помню, при этих словах я бросила взгляд на два скрещенных кинжала, висевшие на стене у сестры за спиной, и представила совершенно хладнокровно, как хватаю один из них и вонзаю ей в грудь. Должно быть, какое-то чувство все же отразилось на моем лице, ибо Кларисса добавила:

— На моем месте ты поступила бы точно так же. У меня не было выбора. К тому времени я уже продала все, что можно продать, по самой дорогой цене, какую можно выторговать. Вопрос стоял ребром: либо я ухожу от него, либо влачу голодное существование.

По ее словам, расстались они по-доброму. Феликс отправился в Рим, а она осталась со своим американским поклонником в Венеции, где очень скоро поняла, что ждет ребенка от Феликса. Сестра сказала мистеру Хендерсону, что беременна от него, но он сразу заподозрил обман, а с течением месяцев подозрения усугубились, и в конечном счете Кларисса опять осталась одна. В скором времени она узнала от новой знакомой, что некая Розина Вентворт (разговор шел о лондонском обществе) последовала примеру своей покойной сестры и сбежала из дома с Феликсом Мордаунтом, наследником поместья Мордаунтов.

За отсутствием иных перспектив, Кларисса вернулась в Англию и отправилась к Треганнон-хаус, где рассчитывала найти нас, но застала только Эдмунда Мордаунта.

— Я понравилась ему не больше, чем он мне, но у нас оказались общие интересы. Его слуга на днях выследил вас, и мистер Мордаунт колебался, сообщать ли сведения нашему отцу. Он опасался, что под угрозой тюремного заключения Феликс может совершить какой-нибудь безумный поступок — например, передать все поместье тебе по договору дарения. Эдмунд Мордаунт искал способ разлучить вас с Феликсом и вдобавок, будучи человеком самых честных правил, чувствовал известные обязательства передо мной как очередной женщиной, совращенной его братом, а потому дал мне ваш адрес, хоть и весьма неохотно.

Кларисса была прежней любовницей Феликса и носила под сердцем его дитя. Мне следовало бы рвать и метать, но я не чувствовала никакого гнева — примерно такие ощущения испытываешь в момент, когда сильно порезалась ножом и время для тебя словно застывает: ты знаешь, что сейчас хлынет кровь, но видишь только белую, глубоко рассеченную плоть, а спустя целую вечность в ране начинают набухать капельки крови.

— Чего тебе надо? — тусклым голосом спросила я. Вопрос прозвучал глупо — не только глупо, но и неуместно.

— Денег, разумеется. Ну или мы можем счастливо жить втроем в какой-нибудь магометанской стране, где мужчинам дозволено иметь больше одной жены; Феликса это точно устроит. А теперь, Розина, твой черед откровенничать. Ну же, расскажи, как ты с ним познакомилась.

Внезапно переменившись в лице, она отшатнулась назад в кресле. Я обнаружила, что стою перед ней с поднятыми кулаками, совершенно не помня, как вставала; стою, оглушенная сознанием, что обманула-то меня не Кларисса, а Феликс. Я медленно уронила руки.

И даже если Феликс не лгал. «Я вступал в телесную близость прежде». Добавь он «твоей сестрой», я бы никогда... Но ведь он не знал, не мог знать, что она моя сестра, да и Кларисса не могла предположить, что из всех женщин на свете именно я... Лили предостерегала меня, как предостерегла бы ты, кабы я спросила твоего совета вместо того, чтобы очертя голову броситься в объятия Феликса. Отец не смог бы принудить меня к браку с мистером Брэдстоуном. Я сама себя обманула.

Если бы не это случайное стечение обстоятельств... впрочем, нет, не такое уж случайное. Сердечная улыбка появившаяся на лице Феликса, когда он впервые увидел меня на приеме у миссис Трейл: я всегда старалась подавить это воспоминание, чтобы не ревновать. «Прошу прощения, я обознался».

Его повлекло ко мне, потому что я напомнила ему Клариссу.

Я все еще стояла неподвижно, уставившись на нее, когда услышала стук передней двери и веселое насвистывание в прихожей. Потом на пороге гостиной появился Феликс, улыбаясь самой теплой своей улыбкой:

— Любимая моя, мне так...

Улыбка медленно сползла с лица.

— К-каролина... — заикаясь проговорил он. — Что... что ты?..

— Это не Каролина, — сказала я. — Это Кларисса, моя сестра и мать твоего будущего ребенка.

Лицо Феликса жалобно сморщилось; глубокие складки пролегли там, где никогда не было и намек на складки, — так открываются трещины в стене за секунду до обрушения.

Он весь поник, съежился под моим холодным взглядом, и в нем ничего не осталось от мужчины, которого я любила.

Он пошевелил губами, но с них не слетело ни звука. Потом шагнул вперед, с безнадежной мольбой протягивая ко мне руки.

— Не смей до меня дотрагиваться, — сказала я, не узнавая собственного голоса. — Я тебе никто: *она* твоя жена. Я иду наверх за своими вещами. Я не желаю разговаривать ни с одним из вас, никогда впредь.

Феликс сделал еще одну безуспешную попытку заговорить. На мгновение мне показалось, что он собирается удержать меня, но его рука бессильно упала, и я, не оглядываясь, вышла из комнаты. Я ступала твердо, руки у меня не дрожали, глаза были совершенно сухие. Двигаясь как автомат, я поднялась в спальню, собрала последние вещи, которые еще не успела упаковать (включая кошелек с запасными десятью гинейми, отданный Феликсом мне на хранение), надела дорожный плащ и закрыла чемодан.

Он ждал у подножья лестницы, бледный как мел:

— Розина, умоляю тебя...

Он опять попытался было прикоснуться ко мне и опять бессильно уронил руку. Краем глаза я видела Клариссу, но никто из них не вымолвил ни слова мне вслед, и секунду спустя я захлопнула за собой дверь.

Я не заплакала тогда и до сих пор не проронила ни слезинки. Завтра я сяду на поезд до Лондона, а оттуда отправлюсь напрямик в Плимут. Таким образом, я буду у тебя днем раньше намеченного срока, — надеюсь, ты не возражаешь. Я ума не приложу, что мне теперь делать, — знаю лишь, что сначала мне нужно увидеться с тобой.

Отправлять это письмо не имеет смысла. Наверное, я сожгу его — или сохраню как напоминание о своей несказанной глупости.

Дневник Джорджины Феррарс (продолжение)

Я внимательно просмотрела все содержимое пакета, но никакого письма от матушки там не оказалось. Вероятно, какие-то другие бумаги после нее все же остались, но они погибли вместе с нашим домом. Не иначе именно про них говорила тетя Вайда перед самой смертью: «У меня было все записано, но теперь бумаги покоятся под завалом».

Бедная Люсия! Не подлежит ни малейшему сомнению: ее матерью была Кларисса, а не Розина. Матушка оставила мне письма, поскольку — из-за истории с несчастной Розиной — не хотела, чтобы я вышла замуж за одного из Мордаунтов, вот и все. Розина умерла через три дня после моего рождения, именно это и надорвало сердце матушке, как сказала тетя Вайда... вернее, сказала бы, если бы могла.

Но как умерла Розина? Уж не наложила ли на себя руки? Постараюсь не думать об этом. Я должна думать о Люсии и том, как мне поступить.

Можно сжечь письма и сказать ей, что мистер Ловелл так и не отдал мне пакет.

А завещания? А брачное свидетельство Розины? Их тоже сжечь?

Складывается впечатление, будто матушка считала, что мы имеем какие-то права на поместье Мордаунтов. Среди всего прочего в пакете находится копия завещания, составленного Феликсом в Белхавене «в преддверии брака с моей возлюбленной невестой Розиной Мэй Вентворт», согласно которому все поместье переходит к ней. А также копия завещания, составленного Розиной в Неттлфорде двенадцатого декабря 1860 года, согласно которому все ее имущество переходит «к моей любимой кузине Эмили Феррарс, в полном соответствии с запечатанными распоряжениями, кои ей надлежит вскрыть в случае моей смерти», — однако никаких распоряжений в пакете нет.

Если Феликс Мордаунт все еще жив... Но нет, поместье унаследовал Эдмунд Мордаунт. Видимо, Феликс снова изменил завещание перед смертью.

Если только он не сошел с ума, как его брат Хорас, и не заточен сейчас в психиатрической клинике Треганнон.

Следует ли рассказать все Люсии? Она непременно заподозрит... то, о чем мне даже думать не хочется... и тогда я точно ее потеряю.

Но если наше счастье будет построено на лжи... да и лгать я совсем не умею. Люсия почувствует, что я что-то скрываю от нее, и будет пытаться меня, пока я не признаюсь, и тогда все будет хуже, чем если бы я сразу рассказала правду.

Нет, если я пойду на обман, а она разоблачит меня, между нами ляжет тень отчуждения, и я все равно потеряю Люсию.

Но вдруг я ошибаюсь? Вдруг Кларисса не имеет к ней никакого отношения? Однако, прочитав письма, Люсия неминуемо придет к такому же выводу, что и я. Знаю, я хватаюсь за соломинку, но если есть хотя бы один шанс из тысячи...

До возвращения в Лондон мне надо постараться выяснить, что случилось с Клариссой и Феликсом. Можно, конечно, обратиться за помощью к Генри Ловеллу... хотя нет, я лишила себя такой возможности, когда солгала поверенному, что помолвлена с человеком, которого даже в глаза не видела.

Уж если кто и знает все, так это Эдмунд Мордаунт. До Лискерда всего двадцать миль пути — не более получаса на поезде. А если клиника Треганнон расположена поблизости от города, я наведаюсь туда с утра пораньше и успею вернуться в Лондон к вечеру.

Но даже если Эдмунд Мордаунт окажется дома и согласится принять меня, я не смогу объяснить свой интерес к судьбе Клариссы и Феликса, не выдав тайну Люсии. И я забываю про завещания. Если он знает о завещании Розины (предположим, в свое время права на поместье все-таки заявлялись), то вряд ли обрадуется появлению некой мисс Феррарс. И вряд ли согласится хранить нашу тайну. Думаю, мне следует назваться Люсией Эрден... но нет, без разрешения Люсии никак нельзя.

Л. Э. Ее инициалы на чемодане. Лаура? Лили? Люси Эштон. Имя само собой пришло в голову.

Ну конечно! Я скажу, что хочу получить консультацию у доктора — как там его зовут? — Стрейкера. И расскажу ему все, что необходимо, обязав хранить тайну. Он давно знает семью Мордаунт; если я отдамся на его милость, возможно, мне удастся склонить его к откровенности. И даже если он откажется помочь, хуже-то от этого не станет.

Завтра я возьму с собой все свои вещи, чтобы сразу после визита к доктору Стрейкеру отправиться на станцию и сесть на лондонский поезд.

Рассказ Джорджины Феррарс

Стоя на коленях в пыли, одной рукой я прижала бювар к груди, а другой машинально потянулась к шее за цепочкой — ни цепочки, ни ключа я, само собой, не нашла. Оба замочка были заперты. Я подергала крышку, пытаясь оторвать ее по шву, но потом меня осенило, что вероятность моего освобождения возрастет, если сохранить бювар в целости. Поэтому я провела целую вечность, ковыряясь в замочках согнутой шпилькой. Руки у меня так дрожали, что несколько раз я сильно укололась, и ко времени, когда оба замочка открылись, голубой кожаный портфельчик был измазан кровью.

Я достала из бювара свой дневник, а также две пачки писем, написанных незнакомым почерком, пакет с какими-то юридическими документами, визитную карточку адвоката с адресом его родителей на обратной стороне — «С. Х. Ловелл, Йилм-Вью-роуд, Носс-Мейо» — и принялась читать. Я все еще сидела на полу в меркнувшем свете дня, когда услышала удары далекого гонга и с лихорадочной поспешностью затолкала все обратно в тайник, а потом быстро привела комнату в порядок, пока не пришла Белла. Должно быть, я ела — если вообще ела — в состоянии подобном трансу, ибо следующее, что я помню, — как опять сижу в своей комнате, закрытой изнутри на щеколду, с письмом Розины в руке.

Во все время заточения в женском отделении «Б» я считала, что туман в моей памяти рассеется, если только я сумею выяснить, что происходило со мной в течение нескольких недель, предшествующих моему появлению в клинике. Однако, даже прочитав свой дневник в третий раз, я не почувствовала ни малейшего отклика внутри. Я могла более или менее убедить себя, что помню, как гуляю с Люсией в Риджентс-парке или обращаюсь к дяде Джозаюе с требованием разрешить ей поселиться у нас. Но это было все равно что перебирать воспоминания раннего детства, пытаясь отличить настоящие от воображаемых, созданных на основании матушкиных рассказов. Туман оставался все таким же непроницаемым.

На самом деле у меня было ощущение, будто я потеряла все свое прошлое, а не несколько недель жизни. Люсия украла мое имя, мои деньги, мое сердце и оставила меня гнить в сумасшедшем доме. Все, что она рассказала мне, — даже имя «Люсия Эрден» — было ложью, искусно сплетенной, чтобы уловить меня в коварные сети. И я не могла вспомнить ни единого слова, ею произнесенного, или вызвать в памяти хотя бы смутное видение ее лица, если не считать кошмарного момента на пороге дядиного дома вечером в день моего побега.

Обманула ли она и доктора Стрейкера тоже? Потрясение, которое я испытала, сначала обнаружив могилу Розины, а потом прочитав ее последние письма и поняв (хотя все мое существо противилось этой мысли), что Феликс Мордаунт не только отец Люсии, но и мой тоже и что Розина умерла через несколько дней после того, как родила меня... потрясение, вызванное всеми этими открытиями, привело к тяжелому припадку, как и говорил доктор Стрейкер.

Опрометчиво приехав сюда под именем Люси Эштон, я действовала все равно что по прямому указанию Люсии.

А возможно, так оно и было. Я еще раз перечитала свое описание миссис Ферфакс — как она восхваляла доктора Стрейкера, как много всего знала про лечебницу Треганнон. Я действительно где-то слышала этот голос раньше. Миссис Ферфакс напомнила мне Люсию.

И если бы я оставила завещания у Генри Ловелла, как поступил бы любой здравомыслящий человек, Люсия впоследствии могла бы завладеть документами и, выдавая себя за Джорджину Феррарс, предъявить права на поместье Мордаунтов.

Когда часы пробили десять, я снова спрятала все в тайник и погасила свечи, чтобы Белла не постучала в дверь. Над крышей напротив блестели звезды; закутавшись в одеяло, я подошла к окну и задумчиво уставилась во двор, залитый лунным светом.

Мне следовало бы кипеть от гнева и разочарования, но я словно утратила всякую способность переживать. Казалось, будто я читаю о злосчастьях какой-то совершенно посторонней женщины, которая вызывает у меня известное сочувствие, но судьба которой никак меня не касается. Я гадала, сумею ли когда-нибудь впредь чувствовать что-нибудь. Мир моего детства с матушкой и тетей Вайдой остался нетронутым, только теперь казался бесконечно далеким, словно смотришь на него в перевернутую подзорную трубу. В холодном оцепенении, сковавшем мою душу, смутно чудилось что-то знакомое.

Но все же надо решить, что делать дальше.

Можно отдать доктору Стрейкеру бумаги и дневник (предварительно вырвав из него самые откровенные страницы, посвященные Люсии, хотя ведь таковых там большинство). Тогда он удостоверится, что я говорила чистую правду.

Однако таким образом я предоставлю доказательства, что являюсь законной наследницей Треганнон-хауса (если только Феликс не изменил завещание впоследствии). Эдмунд Мордаунт будет опозорен, Фредерик лишится наследства, а доктор Стрейкер потеряет свое царство. Я могу сказать, что поместье мне не нужно, а нужны лишь моя свобода, мое имя и мой скромный доход, но разве он мне поверит? Для него гораздо безопаснее просто сжечь бумаги — без них лондонская «мисс Феррарс» не представляет никакой угрозы — и запереть меня в самом дальнем уголке клиники.

Можно показать бумаги Фредерику, но опять-таки с риском для собственной жизни.

Или можно еще раз попытаться сбежать. Но без денег, без имени и без единого человека, готового прийти на помощь (Люсия наверняка уже покорила сердце Генри Ловелла), все дороги ведут меня обратно в женское отделение «Б». Или куда похуже.

Впрочем, есть еще один вариант.

Я долго стояла у окна, наблюдая за тенями, медленно ползущими по стене напротив, и обдумывая дальнейшие свои действия.

Назавтра в десять часов утра я сидела на скамье у входа в отделение для добровольных пациентов. Я сказала Белле, что буду весьма ей признательна, если в случае встречи с мистером Мордаунтом она упомянет, что мне хотелось бы поговорить с ним. Теперь оставалось только ждать.

В воздухе веяло прохладой, но спину приятно пригревало солнце. За деревьями слева от меня проглядывала краснокирпичная кладка — вероятно, заброшенная старая конюшня, где Фредерик слышал таинственный стук. В полях поодаль, как и вчера, вскапывали землю работники. Мною владело странное, почти пугающее спокойствие.

По крайней мере, теперь я точно знаю, что я не сумасшедшая. С этой мыслью я проснулась сегодня. Пусть в жилах моих и течет кровь Мордаунтов, но я выдержала целых пять месяцев в психиатрической клинике, не сломившись. Эта же самая мысль пришла ко мне и сейчас, подобная дуновению теплого ветра. Задумчиво глядя вдаль, я вдруг осознала также, что меня не особенно волнует тот факт, что я оказалась дочерью Розины, а не моей

милой матушки. Никто не любил бы меня больше, чем она; и если бы Розина не умерла, у меня были бы две любящие матери. Я вспомнила свои игры с зеркалом и испуганное лицо матушки, случайно услышавшей, как я кричу «Розина» своему отражению, — вспомнила и поняла, что на ее месте поступила бы точно так же. Тревожное выражение, часто появлявшееся у нее в глазах, когда она думала, что на нее никто не смотрит... Я хорошо представляла суеверный страх, одолевавший матушку при мысли, что из всех мужчин в королевстве я выберу в мужа одного из Мордаунтов, если она не примет мер предосторожности.

И получается, она правильно боялась. Ведь я приехала не куда-нибудь, а именно в клинику Треганнон и при других обстоятельствах вполне могла бы влюбиться во Фредерика Мордаунта, не подозревая, что он мой кузен. Только приехала-то я сюда не случайно, а из-за Люсии — по зову крови? — и, если я полюбила Люсию столь страстно, неужели я смогла бы проникнуться к Фредерику таким же чувством?..

— Мисс Эштон?

Я вздрогнула и вскочила на ноги. В двух шагах от скамейки стоял Фредерик Мордаунт.

— Простите, ради бога. Я не хотел напугать вас.

— Да... то есть нет, я просто... Может, пройдемся немного?

— Да, конечно, — сказал он, приноравливаясь к моему шагу, когда я бездумно двинулась в сторону деревьев. — Вы... э-э-э... обмолвились, что хотели бы поговорить со мной.

— Да, мистер Мордаунт. Я полагаю нужным... я поняла, что должна извиниться перед вами. Я была... необоснованно резка и несправедлива...

— Мисс Эштон, мисс Эштон, это я должен просить у вас прощения...

— Но вы уже извинились, мистер Мордаунт, и мне следовало принять ваши извинения более милостиво. Я нахожусь здесь не по вашей вине.

Фредерик разжал стиснутые пальцы, глубоко вздохнул, почти всхлипнул и отвернул лицо, чтобы скрыть волнение.

— Не могу выразить, мисс Эштон, как много значит для меня ваше великодушие. Тем более что...

— Тем более?.. — подсказала я.

— Ну... тем более что вы по-прежнему считаете себя мисс Феррарс.

— Я думала об этом. Благодаря вашей доброте я получила больше свободы, и теперь мне легче допустить, что... я действительно была больна, как с самого начала утверждал доктор Стрейкер. Повторяю, вы ни в чем не виноваты. Мне не следовало отвлекать вас от дел, мистер Мордаунт, но я полагала своим долгом поблагодарить вас.

— Понимаю. — Голос его звучал удивленно, почти испуганно.

— Однако, прежде чем поговорить с доктором Стрейкером, — продолжала я, — мне хотелось бы хорошенько все обдумать. Поэтому я попросила бы вас...

— Клянусь честью, мисс Эштон, я не скажу ему ни слова.

Щеки у него покраснелись; он смотрел на меня пристально, насколько позволяли приличия, и с нескрываемым обожанием. Я же с показным спокойствием глядела прямо перед собой, пытаясь вообразить, как бы он воспринял сообщение, что мы с ним состоим в двоюродном родстве.

Мы приближались к роще, состоявшей преимущественно из дубов и ольхи, которые росли очень тесно. Между деревьями петляла узкая тропинка. Фредерик начал уклоняться

вправо.

— Может, пойдем через рощу? — невинно спросила я.

— Лучше не стоит. Там все заросло кустарником, и вам будет... А вдоль западного края рощи пролегает удобная дорожка.

Говорил Фредерик непринужденным тоном, но мне показалось, что он упорно отводит глаза от полуразрушенной конюшни. Некоторое время мы шли молча по ухабистой тропе, тянувшейся через поле и огибавшей рощу.

— Помнится, вы сказали однажды, что в детстве вам было очень одиноко здесь, — наконец решилась я нарушить молчание.

— Вы помните наш разговор? — возбужденно воскликнул Фредерик.

Он снова устремил на меня обожающий взгляд, но я притворилась, будто ничего не замечаю. Я позволила расстоянию между нами сократиться, и теперь наши плечи почти соприкасались.

— После всего, что вы здесь вынесли... я просто... — Казалось, он хотел сказать «потрясен», но оборвал себя на полуслове. — Да, это действительно так. Я рос совсем один, без друзей и товарищей.

— И у вас не было никаких других родственников? Тетушек, дядюшек, кузенов или кузин?

— Никого. У дяди Эдмунда был младший брат, но он покончил с собой, как и мой отец Хорас.

Я ошеломленно уставилась на Фредерика, споткнулась о кочку и схватилась за его руку, чтоб не упасть.

— Я не знала, — пролепетала я. — Про вашего отца, я имею в виду.

— Я предпочитаю не упоминать об этом. Он содержался под строгим наблюдением, но каким-то образом сумел...

— Очень жаль это слышать.

Слова прозвучали страшно банально. Сквозь ткань сюртука я чувствовала, как дрожит рука Фредерика, — или то моя рука дрожала? Собравшись с духом, я задала следующий вопрос:

— А что... с младшим братом?

— Боюсь, та же история. Он... мой дядя Феликс... бесследно пропал с корабля, шедшего в Южную Америку; однако, с учетом наследственной предрасположенности к самоубийству в нашем роду, сомневаться здесь не приходится. Совсем недавно, разбирая бумаги, я наткнулся на официальный отчет о происшествии. Пассажирское судно «Утопия», отплывшее из Ливерпуля, третий день находилось в пути. Вечером Феликс Мордаунт отужинал в общей столовой — погода стояла безветренная, по морю шла легкая зыбь, — и больше его никто не видел.

— А вы... помните его?

— Нет, мне еще и трех не стукнуло, когда он умер. Кажется, дело было летом шестидесятого года. Я почти ничего о нем не знаю. Дядя Эдмунд избегает разговоров о своем брате Феликсе, слишком уж огорчительная для него тема.

Внезапно я осознала, что по-прежнему крепко держусь за руку Фредерика, и поспешно отпустила ее. Феликс не остался с Клариссой; он сел на корабль, на котором собирался плыть с Розиной, а потом утопился — несомненно, от горя, что навеки потерял любимую. Нет, он не стал бы переписывать завещание в пользу Эдмунда, разрушившего его счастье.

— Мисс Эштон?.. Боюсь, я расстроил вас.

— Нет-нет, просто... — Я шагнула вперед и вдруг поняла, что ноги подо мной подкашиваются. — Мне хотелось бы немного посидеть.

С помощью Фредерика я перебралась через поваленное дерево и села на него. В нескольких ярдах слева от меня начиналась тропинка, уходящая вглубь рощи. Я заметила, как Фредерик бросил взгляд на нее, и подумала, уж не к старой ли конюшне она ведет.

— Как бы безрадостно это ни звучало, — сказал он, — но все эти прискорбные истории давно стали частью моего существа. Они утратили способность причинять боль.

Последовало короткое молчание.

— Мисс Эштон, — нерешительно продолжил Фредерик, — своими словами вы будто сняли тяжелый камень с моей души. Надеюсь, вы не поймете меня неправильно, если я напомню вам, что мой кошелек будет к вашим услугам, когда вам разрешат покинуть клинику.

«На самом деле, сэр, — мысленно ответила я, — это *мой* кошелек, и у меня есть документы, доказывающие это». Так-то оно так, но только сначала мне нужно доказать, что я Джорджина Феррарс.

— Вы очень добры, мистер Мордаунт, — тихо сказала я, стараясь не переигрывать. — Мне следовало быть любезнее с вами, когда вы в первый раз предложили денежную помощь.

Он опять обратил на меня обожающий взгляд, в котором теперь забрезжила недоверчивая надежда. Нет, подумала я, никто на свете не способен имитировать такие искренние эмоции, бледнеть и краснеть усилием воли... Я почувствовала сильное желание довериться Фредерику, положиться на его честь и явную влюбленность в меня, но потом вспомнила свой дневник: Люсии я доверилась, обманутая точно такими же проявлениями искреннего чувства (хорошо бы еще восстановить хоть что-нибудь в памяти). Вдобавок я напомнила себе, что Фредерик просто боготворит доктора Стрейкера, и решила не отступать от своего первоначального плана.

— Вы сказали «когда мне разрешат покинуть клинику», мистер Мордаунт. А вы уверены, что доктор Стрейкер отпустит меня?

— Да, мисс Эштон, уверен... хотя у меня, как вы знаете, нет возможности поторопить события.

— Но почему, позвольте спросить, он не желает отпустить меня сейчас же? Я не представляю опасности ни для себя самой, ни для окружающих; я признаю, что не являюсь Джорджиной Феррарс, и готова терпеливо ждать, когда ко мне вернется моя настоящая память, — так в чем же препятствие?

— Боюсь, препятствий несколько. Доктор Стрейкер опасается, что ваша настоящая память, как вы выражаетесь, никогда не вернется к вам, если выпустить вас из клиники преждевременно, — это его слова, не мои. И он не теряет надежды установить вашу подлинную личность, просматривая списки пропавших без вести, и вернуть вас вашим родным и близким, если, конечно, таковые у вас... — Фредерик неловко осекся.

— Но *вы*, мистер Мордаунт, считаете справедливым, что доктор Стрейкер держит меня здесь как сумасшедшую? Если я способна жить в обществе, разве не следует дать мне такую возможность?

— Что касается меня, я с вами согласен. Я не считаю вас сумасшедшей и не могу даже представить... — Фредерик потряс головой, словно приводя в порядок мысли. — Но загвоздка, по словам доктора Стрейкера, состоит вот в чем: ваше психическое расстройство

настолько редкое — ему известны всего четыре похожих случая, обо всех сообщалось из Франции, — что он просто не может предсказать, когда и благодаря чему оно пройдет. Как я говорил вам вчера, мне лично кажется, что, если бы вы — не скажу «побеседовали» — пообщались с мисс Феррарс в приемлемой для вас обеих обстановке, злые чары разрушились бы. Но доктор Стрейкер, как я упомянул вчера же, категорически против: он боится, что потрясение убьет вас.

— Я так не думаю, мистер Мордаунт. Я держусь одного мнения с вами: разговор с мисс Феррарс очень помог бы мне. На самом деле... конечно, я не имею права просить вас... — Я посмотрела на него самым умоляющим взглядом, на какой была способна. — Но не могли бы *вы* навеститься к мисс Феррарс на Гришем-Ярд и попытаться уговорить ее встретиться со мной?

— Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, мисс Эштон. Но доктор Стрейкер ни за какие блага не согласится на такое.

— А вдруг он ошибается? Разве не следует вам положиться на свою интуицию? Если это вернет мне память и приведет к моему освобождению, ужели он не простит вас? И не признает великодушно, что вы были правы, а он ошибался? А я была бы вечно благодарна вам, — добавила я, вновь устремляя на него умоляющий взгляд.

— Мисс Эштон, я бы с радостью... Но даже если я пойду наперекор воле доктора Стрейкера, ничего не получится: ведь мисс Феррарс заявила со всей определенностью, что не станет встречаться с вами, пока мы не вернем ей бювар.

— Но, как вы сами сказали, мистер Мордаунт, если это поможет мне вспомнить, куда я его подевала...

В душе Фредерика явно происходила борьба; его руки, сцепленные на коленях, дрожали.

— Ой, я вспомнила кое-что! — воскликнула я, разыгрывая свой последний козырь. — Имеющее отношение к бювару.

— Да, мисс Эштон?

— «Завещание тети Розины». Не знаю, что это значит: слова сами собой всплыли в уме, но сердце говорит мне, что мисс Феррарс поймет их.

Сердце мое ничего такого не говорило, а просто бешено колотилось, и во рту у меня пересохло. Я поставила на то, что имя «Розина» ничего не скажет Фредерику.

— Понятно. Уж не возвращается ли к вам память, мисс Эштон? Доктор Стрейкер будет чрезвычайно...

— Прошу вас, Фре... мистер Мордаунт... вы обещали ни словом не упоминать ему об этом нашем разговоре, пока я не обдумаю все хорошенько.

— Конечно, если вам так угодно. — Он смотрел на меня взглядом, полным тревоги и обожания. — Я сделаю все возможное, чтобы убедить доктора Стрейкера, — насчет вашей встречи с мисс Феррарс. И представлю дело так, будто это целиком моя идея.

При словах «сделаю все возможное» у меня упало сердце.

— Но вы же сами сказали: он ни за что не согласится. — Мой голос прозвучал разочарованно без всяких усилий с моей стороны.

— Вы правы, — после паузы промолвил Фредерик. — Настало время мне... Я сообщу доктору Стрейкеру о своих намерениях, но напишу мисс Феррарс — чтобы наверняка застать ее дома — в любом случае, какое бы мнение он ни высказал.

— Благодарю вас, я в огромном долгу перед вами. А теперь, если вы не возражаете, я хотела бы вернуться в свою комнату и отдохнуть немного.

Он встал и протянул мне руку. Несколько секунд мы стояли лицом к лицу, не разнимая рук. Фредерик глубоко вздохнул, словно собираясь сделать важное признание.

— Вы должны знать, что я... на сей раз не подведу вас, — проговорил он, с видимым усилием удержав слова, готовые сорваться с языка.

Я улыбнулась, снова выразила благодарность и, высвобождая руку, легко скользнула пальцами по его ладони, решительно прогнав мысль, что ведь я, пожалуй, ничем не лучше Люсии.

Я намекнула Фредерику, что, покуда держится хорошая погода, каждый день около трех пополудни меня можно будет найти здесь, сидящей с книгой на поваленном дереве. Он появился уже через несколько часов, даже более бледный, чем обычно.

— Я вырвался буквально на минуту. Хотел сказать вам, что мисс Феррарс получит мое письмо завтра с утренней почтой.

— Значит, вы поговорили с доктором Стрейкером?

— Да, и он сильно досадовал, а когда понял, что я в любом случае напишу мисс Феррарс, так и вовсе разгневался. Он опять обвинил меня в том... впрочем, это не важно. «Я не могу помешать тебе пригласить мисс Феррарс в Треганнон-хаус, — сказал доктор Стрейкер, — но, если после разговора с ней мисс Эштон станет хуже, виноват в этом будешь ты один. Мне очень хочется перевести мисс Эштон обратно в закрытое отделение, ради ее же блага, но ты, несомненно, будешь возражать и против этого. Ладно, если мисс Феррарс согласится (что маловероятно), мы устроим им встречу под самым пристальным нашим наблюдением. И повторяю: случись что, вся ответственность ляжет на тебя». Мы с ним ни словом об этом не обмолвились, но представлялось совершенно очевидным: он согласился единственно потому, что дядя Эдмунд может умереть в любую минуту, и тогда мне, как законному владельцу поместья, будет легко создать трудности для него... Надеюсь, я не очень вас расстроил, мисс Эштон.

— Нет-нет, все в порядке... просто одна мысль о строгом заключении... больше мне такого не вынести.

— Я этого не допущу, уверяю вас, если только вы... не придете в столь сильное нервное возбуждение, что не оставите нам иного выбора. Я пошел даже дальше и потребовал, чтобы он снял ваш диагноз. Но здесь доктор Стрейкер непреклонен. «Если я это сделаю, — сказал он, — мисс Эштон уедет в Лондон ближайшим поездом, а там отправится напрямик на Гришем-Ярд и устроит скандал. Мисс Феррарс вызовет констебля, и мисс Эштон сдадут в Бедлам. Я лично сомневаюсь, что она будет этому рада, — а ты как думаешь?»

— Но ведь я же признала, что я не... — Я осеклась, сообразив, что связала Фредерику руки, когда взяла с него обещание молчать.

— Да, — кивнул Фредерик, — но *он* не поверит, пока не убедится, что к вам вернулась память.

Минувшей ночью я обдумывала такую возможность: сказать доктору Стрейкеру, будто я вспомнила, что на самом деле я Люсия Эрден. Но он непременно захочет проверить правдивость моих слов; он уже назвал (и совершенно справедливо) историю Люсии явной выдумкой, а если меня изобличат во лжи, я потеряю расположение Фредерика и снова окажусь в женском отделении «Б».

Я опять почувствовала искушение показать Фредерику завещания и письма Розины и сказать: вот правда, теперь решение за вами. Но возможно ли представить, чтобы он — да и

вообще любой человек на его месте — безропотно отдал прибыльную частную клинику женщине, признанной душевнобольной и находящейся полностью в его власти? Даже если он по уши влюблен в нее? Мысль, что я являюсь законным владельцем огромного поместья, никак не укладывалась в уме, и при каждой попытке уразуметь этот факт у меня голова шла кругом. Закон законом, но хочу ли я лишиться Фредерика наследства? Вопрос оставался без ответа. Сейчас я не могла думать ни о чем другом, кроме как о необходимости вырваться из клиники и вернуть свое имя и свое состояние, украденные Люсией.

— ...мисс Эштон?

Я осознала, что Фредерик говорил все это время.

— Прошу прощения, я задумалась, — извинилась я. — Столько всего нужно... уяснить для себя.

Он пытливо заглянул мне в глаза, словно надеясь прочесть в них некие мои сокровенные мысли, и тотчас поспешно отвел взор в сторону. В полях поодаль продолжалась работа. Легкий ветерок, дувший с запада, шелестел листвой над нашими головами и приносил обрывки песни, которую пели работники. По холмам медленно ползли полосы солнечного света. Я подумала обо всех страдальцах, заточенных в какой-нибудь сотне ярдов от нас, и зябко поежилась.

— Мне нужно идти, — сказал Фредерик. — Да и вам, пожалуй, не стоит долго оставаться здесь; вы уже замерзли, наверное. Я сообщу вам, как только появятся новости.

Я еще раз поблагодарила его. На сей раз он не подал мне руку, но еще немного постоял на месте, не сводя с меня пристального взгляда, а потом расправил плечи, повернулся и ушел, не оборачиваясь.

На следующее утро после завтрака миссис Пирс, старшая смотрительница, остановила меня на выходе из столовой со словами, которые я меньше всего хотела услышать: доктор Стрейкер желает побеседовать со мной в моей комнате. Несколько мучительно долгих минут я просидела там в ожидании, рисуя в воображении все более и более ужасные последствия предстоящего разговора. Ко времени, когда доктор Стрейкер возник в дверях, я уже приготовилась к тому, что сейчас меня закуют в цепи и отволокут в самую дальнюю, самую темную камеру в клинике. Но он просто пощупал мой пульс (и, кажется, не заметил моего волнения) да порасспрашивал по заведенному обычаю, вспомнила ли я еще что-нибудь, и я посчитала благоразумным на все вопросы ответить отрицательно. Я поблагодарила доктора Стрейкера за то, что он перевел меня в отделение для добровольных пациентов, и сказала, что чувствую себя значительно лучше теперь, когда получила возможность гулять в рощах и полях. Он выслушал меня с иронической улыбкой, едва заметно кивнул, сообщил, что в скором времени снова ко мне наведается, и удалился.

Однако облегчение мое несколько умерялось... даже не знаю, чем именно... общим впечатлением от разговора — подспудным тревожным чувством, что держался доктор Стрейкер чересчур безразлично и обычный для него отстраненный вид казался сегодня слишком уж нарочитым. Все-таки за последние несколько дней Фредерик уже дважды выступил против его воли. Действительно ли он думает, что мне ничего об этом не известно? Или просто пытается усыпить мою бдительность, внушить ложное ощущение безопасности?

Или у меня просто воображение разыгралось от всех переживаний? Откуда мне знать, правду ли говорил Фредерик? Вполне вероятно, единственный человек, кого мне удалось обмануть, — это я сама.

Следующие три дня Фредерик не появлялся. Я говорила себе, что может пройти не одна неделя, прежде чем Люсия ответит на письмо — если вообще сочтет нужным ответить, — но все равно совсем поникла духом. Добровольные пациентки — в отделении находилось около дюжины женщин, все значительно старше меня, — старались держаться от меня подальше, и я ломала голову, кто же сообщил им, что я по-прежнему числюсь душевнобольной.

На четвертый день с утра я решила прогуляться к развалинам конюшни. В туманном воздухе сеялась мелкая изморось, поэтому ничего удивительного, что я закуталась в плащ и низко надвинула капюшон, когда зашагала по тропинке, которой ходила каждый день. На полпути к роще я сделала вид, будто вытряхиваю камешек из башмака, и быстро кинула взгляд назад. Никто по моим пятам не следовал, но мне почудилось, будто из всех до единого окон громадного здания за мной внимательно наблюдают зоркие глаза. Неприятное ощущение, будто мне смотрят в спину, не исчезало, пока тропинка не увела меня за пределы видимости из клиники.

Серый туман плыл низко над землей, клубясь и завихряясь среди деревьев. В разрывах туманной пелены я видела вдаль овец, чье блеянье приглушал сырой воздух. Смутные фигуры на поле у каменной стены все так же горбились над лопатами.

За вами будет вестись пристальное наблюдение. Но никакой слежки я не замечала, невзирая на все игры своего испуганного воображения. Неужели доктор Стрейкер и вправду расставил соглядатаев по всему поместью? Откуда он мог знать, в какую сторону я направлюсь?

Чтобы предсказать каждый ваш шаг, мисс Эштон, мне нужно было лишь представить, как бы я поступил на вашем месте.

Вот поваленное дерево и тропинка, ведущая вглубь рощи. Вступая под древесную сень, я по-прежнему не видела вокруг никого, кроме работников на поле в отдалении. Деревья здесь росли даже теснее, чем с другого края рощи; многие давным-давно повалились, и вокруг черных пней поднялись молодые деревца. Я торопливо шагала по тропинке, оставляя отчетливые следы, и вздрагивала каждый раз, когда под ногой у меня хрустела ветка. Неожиданно скоро я вышла на широкую прогалину, посреди которой громоздилась темная груда, сплошь увитая мокрым плющом. Фредерик описывал мне конюшню, какой она представлялась взору в ясный солнечный день; сейчас же, в сером туманном свете, она и на строение-то мало походила. Вот рухнувшая дверная перемычка и куча битых кирпичей рядом с узким проемом в стене.

Я затаила дыхание и напрягла слух. Хотя здание клиники находилось не более чем в пятидесяти ярдах отсюда, я не слышала ничего, кроме шороха капель и приглушенных птичьих криков. Я опасливо приблизилась.

Фредерик сказал, что стук раздавался, только когда он не прислушивался. Я опустилась на колени перед проемом и попыталась заглянуть в темноту внутри. На меня накатила волна сырого земляного запаха, потом вдруг раздался металлический звон.

Вскочив на ноги, я перемахнула через кучу битого кирпича и опрометью помчалась прочь, запоздало сообразив, что бегу я не в ту сторону, откуда пришла. А резкие металлические звуки все не стихали.

Не стук кирки в руках убийцы, закапывающего свою жертву, а звон башенных курантов, отбивающих очередной час.

Когда замерло эхо последнего удара, я различила за деревьями впереди древнюю каменную кладку: боковая... нет, задняя стена первоначального здания. Пробравшись через завалы палых листьев и хвороста, я вышла на разбитую мощеную дорожку. Усилившийся дождь громко шуршал в кронах деревьев, дробно барабанил по камням.

Там уже давно никто не живет. Многие окна на первом этаже плотно затянуло плющом; оконные стекла на верхних этажах почернели от грязи. Местами буйные заросли кустов подступали так близко к стене, что между густыми ветвями и осыпающейся каменной кладкой было не протиснуться.

Если где и можно найти вход в дом, подумала я, то именно здесь; и конечно же, никому не придет в голову искать меня тут. Первая дверь — толстая, обитая ржавым железом — не поддавалась моим усилиям, как я ни старалась. Но за мощным контрфорсом я обнаружила в стене глубокую нишу с узкой дверью в правой стенке. Прямо надо мной нависала громада башни.

Дверь была стрельчатая, наподобие ризничной, с массивным засовом, большой замочной скважиной под ним и ржавым железным кольцом посередине. Я подняла засов и без особой надежды потянула за ручку, — к моему удивлению, дверь открылась, громко проскрежетав петлями.

Я переступила порог и оказалась в круглом лестничном колодце, освещенном единственным окном не более фута шириной. Стертые каменные ступени спиралью поднимались в темноту. Никаких других дверей там не было.

Шум дождя снаружи усилился до грохота. Я пока еще не сделала ничего дурного, подумала я. Если меня застанут здесь, скажу, что просто пряталась от ненастья.

Через три полных витка лестницы я приблизилась к арочному проему в стене. Ступени поднимались дальше, но я свернула в арку и очутилась в пустом каменном помещении с еще более узкой дверью в стене напротив.

Либо дождь внезапно прекратился, либо толстые стены не пропускали ни единого звука. Я попробовала дверную ручку, в глубине души надеясь, что она не повернется. Однако эта дверь тоже оказалась незапертой — открылась наполовину и уперлась в какое-то препятствие.

В первый миг я разглядела в полумраке только груды стульев, столов, лавок... нет, церковных скамей, беспорядочно сваленных сразу за дверью; лишь слева оставался узкий проход вдоль стены. Сверху сочился тусклый свет, но откуда именно, я не видела из-за нагромождения мебели.

Я крадучись двинулась по проходу, вздрагивая от каждого скрипа половиц. Впереди виднелась полоска бледного света — окно? На полу лежал толстый слой пыли — она липла к влажному подолу моего плаща, и позади меня оставался отчетливый след. Несколькими шагами дальше находились еще две массивные деревянные двери, обе наглухо запертые.

По мере моего продвижения полоска света впереди становилась все шире. То, что я поначалу приняла за подоконник, оказалось перилами высотой по пояс, зашитыми дубовыми панелями. Я вступила в галерею, тянущуюся по всей ширине здания. Свет проникал сквозь стрельчатые окна, расположенные высоко в стене. В полу темнел круглый проем открытой винтовой лестницы.

Осторожно приблизившись к перилам, я выглянула в помещение, некогда служившее часовней, а теперь превращенное в склад или какую-то мастерскую. Все окна внизу были заложены кирпичом, как и главный вход; единственная видимая мне дверь вела в смежную

ризницу. Я вспомнила слова Фредерика: «В старой часовне у него оборудована лаборатория, которую он называет храмом науки» — и поняла, почему здесь нет окон. Я случайно вторглась в самое сердце владений доктора Стрейкера.

Вдоль стен стояли столы, верстаки и застекленные шкафы с инструментами, бутылками, пробирками, записными книжками, мотками проволоки и диковинными приборами из латунных шестерен, блестящих железных стержней и стеклянных цилиндров. От всех технических устройств тянулись извилистые провода; над верстаками висела добрая дюжина ламп. Среди научного оборудования я заметила несколько вполне обыденных предметов: чайную чашку, подставку для двух графинов и единственный бокал рядом, жестяную коробку с печеньем. В открытом стенном шкафу я видела вешалки с одеждой, цилиндр на крючке, пару башмаков. Около двери в ризницу стояла тележка, похожая на узкую кровать на колесиках, с бортиками по краям и двумя ручками с одного торца — на такой, подумалось мне, удобно перевозить пациентов в бессознательном состоянии... или трупы.

Постепенно я различила тихое непрерывное гудение, еле уловимое слухом. Может, пчелиный рой в какой-нибудь полости в стене? Нет, слишком уж ровный звук. Я не понимала, откуда он доносится, но в нем ощущалась странная вибрация, от которой сводило зубы.

Я уже двинулась обратно, когда вдруг где-то внизу заскрежетал в замке ключ. Ни жива ни мертва от страха, я быстро присела на корточки, прячась за оградой галереи. Послышалась тяжелая твердая поступь; мне показалось, шаги остановились у подножья винтовой лестницы. Стукнул выдвигаемый и задвигаемый ящик стола, зашелестели перелистываемые страницы. Наступила тишина, а минуту спустя шаги удалились, приглушенно хлопнула дверь, и ключ снова повернулся в замке.

Дождь лил несколько дней кряду, но каждый день я надевала влажный плащ и отправлялась к назначенному месту встречи разными окольными путями. Фредерик появился на третий день, в понедельник, и сообщил, что получил от мисс Феррарс краткую записку, где говорилось, что он может зайти к ней на Гришем-Ярд, коли желает. Он поедет в Лондон в среду. Несмотря на угрызения совести, я бы с удовольствием побеседовала с ним, но он, похоже, посчитал долгом чести не задерживаться ни секунды сверх необходимого. Провожая Фредерика взглядом, я вдруг подумала, что такой впечатлительный молодой человек запросто может влюбиться в Люсию.

В течение бесконечно долгих дней и ночей ожидания я сосредоточенно читала и перечитывала свой дневник, пока не выучила наизусть все до последнего слова, и теперь почти могла убедить себя, что и впрямь помню описанные там события, — разве только пропуски между записями моя память так ничем и не заполнила. Меня неотступно преследовало кошмарное видение, как по возвращении с прогулки я застаю в комнате доктора Стрейкера с моим дневником в руке и как он говорит обычным своим холодным ироничным тоном: «Это все измышления вашего расстроенного ума. Эти завещания существуют только в вашем воображении». Я любила Люсию, а она предала меня, но все же, сколь бы часто я ни перечитывала свои записи, я не испытывала никаких чувств, которые мне следовало бы испытывать, и не могла думать ни о чем, кроме как о побеге.

К четвергу дождь наконец прекратился. Я пришла к поваленному дереву на час раньше условленного времени и беспокойно расхаживала около него, пока не появился Фредерик — с таким несчастным видом, что я сразу предположила худшее. Он сумел выдавить лишь

слабое подобие своей обычной улыбки:

— Доброго дня, мисс Эштон. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Надеюсь, вам будет приятно узнать, что мисс Феррарс посетит нас ровно через неделю.

Он говорил таким похоронным голосом, что я решила, что ослышалась.

— Значит, она согласилась увидеться со мной?

— Да, мисс Эштон, согласилась. Похоже, мисс Феррарс полностью простила вас, и она надеется, что встреча с ней благотворно скажется на вашем состоянии — ну и поспособствует возвращению бювара, конечно же. Она с радостью приехала бы и раньше, но доктор Стрейкер напомнил мне перед моим отъездом, что в понедельник он уедет в Бристоль и вернется только к среде, поэтому мы договорились на четверг.

Фредерик говорил рассеянно, явно думая о другом, и избегал встречаться со мной взглядом.

— Я глубоко признательна за все ваши хлопоты, мистер Мордаунт. Но... вы как будто не рады?

— Да... нет, просто... нет, все в порядке, уверяю вас.

Этого я боялась, подумала я. Он влюбился в Люсию.

— Несомненно, мисс Феррарс очаровательнейшая особа, — сказала я. — Жаль, что я совсем ее не помню.

— Ну... да, мисс Эштон, она... нет... то есть... — пробормотал он, впадая в еще сильнее замешательство.

— Надеюсь, она не была расстроена или раздосадована вашим визитом?

— Нет, вовсе нет, мисс Эштон. Она была очень приветлива... и да, очаровательна... только...

Я вдруг осознала, что Фредерик чаще обычного употребляет обращение «мисс Эштон», причем «Эштон» произносит с особым ударением.

— Мне хотелось бы знать, мистер Мордаунт, чем же все-таки вы встревожены?

— Дело в том... — Он глубоко вздохнул, собираясь с духом. — До вчерашнего дня, мисс Эштон, я надеялся, вопреки всякой очевидности, что доктор Стрейкер ошибается... что женщина, с которой он виделся в Лондоне, действительно самозванка, как вы твердо убеждены. Вы столь живо и ярко описывали мне свое детство на острове Уайт, матушку с тетушкой, потерю дома, что я просто не мог не...

Он умолк, подбирая слова. У меня было ощущение, будто я проглотила огромный кусок льда.

— Но теперь, когда я встретился с мисс Феррарс — а внешнее сходство между вами и впрямь поразительное... — когда услышал, как она рассказывает все то же самое, порой гораздо подробнее, и как разговаривает с дядей и служанкой... когда узнал все про вас — Люсию Эрден, как вы представились, — про вашу цепкую память и незаурядные актерские способности... в общем, теперь у меня не осталось ни малейшей надежды. Мисс Феррарс даже пригласила меня зайти с ней к галантерейщику по соседству, и они вспоминали позапрошлую зиму, когда она только приехала в Лондон.

Да уж, в уме Люсии не откажешь, подумала я. Она заручилась полным доверием Фредерика.

— Мне очень жаль, мисс Эштон, но мы должны смотреть в лицо фактам. Доктор Стрейкер с самого начала говорил, что, когда к вам действительно вернется память, ваша индивидуальность, ваше выражение лица и даже голос, скорее всего, изменятся до

неузнаваемости. Это будет совершенно безболезненно, уверяет он; возможно, вы даже не осознаете происшедшей с вами перемены. Просто в один прекрасный день вы проснетесь другой личностью в прежнем теле, со всеми воспоминаниями о вашей подлинной жизни. Но вы не будете помнить ни меня, ни любого другого из людей, здесь встреченных, даже не будете знать, кто я такой...

Фредерик смотрел мне прямо в глаза, но на последних словах его голос дрогнул, и он отвел взгляд в сторону. После нескольких долгих секунд оцепенелого молчания я словно со стороны услышала, как говорю таким же холодным презрительным тоном, каким разговаривала с ним памятным зимним утром в библиотеке:

— Ничего страшного, мистер Мордаунт. Мисс Феррарс вас утешит.

Он резко вскинул голову:

— Вы же не думаете... Нет, я не могу... я не стану молчать. Да, мисс Феррарс очаровательна, но я бы никогда... я люблю *вас*, безумно люблю с первого дня нашего знакомства. Для меня *вы* настоящая, а мисс Феррарс лишь бледное ваше подобие. Я буду любить вас, как бы вы ни изменились, — в этом я уверен, — но вы... вы никогда не полюбите меня. Время, проведенное здесь, вы будете вспоминать с ужасом — если у вас вообще сохранятся хоть какие-то воспоминания. А я останусь в вашей памяти одним из ваших тюремщиков. Презирайте меня, коли вам угодно, но никогда, никогда не сомневайтесь в моей любви к вам.

Весь красный от волнения, он говорил с такой страстью и слова свои сопровождал столь пылкой жестикуляцией, что я противно своей воле смягчилась, но одновременно и раздражилась сверх всякой меры. «Так почему же, *почему*, — думала я, — ты не можешь поверить, что Люсия и впрямь всего лишь мое подобие?» Воображение нарисовало мне, как он бросается на колени передо мной, а я отвечаю, что не могу выйти за него замуж, поскольку мы с ним состоим в двоюродном родстве, поскольку в моих жилах течет кровь Мордаунтов, поскольку все состояние, которое он считает своим, по закону принадлежит мне (хотя у меня нет намерения заявлять права на него) и поскольку я в любом случае не могу ответить взаимностью. «Но он не на коленях, — напомнила я себе, — и ты не можешь позволить себе жалеть его».

— Я не считаю вас своим тюремщиком, мистер Мордаунт, и я искренне благодарна вам за все, что вы для меня сделали. Но вы должны понимать: пока меня не выпустят отсюда, я не в состоянии думать ни о чем другом.

— Мисс Эштон, поверьте, я не питаю никаких ложных надежд, — горячо заверил Фредерик, хотя выражение его лица свидетельствовало об обратном. — Я бы ни словом не обмолвился о своих чувствах, если бы... — Он неловко умолк.

— К которому часу в четверг мисс Феррарс обещалась приехать? — спросила я.

— Она сказала, что сядет на утренний курьерский и рассчитывает быть здесь к обеденному времени. Я уже договорился, чтобы на станции ее поджидал кеб.

— А вы... расскажете доктору Стрейкеру об этом нашем разговоре?

— Да. На самом деле он-то и послал меня сообщить вам новости; он по-прежнему думает, что я действовал по собственному почину. Сейчас у нас с ним отношения... довольно напряженные. Но меня это не особо волнует, как ни странно. Хотя, вне сомнения, — добавил он, устремляя безрадостный взор на далекие холмы, — скоро между нами все будет по-прежнему. И вряд ли у меня еще когда-нибудь появится причина перечить воле доктора Стрейкера.

Говорить больше было не о чем, и после очередной неловкой паузы он встал, попрощался, глядя на меня с безнадежной мольбой, и ушел прочь.

На следующее утро мне сообщили, что доктор Стрейкер желает меня видеть, и я прождала еще дольше, прежде чем он появился в дверях. Во рту у меня было сухо, и я чувствовала, как дрожит моя рука, когда он взял мое запястье.

— Вы взволнованы, мисс Эштон. Полагаю, мистер Мордаунт сказал вам о предстоящем визите мисс Феррарс. Как по-вашему, вы из-за этого взволнованы?

— Я... не знаю, сэр.

— Вы понимаете, мисс Эштон, что не обязаны встречаться с ней? Мой первый долг заботиться о вас, и я не допущу, чтобы вы без необходимости испытывали нервное возбуждение.

— Но, сэр, — взмолилась я, — *я хочу* увидеться с мисс Феррарс. Уверена, я буду совершенно спокойна. Если я сейчас и взволнована немножко, так потому лишь, что надеюсь: встреча с ней послужит моему освобождению.

— Мистер Мордаунт, безусловно, держится такого мнения, — сухо заметил доктор Стрейкер. — Хорошо, я разрешу вам поговорить с мисс Феррарс — в моем присутствии, разумеется, — но, если вы обнаружите хоть малейшие признаки душевного смятения, я немедленно положу конец делу. А если вдруг вы передумаете до четверга, без колебаний посылайте за мной — только учтите, что в понедельник днем я уезжаю в Бристоль и вернусь во вторник поздно вечером.

Доктор Стрейкер направился к двери, но задержался на пороге:

— Насколько я понял, вы так и не вспомнили, куда спрятали бювар мисс Феррарс?

Внезапно я остро ощутила присутствие дубового комода всего в трех футах от меня. Мне показалось, будто я чую запах кожи и пергаментной бумаги. Меня так и подмывало покоситься на комод, но я заставила себя упереться взглядом в пол под ногами, изображая напряженное раздумье. В воздухе повисло подозрительное молчание.

— Боюсь, нет, сэр.

— Жаль. Ну, доброго вам дня, мисс Эштон. Я проведаю вас в среду, а то и раньше.

Холодная саркастическая улыбка доктора Стрейкера продолжала стоять у меня перед глазами, когда он затворил за собой дверь. Его шаги удалились — такие же быстрые и твердые, какие я слышала с галереи над лабораторией.

В понедельник, в пять часов без малого, я стояла с задней стороны старого дома, опасливо озираясь, нет ли за мной слежки. Шумно галдели птицы, и в кустарнике вокруг не стихали шорохи и потрескивания. Я дышала часто, но воздуха все равно не хватало, и всякий раз, когда мне чудилось какое-то движение между деревьями, сердце мое подпрыгивало и словно замирало.

Весь день я просидела под лесным буком, с деланным вниманием уставившись в книгу и то недоумевая, уж не остановились ли башенные часы, то страстно молясь, чтобы они отбивали четверти не так часто. Тени удлинились, и в воздухе уже повеяло вечерней прохладой, когда привратник вышел из сторожки и открыл ворота. Через пару минут я увидела доктора Стрейкера, легким галопом скачущего по подъездной дороге на холеной гнедой лошади. Взрывая гравий, он пронесся через ворота и повернул лошадь в сторону Лискерда. Едва стук копыт стих вдали, послышался приближающийся грохот колес.

В ворота завернула крытая черная коляска, похожая на лондонский кеб, и остановилась посреди подъездной дороги ярдах в двадцати от меня. Никто из нее не вышел, и кучер не слез с козел. Есть ли кто в экипаже, я не видела, но и задерживаться здесь дольше не могла.

Я встала со скамьи, притворно потянулась и пошла прочь по траве, подавляя желание ускорить шаг или оглянуться, пока не завернула за угол.

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы выманить Люсию из клиники, обронив несколько намеков в ходе нашего предстоящего разговора в присутствии доктора Стрейкера. Ей нужны завещания — мне нужна свобода. Если Люсия поверит, что я готова заключить с ней сделку, она сможет незаметно выскользнуть из здания и встретиться со мной в укромном месте. Я заставлю ее поменяться со мной одеждой, а потом запру где-нибудь, чтобы получить время добраться до Плимута, показать документы Генри Ловеллу и положиться на свою способность убеждения. Люсия не рискнула бы встречаться с моим поверенным, говорила я себе; для нее гораздо безопаснее просто подделывать мою подпись в письмах всякий раз, когда возникает нужда в деньгах.

План представлялся трудновыполнимым с самого начала, а с приближением назначенного дня стал казаться и вовсе безнадежным. Меня в любом случае арестуют, если я не постараюсь так или иначе изменить свой облик. На первых порах я думала прокрасться на этаж, где живет персонал клиники, и стащить там форменную одежду горничной, но каждая моя вылазка заканчивалась перед запертой дверью. Потом меня осенило, что проблема решается проще. Доктор Стрейкер невысок ростом; если я переоденусь в один из костюмов, хранящихся в лаборатории, мои шансы на спасение значительно возрастут. При необходимости я набью карманы печеньем и дойду до Плимута пешком. На дальнем крае роши я уже отыскала место, где деревья росли достаточно близко к граничной стене поместья, чтобы взобраться на нее по веткам.

Если в лаборатории найдутся деньги, которых хватит на билет на поезд, я сбегу сразу же. Бювар был привязан у меня под грудью льняными лентами, оторванными от нижней юбки; он отчетливо вырисовывался под тканью платья, но плащ скрывал подозрительную выпуклость. Я довольно часто отказывалась от обеда, поэтому меня не хватятся до позднего вечера, а тогда я, скорее всего, уже буду в Плимуте. И даже если тревогу забьют раньше, искать-то будут женщину, а не мужчину.

Приблизившись к нише в стене, я еще раз опасливо осмотрелась по сторонам и медленно, осторожно открыла дверь. В прошлый раз все звуки заглушал шум дождя, но сейчас каждый скрип ржавых петель казался мне громче ружейного выстрела. Переступая порог, я слышала хруст ветки где-то поблизости, но оглянуться не посмела. Я торопливо поднялась по лестнице и прошла к галерее. Поверх следа в виде неровной полосы, оставленного мной на пыльном полу десять дней назад, никаких новых следов я не заметила.

Ноги у меня дрожали, как у паралитика, пока я спускалась в лабораторию по шаткой винтовой лестнице, сотрясавшейся при каждом моем шаге. Одежда, деньги, еда, мысленно повторяла я. Страх не убьет тебя, покуда ты ему не поддашься.

Под самой галереей было гораздо темнее, чем в остальном помещении. Вдоль стены здесь стояло несколько диковинных механизмов, частично накрытых пыльными полотнищами парусины: они походили на большие самопрялки, только со стеклянными колесами. В углу за лестницей я увидела письменный стол, заваленный бумагами. В дальнем конце голой стены находилась дверь.

Одежда, деньги, еда. Дверь стеного шкафа на сей раз была закрыта, но, к великому

моему облегчению, оказалась незапертой. Я достала оттуда сорочку, жилет и потрепанную твидовую пару, в каких ходят фермеры. Зачем вообще доктору Стрейкеру держать здесь одежду, спрашивается? Сюртук мне широковат в плечах, и рукава у него слишком длинные; штаны тоже длинноваты, но не до нелепости; а толстое твидовое пальто — с намотанным на шею шарфом — поможет скрыть все несуразности. Я обшарила все карманы в поисках денег, но нашла лишь кусок корпии да несколько клочков бумаги.

Шляпа сползала бы мне на уши, если бы не узел волос, который я предусмотрительно заколола по возможности туже и выше. Башмаки доктора мне чересчур велики, это и без примерки понятно, но мои собственные туфли будут не видны под манжетами штанин.

Деньги и еда. Жестяная банка была наполовину заполнена имбирным печеньем, черствым, но вполне съедобным. Я рассовала все печенье по карманам, после чего вернулась к письменному столу, бросила ворох одежды на кресло и обыскала ящики один за другим, однако там хранились только тетради с научными записями, замысловатыми графиками и математическими расчетами. Каждая клеточка моего существа кричала: «Бери одежду и уходи скорее!» Но без денег на дорогу мне придется еще одну ночь провести здесь или спать под открытым небом: не станет ведь женщина в мужском платье проситься на ночлег.

Я лихорадочно осмотрелась вокруг: нет ли здесь чего-нибудь, что можно заложить в ломбард в Лискерде? Но я никогда в жизни не имела дела с ломбардами, а в лаборатории явно нет ничего, кроме инструментов и научных приборов, которые непременно вызовут подозрение.

Взгляд мой остановился на застекленном шкафу с выдвигаемым ящиком у противоположной стены. Около него стояло инвалидное кресло с круглым отверстием в сиденье, наподобие стульчака; десять дней назад его здесь точно не было. Приблизившись, я увидела на подлокотниках и передних ножках ремни: если их застегнуть, сидящему в нем человеку будет не пошевелиться. Я до боли отчетливо представила буйного пациента, бьющегося в этом кресле, с жутко оскаленными зубами, с искаженным яростью лицом.

На одном подлокотнике висел чудной головной убор: что-то вроде обруча из толстой коричневой кожи, от которого тянулись черные провода. На внутренней его стороне, на расстоянии шести дюймов друг от друга, крепились два блестящих металлических диска размером с полукрону.

Хватай одежду и беги отсюда.

Я выдвинула ящик шкафа.

Там лежали бинты и повязки, несколько аккуратно свернутых кожаных ремней и гуттаперчевых полуколец размером с мою ладонь, открытый футляр с хирургическими инструментами и... тонкая серебряная цепочка, слабо блеснувшая в моих пальцах.

Ключик от бювара.

Внезапно я снова услышала тихое низкое гудение — даже не столько услышала звук, сколько ощутила слабую вибрацию в самых своих костях и даже зубах. Я торопливо надела цепочку на шею и бросилась вон; на бегу схватив с кресла одежду и шляпу, я взлетела по винтовой лестнице на галерею, промчалась по узкому проходу между стеной и грудой мебели и выскочила за дверь. Здесь переодеться или вниз? Лучше уж замерзнуть в придорожной канаве, чем провести еще одну ночь в этих стенах.

Я швырнула одежду и шляпу в лестничный колодец и на нетвердых ногах стала спускаться. Но на последней ступеньке споткнулась, запуталась в подоле платья и упала. От удара головой о каменный пол из глаз у меня полетели искры, и несколько секунд я лежала

пластом, пытаюсь понять, целы ли у меня кости.

Бежать, нужно бежать. Я с трудом поднялась и проковыляла к окну, чтобы проверить, нет ли кого поблизости. Из-за грязного стекла на меня смотрело мое собственное мутное отражение.

При виде меня оно отшатнулось, раскрыв рот в возгласе изумления или испуга, а потом в глазах у меня потемнело.

Я очнулась оттого, что чьи-то руки расстегивали — нет, застегивали — пуговицы у меня на груди. Надо мной склонялась молодая женщина. В последний раз я видела ее в дверях дядино дома на Гришем-Ярд, одетой в мое любимое светло-голубое платье. Сейчас она была в сером дорожном платье и плаще, в точности похожих на мои. Ее лицо расплывалось, меняло очертания, и я смутно подумала, что не иначе она мне грезится. Когда женщина поднялась, плащ широко распахнулся, открывая приколотую на грудь брошь в виде стрекозы с рубиновыми глазами, алеющими, как две капли крови.

Люсия.

И в обтянутой перчаткой руке у нее мой бювар.

Я попыталась встать, но на меня волной накатило головокружение. Люсия пробормотала что-то вроде «ты уж извини», повернулась и исчезла за дверью.

Держась за стену, я кое-как поднялась и неверной поступью добрела до двери. Люсия торопливо шагала в сторону разрушенной конюшни; она уже отошла ярдов на десять, теперь мне ее ни за что не догнать. Но даже если вдруг догоню — кто мне поверит? Я душевнобольная пациентка, а она мисс Феррарс, и бювар принадлежит ей, а не мне. И скоро, очень скоро она станет владелицей клиники Треганнон.

Люсия уже приближалась к дальнему углу здания, когда из-за контрфорса внезапно появился доктор Стрейкер, все еще в костюме для верховой езды, и схватил ее за руку. Отпрянув обратно за дверь, я успела увидеть, что он ведет Люсию в моем направлении.

Я наклонилась, чтобы подобрать одежду, но от резкого движения голова у меня закружилась так сильно, что я испугалась, как бы опять не лишиться чувств. Оставив все валяться на полу, я на четвереньках вскарабкалась по ступенькам, шмыгнула в пустое каменное помещение наверху и притаилась у самого входа, с трудом переводя дыхание и прислушиваясь к голосам, гулко разносившимся в лестничном колодце. Доктор Стрейкер говорил своим обычным холодным ироничным тоном, а голос Люсии дрожал и срывался от страха.

— Что, скажите на милость, здесь делает моя одежда?

— Она была у *нее*.

— Понятно. А где она сама?

— Я не... Убежала, должно быть. Прошу вас, отпустите меня...

— Скорее всего, она где-то здесь. Надо проверить. Только после вас, мисс Феррарс... или мне называть вас мисс Эрдэн?

Люсия сдавленно ахнула, потом послышались слабые звуки борьбы.

— Вы можете идти сами, или я потащу вас волоком — как вам угодно. И даже не пытайтесь сбежать от меня. Все остальные двери заперты.

В этом помещении с голыми стенами не спрятался бы и воробышек. Мне ничего не оставалось, как броситься во внутреннюю дверь, закрыть которую за собой я не решилась, и пробежать по узкому проходу в галерею. Дневной свет быстро угасал.

Куда теперь? Спуститься в лабораторию? Я кинулась к винтовой лестнице. Но где там спрятаться? Я помчалась дальше по галерее, половицы громко скрипели под ногами. В конце галереи выхода не оказалось: там громоздилась груда мебели. Возвращаться назад поздно. Я протиснулась в единственное доступное мне укрытие — под маленький столик за кучей сваленных стульев — и сжалась там в комок, трясясь всем телом от страха, как затравленный зверь. Если доктор дойдет хотя бы до середины галереи, он непременно меня заметит.

Дошатаый пол задрожал. Послышались приглушенные голоса, потом скрежет запираемого замка. Я лишилась последнего шанса на спасение. Шаги приблизились.

— Спускайтесь, будьте любезны. — Хотя говорил доктор Стрейкер негромко, голос его гулко раскатился по всей часовне.

Я ощущала, как трясется под ними шаткая винтовая лестница. Люсия издавала невнятные протестующие звуки или просто всхлипывала. Слышать, ничего не видя, было просто невыносимо. Я выбралась из-под стола, подползла к перилам галереи и осторожно подняла голову, выглядывая из-за них.

Доктор Стрейкер стоял ко мне спиной, одной рукой стискивая локоть Люсии, а в другой сжимая мой бювар. Он положил бювар на верстак и подтащил девушку к инвалидному креслу:

— Прошу вас, присядьте, мисс Эрдэн. Боюсь, ничего удобнее я не могу вам предложить.

Люсия задергалась, силясь вырваться, но он одним ловким движением усадил ее в кресло и склонился над ее правой рукой, в то время как Люсия бешено отбивалась от него левой. Через несколько секунд он затянул ремень и на другом запястье. Она яростно брыкалась и пыталась укунить своего мучителя, но очень скоро ремни застегнулись у нее на щиколотках, а потом и на локтях. Теперь несчастная могла лишь беспомощно извиваться; доктор Стрейкер отступил на шаг назад и одернул сюртук.

— Вы не почувствуете никакой боли, уверяю вас. Мне нечасто выпадает удовольствие работать с разумным, психически совершенно здоровым человеком, да вдобавок еще и таким, на которого этические соображения не распространяются. Я намерен выжать из вас все возможное.

— Пожалуйста, умоляю вас, отпустите меня! Все документы у вас. Жизнью клянусь, мы ни единой душе не скажем!

— Боюсь, ваши клятвы для меня пустой звук. Одно дело шантажировать Эдмунда Мордаунта, и совсем другое — пытаться шантажировать *меня*. Я от души забавлялся, внушая вам уверенность, что вы обманули меня, как обманули свою бедную — кузину, да? — мисс Эштон, каковое имя она обречена носить до скончания дней. Вы же навсегда останетесь мисс Феррарс — *покойной* мисс Феррарс, позволю себе уточнить, немного забегая вперед... Сейчас мне нужно отыскать мисс Эштон. Мы с вами продолжим наше знакомство после наступления темноты. Сожалею, что не могу устроить вас поудобнее или назначить вам что-нибудь сильнее легкого успокоительного. Не желаете пару капель лауданума? Нет? В таком случае позвольте откланяться. И пожалуйста, не тратьте силы на крики о помощи: стены здесь чрезвычайно толстые. Хоть ночь напролет вопите — вас все равно никто не услышит.

Доктор Стрейкер взял со стола бювар и словно заколебался. Потом пробормотал что-то вроде «нет, лучше не рисковать», резко повернулся и широким шагом направился к лестнице. Я забила в угол под перилами, не смея отползти обратно под стол: вдруг половица скрипнет? Но лестница не задрожала под тяжелой поступью. Послышался стук

выдвигаемого ящика, затем приглушенное восклицание. Ящик задвинулся, в замке повернулся ключ.

Я опять осторожно выглянула из-за ограды. Доктор Стрейкер стоял над Люсией, уже без бювара в руке.

— Это вы взяли ключ? — грозно осведомился он.

Люсия бешено замотала головой.

Я застыла на месте, боясь отвести от него глаза и одновременно содрогаясь от ужаса, что он меня увидит. Доктор Стрейкер подошел к стене и провел рукой по какой-то панели. Помещение залил желтый свет, исходящий от ламп, которые я принимала за масляные. Надетые на них колпаки направляли освещение вниз, поэтому вся галерея погрузилась в почти полную темноту.

С минуту доктор Стрейкер стоял посреди лаборатории, пристально озирая свои владения, а потом принялся обходить помещение, заглядывая под столы, открывая дверцы шкафов — в том числе и стенного, дверцу которого я все-таки не забыла затворить, — и в скором времени оказался прямо подо мной. Послышался шорох парусиновых полотнищ, стягиваемых со странных механизмов.

Мой единственный шанс, подумала я, — это отползти обратно в укрытие, когда он начнет подниматься по лестнице. Возможно, шум шагов по скрипучим ступенькам заглушит все прочие шорохи. Но лестница опять так и не сотряслась, а доктор Стрейкер чуть погодя вышел из-под галереи у дальней стены и завершил обход лаборатории.

Он снова остановился перед Люсией — его тень упала ей на лицо, — извлек часы из жилетного кармана и уставился на циферблат, задумчиво хмуря брови. Потом вскинул голову и скользнул взглядом по галерее. Я затаила дыхание.

— Нет, сейчас дорога каждая минута, — наконец промолвил он, после чего подошел к панели на стене и пробежал по ней пальцами.

Лампы начали гаснуть одна за другой, и в конечном счете осталась гореть лишь та, что над дверью в ризницу. Отвесив Люсии насмешливый поклон, доктор Стрейкер достал связку ключей, прошагал к ризничной двери, отомкнул замок и снова запер за собой. Эхо порхнуло по часовне и растворилось в тишине.

Первой моей мыслью было остаться в укрытии, дожидаться возвращения доктора Стрейкера и постараться не издать ни звука, пока он делает с Люсией... то, что собирается делать. А потом, возможно, мне удастся сбежать, если все будет тихо. Но ведь он наверняка отправится напрямик в мою комнату, и тогда все бросятся на мои поиски. И он в любую минуту может решить, что хорошо бы вернуться и обыскать галерею.

Нет, мне надо заполучить обратно свой бювар, выбраться отсюда и уповать, что одежда доктора Стрейкера все еще там, где я ее оставила, — другого шанса на спасение у меня нет. Переодетая в мужское платье, в суматохе я смогу сойти за одного из своих преследователей.

Я с трудом поднялась, шаткой поступью прошла по галерее и спустилась в лабораторию.

— Джорджина! Ради всего святого, спаси меня!

Не взглянув на Люсию, я прошла к другой двери, под галереей. Массивная, плотно притертая, она даже не дрогнула, когда я подергала ручку.

Ключи. Или какой-нибудь инструмент, достаточно тяжелый и крепкий, чтобы взломать дверь в галерею. Или чтобы наброситься с ним на доктора Стрейкера. При таком тусклом

освещении искать в шкафах и ящиках приходилось ощупью. Я подумала о панели на стене, но если он затаился поблизости и увидит свет... Я передвигалась от стола к столу, не обращая внимания на мольбы Люсии.

— Умолкни, — бросила я, проходя позади кресла. — Еще раз пикнешь, и я заткну тебе рот кляпом.

Она разрыдалась, но я не удостоила ее взглядом.

Торопливо обойдя лабораторию, я нашла молоток, долото, увесистую отвертку, свечу и коробку восковых спичек. Гнев на эту женщину, которую я и знала-то лишь по записям в моем дневнике, кипел в моей душе, не давая разыграть страху. Наконец я повернулась к Люсии.

— Джорджина! Я люблю тебя, клянусь! Я бы вернулась за тобой!

— Ты не способна на любовь. И правды от тебя не дождешься.

Я пристально смотрела на нее, силясь вспомнить хоть какие-нибудь события, картины, образы, выпавшие из памяти, но у меня ничего не получалось. Ужас искажал черты Люсии, стирая сходство со мной, обманувшее столь многих людей. Глаза у нее остекленели, на мокрых щеках темнели потеки сурьмы.

— Развяжи меня хотя бы, — взмолилась она. — Не лишай меня надежды на жизнь.

— А какую надежду ты оставила мне? Я бы скорее гадюку освободила.

Она уронила голову на грудь и вся задрожала, сотрясая кресло.

— Что он со мной сделает? — Слова прозвучали еле слышно.

— Он может вырвать твое сердце из груди и зажарить у тебя на глазах, мне плевать. — Но потом я подумала, что буду ничем не лучше Люсии, если брошу ее здесь. — Ладно, я спасу тебя, если смогу. Для того лишь, чтобы упрятать в тюрьму.

— Освободи меня на минутку, иначе я обделаюсь.

— Да ты и так уже обделалась в известном смысле. — Я повернулась к ней спиной.

В углу, где стоял письменный стол, было очень темно, и в конце концов мне пришлось зажечь свечу. Я втиснула лезвие долота в щель над выдвижным ящиком и принялась колотить по рукоятке молотком — грохот стоял такой, что я каждую минуту ожидала появления доктора Стрейкера. Наконец вся передняя стенка ящика с треском отвалилась. Пальцы у меня тряслись, и я целую вечность провозилась с пуговицами, пряча бювар под платьем. Удержать в руках все инструменты вместе с горячей свечой никак не получалось, в конечном счете я задула свечу и медленно поднялась по лестнице, провожаемая воплями Люсии.

Прижимая инструменты к груди, я осторожно двинулась боком в темный проход между стеной и нагромождением столов, стульев и скамей. Но прошла всего несколько шагов, когда вдруг молоток выскользнул у меня из рук. Наклоняясь за ним в крошечной тьме, я потеряла равновесие и повалилась прямо на груды мебели, выронив еще и свечу.

По полу пробежала зловещая дрожь. Я повернулась и ринулась обратно в галерею, но в следующий миг вся огромная куча с громоподобным грохотом обрушилась. Что-то тяжело ударило меня между лопатками, и от страшного толчка я полетела вперед, теряя сознание.

Я очнулась от жестокой пульсирующей боли в голове и поняла, что провела в беспомощности долгое время. Я лежала на спине в темноте; одна моя рука упиралась в какие-то стулья, другая была зажата между телом и стеной.

Я схватилась за перекладину стула, и вся груды мебели угрожающе сотрясалась, пока я

переворачивалась на бок, морщась при каждом движении, и с трудом поднималась на ноги. Висок, измазанный чем-то холодным и липким, обожгло болью при прикосновении, но все кости, похоже, были целы. Если мне удастся выбраться отсюда каким-нибудь другим путем, возможно, еще не все потеряно.

Когда я выходила в галерею, где-то высоко надо мной башенные куранты пробили полчаса. Но для половины седьмого слишком темно, скорее всего, сейчас половина восьмого. Меня ищут уже добрый час самое малое.

Через окна, обращенные на запад, все еще сочился тусклый багрянистый свет, который, казалось, недвижно висел под потолком. Гробовую тишину нарушал лишь бешеный стук моего сердца да слабый звон в ушах — или то странная вибрация, уже мне знакомая?

Внизу над дверью в ризницу по-прежнему горела лампа. Запрокинутое лицо Люсии, искаженное ужасом, мертвенно белело в полумраке; потеки сурьмы у нее на щеках походили на струйки крови.

Если спрятаться под столом около двери, возможно, я сумею тихонько выскользнуть из лаборатории, пока доктор Стрейкер будет заниматься Люсией (меня пробрала дрожь при одной этой мысли). Но мне не спуститься вниз незаметно для нее, а она непременно выдаст меня, коли подумает, что я в силах спасти ей жизнь.

Нет, безопаснее всего прятаться наверху, покуда он не... не покончит с ней. А когда рассветет, я попытаюсь пробраться через завалы мебели к выходу.

Инвалидное кресло закрипело. Люсия билась и извивалась, стараясь освободиться; глаза у нее выкатились из орбит от натуги, кресло под ней тряслось и раскачивалось взад-вперед. Она с усилием наклонила голову в тщетной попытке дотянуться зубами до ремней, а потом вся обмякла и судорожно разрыдалась.

Нет, подумала я, нет, это невыносимо. Я понятия не имела, что собираюсь делать, а ноги уже принесли меня к лестнице, но едва я взялась за перила, как в замочной скважине лязгнул ключ. Секунду спустя ризничная дверь распахнулась, доктор Стрейкер стремительно вошел в лабораторию и направился напрямик к панели на стене, даже не взглянув на Люсию. Лампы, висевшие над длинным столом позади нее, загорелись. Потом доктор Стрейкер открыл дверцу черного застекленного шкафа и принялся в нем возиться. Раздались частые щелчки, похожие на звук трещотки, потом сверкнула голубая вспышка.

— Знаете, мисс Эрден, — сказал он через плечо, — вы доставили мне многовато хлопот для одного вечера. Мисс Эштон все еще на свободе; скоро мы ее поймаем, разумеется, но у меня совсем не осталось времени заниматься вами.

Люсия попыталась заговорить, но из горла у нее вырвалось рыдание.

— Вы ничего не почувствуете, честное слово, ровным счетом ничего, — заверил доктор Стрейкер, снова поворачиваясь к шкафу. — Возможно, вам будет утешительно знать, что ваша смерть, по крайней мере, послужит полезной цели. Ваше тело, вернее, тело мисс Феррарс, как все посчитают, обнаружат в лесу завтра утром. Паралич сердца — прискорбно в столь молодом возрасте, но, с другой стороны, у матери мисс Феррарс было слабое сердце. Глупые молодые девицы имеют обыкновение разгуливать по незнакомым лесам среди ночи, подвергая себя разного рода потрясениям... прошу прощения за резкость.

Люсия тихо скулила, как раненый зверь в предсмертной агонии. Доктор Стрейкер взял обеими руками кожаный обруч, надел своей жертве на голову по самые брови и крепко затянул сзади проводами, свисавшими со спинки кресла. Взяв со стола темную коробочку, от которой тянулись длинные провода, он обошел кресло, встал перед помертвевшей от ужаса

Люсией и решительно вскинул правую руку.

— *Нем!!!* — гулко разнесся по часовне мой голос.

Доктор Стрейкер резко повернулся, всматриваясь в темноту наверху:

— Мисс Эштон, не так ли?

— Да, — безнадежно выдохнула я.

— Прошу вас, спускайтесь и присоединяйтесь к нам. Вам-то бояться нечего, уверяю вас. Я не ответила.

— Ну же, мисс Эштон, будьте благоразумны. Этот аппарат может оказывать воздействие любой силы — от слабого покалывания в висках до мгновенной смерти. Даю вам слово чести, что вы испытаете лишь легчайший судорожный припадок: завтра утром вы проснетесь в своей постели и ничего не вспомните об этих... печальных событиях. Фредерик получит хороший урок и, я уверен, останется предан вам всем сердцем. Не исключено даже, что в конечном счете вы станете хозяйкой клиники Треганнон: я буду в восторге от такой парадоксальной ситуации. А что произойдет с мисс Эрден, вам должно быть безразлично. Советую отвернуться.

Люсия, похоже, потеряла сознание от страха: она вся обмякла в кресле, голова свесилась набок, глаза закрылись. Теперь, когда я лишилась последней надежды, мной овладело странное спокойствие.

— Если мне удастся сбежать отсюда, вас повесят за убийство.

— Договорились, — кивнул доктор Стрейкер и свел руки вместе.

Тело Люсии забилось в столь сильных конвульсиях, что мне показалось, у нее затрещал позвоночник. Вопль ужаса и отчаяния, исторгшийся из моей груди, заглушил все звуки, которые издавала несчастная.

— Мисс Эштон, мисс Эштон, успокойтесь. Подумайте обо всех жизнях — включая вашу, — которые спасет этот аппарат. Все мы умрем рано или поздно, а иные люди недостойны жить долго. Мисс Эрден представляла угрозу для дела всей моей жизни. Можно даже сказать, что она умерла во имя науки — чтобы другие смогли жить дольше и счастливее. Наибольшее счастье для наибольшего количества людей, мисс Эштон. Вот лучшее, на что можно надеяться.

Доктор Стрейкер склонился над Люсией и снял кожаный обруч с безжизненно поникшей головы. Из кучи обломков под ногами мне удалось вытащить палку длиной фута три. Он зажег еще несколько ламп и колпак одной из них повернул так, чтобы свет падал на мое лицо.

— В самом деле, мисс Эштон, это глупо. Меньше всего на свете я хочу причинить вам вред. Обещаю, завтра утром вы будете чувствовать себя лучше, чем в первый раз: я уменьшу силу тока.

Сжимая палку обеими руками, я подошла к отверстию в полу и встала так, чтобы перила не помешали мне ударить его по голове. Протiwоестественное спокойствие покинуло меня, и я дрожала пуще прежнего.

— Откуда вы узнали... и когда? — спросила я.

— Ну... Я почел за лучшее не сообщать вам, что вечером в день вашего прибытия вы действительно явились ко мне с душераздирающей историей про Феликса Мордаунта, сестер Вентворт — вас чрезвычайно волновало происхождение вашей покойной кузины — и завещательных распоряжениях, оставленных ими. Знай вы, что Кларисса Вентворт последние двадцать лет шантажировала Эдмунда Мордаунта, вы были бы поосторожнее. Сам

я узнал обо всем только прошлой весной, когда Эдмунд признался мне, что вступил во владение поместьем на основании завещания, которое не имело законной силы, о чем он прекрасно знал. Вскоре выяснилось, что Кларисса Вентворт тоже об этом знает. Она явилась к нему с копией последнего завещания Феликса Мордаунта и пригрозила представить в суде оригинал, если он не назначит ей щедрое содержание. Эдмунд согласился — при условии, что она будет жить за границей... Он ни разу не посмел назвать Клариссу Вентворт обманщицей, но у меня такого внутреннего запрета не было. Я тотчас написал ей, что никаких денег она больше не получит, а если еще раз сунется к нам со своими требованиями, то сядет в тюрьму за шантаж. И все было бы хорошо, если бы она и ее дочь волею судьбы не встретили вас, но в любом случае... Разумеется, я не мог позволить вам покинуть клинику, а потому привел вас в лабораторию. Это была показательная демонстрация моего аппарата, не хватало только профессиональной аудитории. Единственный просчет я допустил, предположив, что вы оставили бювар в своей комнате. Однако, когда пришла телеграмма якобы от вашего дяди, мне стало ясно, как следует вести игру. У меня развит инстинкт игрока, мисс Эштон, — я не боюсь рисковать и предпочитаю играть длинные партии. Я прикинулся, будто и впрямь считаю Люсию Эрден Джорджиной Феррарс. Я ничуть не сомневался, что рано или поздно она явится сюда в поисках документов — где все-таки вы их спрятали, кстати? — и оказался прав. Страстная влюбленность Феликса в вас изрядно усложнила дело, но я сумел даже это обратить к своей выгоде. Он привел ко мне Люсию Эрден в полной уверенности, что выполняет ваши указания, хотя в действительности выполнял мои: ведь я знал наверное, что она приедет сюда без предупреждения раньше условленного срока, если сказать ей, что нынче вечером меня не будет в клинике... А теперь, мисс Эштон, нам осталось лишь избавить вас от воспоминаний об этих неприятных событиях. Даю слово, это не причинит вреда вашему здоровью. Будьте добры, бросьте ножку от стула и спускайтесь ко мне.

Если ты поддашься на уговоры, — тебе конец. Я лихорадочно соображала, как бы потянуть время, и вдруг вспомнила фразу, однажды случайно вырвавшуюся у Фредерика: «В прошлом году двое наших пациентов умерли от припадка».

— Почему я должна вам верить? Вы уже умертвили трех человек. — Во рту у меня было так сухо, что я едва ворочала языком.

— О чем вы говорите? — резко осведомился доктор Стрейкер, останавливаясь на полушаге.

— Двое ваших пациентов скончались от припадка. Мне Фредерик сказал.

— То есть он *знает*?

— Он... подозревает.

Несколько долгих мгновений доктор Стрейкер пристально смотрел на меня.

— Нет, — наконец промолвил он. — Я вам не верю. Фредерик не способен ничего скрыть от меня.

— Но я-то знаю. Вы сами только что признались, а теперь собираетесь убить и меня тоже.

— Клянусь честью, мисс Эштон, вы ошибаетесь! Можете называть убийством это, коли хотите, — он указал на тело Люсии, — хотя я склонен считать свои действия просто самозащитой, и не забывайте, она с радостью убила бы вас. Но с остальными двумя ничего подобного: я хотел исцелить их, а не убить. Оба мужчины на протяжении многих лет страдали неизлечимой меланхолией. Оба неоднократно пытались покончить с собой; один

из них половину взрослой жизни провел в смиренной рубашке. И у нас нет — то есть не было — эффективного метода лечения таких пациентов. Несмотря на все свои знания и опыт, в случае с ними и многими другими больными пользы от меня было не больше, чем от какого-нибудь хозяина деревенской гостиницы... А потом... — почему бы не сказать вам, раз вы все равно ничего не вспомните?.. — потом я проводил эксперименты с гальванической стимуляцией мозга и решил опробовать такой метод на младшем из двоих. В лаборатории как раз недавно установили динамо-машину, и я имел в своем распоряжении необходимую электрическую энергию, а равно приборы, позволяющие точно ее регулировать. Воздействие на мозг слабым током не оказывало ни малейшего эффекта, но, когда я стал повышать напряжение, пациент сообщил об улучшении самочувствия. Впрочем, продолжалось это недолго. Я поднял напряжение еще выше — и вызвал судорожный припадок с потерей сознания... Очнувшись, пациент ровным счетом ничего не помнил о лечении током, а равно о событиях двух последних недель и пребывал в уверенности, что вообще не выходил за порог своей комнаты. Однако впервые за многие годы болезнь отступила от него и черный туман в уме рассеялся. Целебное средство, которое безуспешно искали сотни ученых, оказалось в моих руках... Но на своем веку я не раз видел ложные рассветы, а потому наблюдал, выжидал и помалкивал — и очень скоро тьма меланхолии опять начала сгущаться. Я решил рискнуть и повторить лечение, однако на сей раз припадок оказался смертельным... Осуждайте меня, коли вам угодно, мисс Эштон, но как еще я мог поступить? С одной стороны, представлялось несомненным, что без моего вмешательства человек этот обречен на мучительное существование и рано или поздно сведет счеты с жизнью. С другой стороны, оставалась хоть какая-то вероятность исцелить несчастного. Я не решался никому открыться: если бы о случившемся прознали члены комиссии, мы наверняка лишились бы лицензии. Но я поклялся, что смерть моего пациента будет не напрасной.

Доктор Стрейкер стоял с запрокинутой головой шагах в пяти от лестницы и не сводил с меня пристального взгляда. Казалось, он призвал на помощь все свое красноречие: голос его постепенно набрал силу и теперь звучно разносился под темными сводами часовни, подобно голосу проповедника. «Служители наверняка сейчас обыскивают территорию, — подумала я, крепко сжимая свое оружие обеими руками и стараясь не шевелиться. — Господи, хоть бы кто-нибудь случайно услышал его!»

— Следующие несколько месяцев я посвящал каждую свободную минуту испытаниям и усовершенствованию своего аппарата. Я был твердо убежден, что при воздействии на мозг током определенного напряжения вся память о пережитых страданиях сотрется, психика освободится от болезненных наклонностей и пациент получит возможность начать новую жизнь, поэтому и рискнул попытаться счастья со старшим мужчиной. Ваш ужас понятен, мисс Эштон, но подумайте вот о чем: можно установить, какой ток требуется, чтобы оглушить крысу, и какой — чтобы убить. Но нельзя же спросить крысу, помнит ли она электрический удар и улучшилось ли у нее душевное состояние. Для этого нужен человек — иначе как будет развиваться наука о психике?.. На сей раз я действовал с величайшей осторожностью, повышая напряжение настолько постепенно, что после судорожного припадка пациент пришел в сознание уже через считанные минуты, но о случившемся он все равно решительно ничего не помнил. И опять облегчение от меланхолии продлилось недолго. Я вызвал еще два припадка, и уже казалось, что моя теория полностью подтвердилась, когда вдруг... это был дефект аппарата — дефект, который я впоследствии устранил, но, к сожалению, слишком

поздно для моего пациента... Однако клятву свою я сдержал: их смерти были не напрасными, мисс Эштон, ибо я точно установил, какой силы ток можно применять без угрозы для здоровья, и усовершенствовал свой аппарат, хотя и ценой двух человеческих жизней. Таким образом, когда возникла необходимость стереть у вас память о некоторых событиях, я уже действовал без всякого опасения. Как я говорил, это была образцово-показательная демонстрация моего аппарата; жаль только, что члены комиссии не могли при ней присутствовать... А теперь, мисс Эштон, когда я рассказал вам все с полной откровенностью, вы должны понимать, что я не причиню вам вреда. Ваше внутреннее сопротивление понятно, но подумайте о высшей пользе. Если я отпущу вас сейчас, весь мой труд пойдет насмарку, репутация моя будет погублена и клиника Треганнон разорится. Фредерик лишится наследства, а кроме всего прочего, меня наверняка повесят за убийство. Тогда как для предотвращения всех этих неприятных последствий вам нужно всего лишь подвергнуться короткой безболезненной процедуре. Ну как, вы сами спуститесь или мне подняться за вами?

Пол поплыл у меня под ногами. Я не решалась ответить из страха, что голос выдаст мою панику.

— Нет? Тогда, боюсь, мне придется вас разоружить. У вас преимущество в позиции, но я всегда считал себя неплохим фехтовальщиком. Я постараюсь не причинять вам больше боли, чем...

Слова доктора Стрейкера прервало треньканье звонка на стене за ним.

— Это Фредерик, не иначе. Я сказал, что моя встреча в Бристоле отменилась. Он не стал бы меня беспокоить без веской причины, но ему придется подождать.

Подойдя к ризничной двери, он взял из подставки тяжелую терновую трость и направился к лестнице. У меня кровь застыла в жилах.

Звонок протренькал еще раз, более настойчиво. С раздраженным ворчанием доктор Стрейкер стремительно подошел к нему и ткнул пальцем в кнопку.

— Теперь он уймется.

— Но теперь он знает, что вы здесь! — в отчаянии воскликнула я, а потом набрала в грудь побольше воздуха и истошно закричала: — Фредерик! Фредерик! — думая, что он где-то поблизости.

Но доктор Стрейкер лишь рассмеялся:

— Это электрический звонок, мисс Эштон. Фредерик находится в клинике и не услышал бы ни звука, даже если бы здесь взревел паровой свисток.

— Но он знает, что я сбежала, и непременно задастся вопросом, почему вы не руководите поисками!

— Он может задаваться какими угодно вопросами. Вас найдут без чувств в лесу, рядом с трупом предполагаемой мисс Феррарс. Фредерик до скончания дней будет винить себя, что пошел наперекор моей воле.

В несколько широких шагов доктор Стрейкер приблизился к лестнице, и мгновение спустя перила задрожали. Я подалась вперед, широко размахнулась и метнула палку, как копье, в запрокинутое лицо противника. Он попытался отбить палку в сторону, но она плашмя ударила ему в лоб; трость выпала у него из руки и со стуком скатилась на пол, а сам он схватился за поручень и соскользнул по ступенькам. Доктор Стрейкер еще не успел восстановить равновесие, а я уже стояла на прежнем месте с другой палкой в руках, сотрясаемая крупной дрожью, но теперь исполненная решимости сражаться до последнего.

— Вы не оставили мне выбора, — тяжело дыша, проговорил он. — Я нисколько не лукавил: я бы пощадил вашу жизнь, но вы лишили меня такой возможности.

Достав из жилетного кармана ключ, он повернулся к письменному столу и застыл как вкопанный:

— Это следовало предвидеть. Живо бросьте мне бумаги, пока для вас еще не все потеряно.

Я не ответила. Доктор Стрейкер скрылся под галереей, и я услышала скрежет ключа в замке. Когда он вновь появился, в руке у него был пистолет.

— Вам от меня не убежать, мисс Эштон. Обещаю не стрелять, если вы спуститесь спокойно.

Я швырнула в него палку и отпрянула от лестницы. Стук палки о каменные плиты отозвался по всей часовне эхом, которое почему-то не стихло. Лишь через несколько секунд до меня дошло: кто-то барабанит в ризничную дверь.

— Проклятье! — злобно пробормотал доктор Стрейкер.

Наступила короткая тишина, затем яростный стук в дверь возобновился, и послышались быстрые шаги. Я осторожно выглянула из-за балюстрады как раз в тот момент, когда он обернулся ко мне, бледный как полотно, с кровавой ссадиной на лбу.

— Молчите — и останетесь живы! — прошипел он, засовывая пистолет в карман сюртука, после чего приблизился вплотную к двери, но открывать не стал. — Фредерик! — проорал он. — Что это значит?

Я услышала приглушенный голос, но слов не разобрала.

— Возвращайся в дом! Я скоро приду!

Ответ явно не понравился доктору Стрейкеру.

— Фредерик! Немедленно возвращайся в дом, я требую!

На дверь снова обрушился град ударов.

Доктор Стрейкер повернул ключ в замке и весь напрягся, вцепившись в дверную ручку. Дверь, помнила я, открывалась наружу, — очевидно, он хотел оттеснить Фредерика назад и поговорить с ним в соседнем помещении. Но уже в следующий миг дверь распахнулась от сильного рывка и в лабораторию влетел Фредерик с фонарем в руке.

— Доктор Стрейкер, вы должны сейчас же пойти со мной! Мы обыскали каждый...

Он поставил фонарь на стол, неуверенно шагнул в сторону инвалидного кресла и остолбенел при виде мертвой Люсии:

— Боже правый, сэр, что вы наделали?

Доктор Стрейкер запустил руку в карман. Я попыталась закричать, но не смогла издать ни звука.

— Она погубила бы нас... и все, ради чего мы работали.

Фредерик повернулся к нему и увидел в руке у него пистолет, направленный в пол:

— Вы... вы убили ее?

— Ты бы ничего не узнал, если бы послушался меня.

Фредерик сделал шаг вперед, и доктор Стрейкер поднял пистолет, но потом вдруг плечи его поникли и рука бессильно упала.

— Довольно, — устало произнес он. — Мисс Феррарс взяла надо мной верх.

Несколько секунд он задумчиво разглядывал пистолет, а затем аккуратно положил его на стол рядом с фонарем, улыбаясь еле заметной ироничной улыбкой.

— Фредерик! — позвала я, наконец обретя дар речи.

Он стоял неподвижно и смотрел на меня как загипнотизированный, пока я на нетвердых ногах спускалась по лестнице, охваченная внезапной слабостью. Доктор Стрейкер тоже не шевелился, пока я не подошла к Фредерику. Затем он поклонился мне, протянул Фредерику руку (которую тот машинально пожал) и направился к черному застекленному шкафу, на ходу взяв со стола кожаный обруч.

— Теперь вам лучше уйти, — сказал он, надевая обруч на голову и поворачиваясь к шкафу.

Со всеми этими проводами, тянувшимися от головы и рук, он походил на верховного жреца некой странной секты, которая поклоняется электричеству. Я вновь ощутила в самых своих костях знакомую вибрацию — сначала слабая, она постепенно усиливалась. Фредерик оцепенело молчал. Я открыла рот, чтобы сказать «не надо», но слова замерли на губах. Доктор Стрейкер поднял правую руку, и в то же мгновение его подбросило в воздух, где он словно завис на долю секунды с распростертыми руками и дымящимися висками, прежде чем с грохотом рухнуть на пол.

Вибрация не прекратилась, но продолжала нарастать, и вскоре вся лаборатория гудела, точно рой разъяренных шершней. Из черного шкафа вырвались языки пламени, потом ослепительно сверкнула синяя вспышка — и внезапно наступила тишина.

Весь свет разом погас, не считая фонаря на столе да желтых огненных языков, лизавших стены. У меня запершило в горле от едкого дыма, в ноздри ударил запах паленых волос и обугленной плоти.

— Бежим отсюда! — выходя из транса, крикнул Феликс и повлек меня к двери.

Я остановилась около кресла с Люсией. Под распахнутым плащом у нее блестела моя брошь, о которой я и думать забыла.

— Мы не можем оставить ее здесь, — сказала я.

— Ничего не попишешь. Ей уже ничем не помочь, и через тоннель кресло не провезти.

Я наклонилась, чтобы отстегнуть брошь, и вдруг поняла, что не могу, просто не могу бросить здесь Люсию.

— Пожалуйста, давайте попробуем.

— Тогда придется через другую дверь. — Фредерик метнулся прочь и вернулся с фонарем и связкой ключей.

— Давайте я.

Я перекатила кресло с Люсией в дальний угол помещения и держала фонарь, пока Фредерик пробовал один ключ за другим. Из черного шкафа выпадали горящие обломки, и языки пламени расползались от них по столу. В тот самый момент, когда замок наконец щелкнул, раздался глухой взрыв, сопровождаемый яркой белой вспышкой. По полу хлынул поток жидкого огня; я мельком увидела тело доктора Стрейкера, простертое в огромной огненной луже.

— Сюда! — выкрикнул Фредерик, захлопывая за собой дверь.

Кресло тряслось и раскачивалось из стороны в сторону; когда мы остановились перед последней дверью, я смутно различила грубые каменные стены в пятнах сырости. Я снова держала фонарь, пока Фредерик лихорадочно возился с засовами и запорами. Голова Люсии завалилась набок; наклонившись, чтобы ее поправить, я заметила слабо подрагивающую жилку на шее — прерывистое биение пульса, еле уловимое взглядом, но все же уловимое.

За дверью бушевал хаос из огней, истошных криков и трезвона набатных колоколов. Все окна башни пульсировали ярким оранжевым светом; толпа людей с фонарями устремила

навстречу нам, когда мы покатали Люсию к темной громаде клиники. Кто-то узнал Фредерика и спросил, что делать.

— Доктор Стрейкер погиб! — надсаживая горло, прокричал Фредерик. Я едва слышала его сквозь рев пламени. — Уже не спасти... Подносите воду... Ломайте переходную галерею, чтоб огонь не перекинулся на дом... Бегите во все отделения... Пусть пациенты приготовятся... Выводите всех на улицу, если пожар распространится.

Стекло в одном из окон лопнуло, разлетевшись стеклянными брызгами, и страшный гул огня усилился.

— Туда, в крыло для добровольных, — задыхаясь, проговорил Фредерик. — Ее поместят в лазарет, если там еще безопасно.

Мы торопливо прошагали по гравийной дорожке, что тянулась между двумя зданиями, и остановились, едва заведя впереди дверь, из которой я выходила всего несколькими часами ранее. Старый дом был погружен во тьму, пока мы шли вдоль него, но сейчас ближайшее к башне верхнее окно вспыхнуло оранжевым светом, потом следующее за ним и следующее. Фредерик прокричал несколько слов, обращаясь к кому-то поблизости. Подбежали две служительницы и поспешно увезли Люсию. Кто-то дернул меня за рукав: повернув голову, я увидела рядом с собой Беллу, а чуть подальше Фредерика, жестами призывающего меня следовать за ним. До сей минуты я не осознавала, что лицо у меня измазано в крови, волосы растрепаны и вся одежда перепачкана, не осознавала даже, насколько я обессилена, но теперь все разом навалилось на меня, и кости мои словно налились свинцом. Тяжело опираясь на руку Фредерика, я смутно слышала, как он говорит что-то насчет постели в конюшне, и недоуменно спрашивала себя, уж не придется ли мне ночевать в руинах, пока мы не начали уклоняться от здания в сторону главных ворот.

Двери громадного дома распахивались одна за другой, и из них выскакивали люди в самой разной одежде, от парадного платья до ночных рубашек: врачи, душевнобольные, добровольные пациенты, служители и надзиратели разношерстными толпами текли в ночь, озаренную огнем пожара.

Я проснулась в незнакомой постели, под грубым колючим одеялом, чувствуя себя как после тяжелого падения с лестницы. В первый ужасный момент мне вообразилось, что я опять в лазарете и кошмар начинается снова. Потом скрипнуло кресло, и я открыла глаза. Я находилась в чердачной комнатке с белеными стенами; в окно барабанил дождь; на столике у кровати лежали бювар и брошь, а рядом со мной сидела Белла. Клинику удалось спасти, сообщила она, но мистер Эдмунд скончался от потрясения; теперь всем заправляет мистер Фредерик, и он рвется меня увидеть.

— И да, мисс... — Она явно не знала, как ко мне обращаться. — Другая леди оказалась жива, правда она по-прежнему в беспомощности. Ее поместили в лазарет, едва лишь опасность миновала.

Поначалу каждый шаг давался мне с огромным трудом, но после того, как я спустилась по крутой лестнице в амуничник, онемение в ногах стало потихоньку проходить. Я с содроганием отклонила предложение Беллы прикатить мне инвалидное кресло и вместо него удовольствовалась зонтиком. Снаружи все выглядело в точности как раньше, даже работники по-прежнему трудились на далеком поле у граничной стены, но в воздухе висел едкий запах гари, напомнивший мне ядовитые туманы на Гришем-Ярд. Я медленно дошла до дальнего угла клиники и остановилась там, созерцая безрадостную картину. От старого дома

остался лишь уродливый остов; над руинами башни все еще курился дым; деревья вокруг почернели, опаленные огнем пожара.

Я невольно задрожала, вспомнив охваченное пламенем тело доктора Стрейкера на полу лаборатории и подумав о том, сколько людей были бы избавлены от горя и страданий, если бы Феликс Мордаунт не составил завещание в пользу Розины или если бы он вообще с ней не встретился... но, с другой стороны, тогда я не стояла бы здесь, с бюваром в руке, пытаюсь решить, как мне поступить с этими завещаниями. Дождь почти прекратился; я сложила зонтик и погрузилась в глубокую задумчивость, из которой меня вывел голос Фредерика:

— Мисс Феррарс, я очень рад видеть, что вы уже на ногах.

Он был в перепачканном, измятом костюме, землисто-бледный от усталости, но тем не менее улыбался. На лице его застыло выражение спокойной решимости — или смирения? — какого я не видела никогда прежде.

— Мистер Мордаунт, я глубоко огорчена известием о смерти вашего дяди.

— Не стоит огорчаться. Последние годы он ежеминутно терпел невыносимые муки и все равно не протянул бы долго. И... дядя был человеком жестокосердным. А вдобавок еще и расточительным, как я выяснил сегодня утром. На протяжении многих лет он брал со счета значительные суммы без всяких объяснений и тратил неизвестно куда. Поместье заложено-перезаложено. Денег, вырученных от продажи клиники, едва хватит, чтобы покрыть его долги. А я еще обещал назначить вам содержание, — криво усмехнулся Фредерик, — не говоря уже о... Впрочем, довольно об этом. Я до сих пор так и не понял толком, какие отношения связывают вас с мисс Эрдэн и почему доктор Стрейкер поступал таким образом...

— Все из-за этого. — Я протянула Фредерику завещания и брачное свидетельство. — И все зря.

Мы проговорили до самого вечера, сидя у камина в его личной гостиной. Я дала ему прочитать письма Розины, но ничего не сказала о своих былых чувствах к Люсии, которая лежала в лазарете всего через несколько дверей от нас, по-прежнему без сознания. Теперь мы общались на короткой ноге, как и подобает кузенам. В свое время я гадала, станет ли Фредерик относиться ко мне иначе, когда узнает о нашем родстве, но он явно питал ко мне прежние чувства, и воспоминание о его пылком признании в любви витало в воздухе между нами.

Я предложила сжечь завещания — на случай, если вдруг ему удастся спасти хоть какую-то часть состояния, — но он и слушать меня не пожелал:

— Нет, Джорджина, поместье принадлежит тебе — и по законному праву, и по моральному. Если что-нибудь удастся спасти, все тебе и достанется. Дядя Эдмунд был вор и лицемер — как вспомнишь все его наставления о честности и добродетели! — и я не намерен извлекать выгоду из его безнравственности. Да и выгода-то вряд ли будет. Психиатрическая клиника такое же коммерческое предприятие, как любое другое, и, когда преступления доктора Стрейкера получают огласку, репутация заведения будет навсегда погублена. Подумать только, и ведь я боготворил этого человека... управитель сумасшедшего дома, он сам был сумасшедшим.

— Фредерик, — нерешительно проговорила я, — а ты рассказывал кому-нибудь о... том, что видел вчера вечером?

Он помотал головой.

— Мне кажется, лучше сохранить все в тайне. Дело не в репутации клиники; просто,

если станет известно о том ужасном аппарате, кто-нибудь другой непременно попробует соорудить нечто подобное.

— Но ведь тогда доктор Стрейкер останется для всех великим человеком.

— Это меньшее из двух зол. Вероятно, на первых порах он руководствовался самыми благими намерениями. Но, получив в свои руки столько власти...

— А убитые им пациенты? Как насчет них?

— Мы не можем рассказать про них, не раскрыв всех обстоятельств их смерти. А тогда много человеческих жизней будет принесено в жертву еще чьему-нибудь честолюбию.

Мы оба умолкли, задумчиво глядя в огонь.

— Я понимаю, почему ты предлагаешь сохранить все в тайне, — наконец произнес Фредерик. — Доктор Стрейкер действовал в одиночку, а значит, ни о каком обмане покупателя речи не идет.

— И я все-таки перепису все имущество на тебя. Я настаиваю, Фредерик. У меня есть собственный небольшой доход, и я не допущу, чтобы ты остался ни с чем.

— А я в таком случае настаиваю на разделе имущества между нами — если будет что делить.

Снова последовало молчание.

— Что ты собираешься делать дальше? — спросил Фредерик нарочито обыденным тоном.

— Сначала отправлюсь в Плимут, к мистеру Ловеллу. Надо распорядиться насчет передачи прав на собственность — ну и выяснить, сколько денег украла у меня Люсия. Потом заеду на Гришем-Ярд, чтобы забрать все свои вещи, которые там еще остались. Для дяди Джозайи я отсутствую дома всего пару дней, и убеждать его, что дело обстоит иначе, не имеет смысла. Он и так будет раздражен и обижен на меня за то, что теперь ему придется платить жалованье помощнику по лавке.

— А потом?

— Потом вернусь в Плимут. Мистер Ловелл любезно пригласил меня погостить у его родителей в Носс-Мейо, и если приглашение остается в силе... Только не пойми неправильно, Фредерик: я знаю мистера Ловелла единственно по записям в своем дневнике, но он был очень добр ко мне, и я хотела бы немного отдохнуть в тихой деревне, где можно гулять, размышлять, наслаждаться одиночеством и рассказывать о себе ровно столько, сколько хочется, не больше и не меньше. А ты, Фредерик? Что ты собираешься делать?

— Буду присматривать за делами здесь, пока клиника не продается. Ну а если повезет, новые владельцы оставят меня на прежней должности.

— Но, Фредерик...

— Знаю, знаю: мне нужно бывать в обществе и все такое прочее. Но я всю жизнь провел здесь, и, если у меня есть какие-нибудь способности, применить их я могу только здесь... или в каком-нибудь похожем заведении. По крайней мере, я постараюсь сделать все возможное, чтобы ни один управляющий впредь не обладал такой огромной властью; если я добьюсь только этого и ничего больше, я уже буду считать, что жизнь прожита не даром.

Хотя он старался говорить обычным тоном, в голосе его явственно слышалась печаль.

— Фредерик, — мягко промолвила я, — пять дней назад ты признался мне в любви, и я боюсь, твое решение остаться здесь как-то... связано с этим.

— Да, — просто ответил он. — Я любил тебя и люблю. Но это безнадежно по всем мыслимым причинам, а потому...

— Нет, Фредерик, это безнадежно по одной-единственной причине. Я люблю тебя как брата, но не так, как женщина должна любить мужчину, за которого готова выйти замуж. Будь иначе, меня несколько не волновали бы ни деньги, ни наследственность Мордаунтов, ни любые другие обстоятельства. Но я не хочу, чтобы ты питал ложные надежды и упустил шанс стать счастливым. У тебя нежная, любящая душа — я говорила это еще в самом начале нашего знакомства, а сейчас тем более так считаю, — и ты непременно должен жениться. Я навсегда останусь твоим верным другом, твоей кузиной, но я не могу стать твоей женой.

— Если бы я... если бы у меня сразу хватило мужества пойти против воли доктора Стрейкера...

— Фредерик, Фредерик, никакие твои поступки не изменили бы моего к тебе отношения, поверь мне. Сейчас тебе кажется, что ты никогда не сможешь полюбить другую женщину, раз уже отдал сердце мне, но ты полюбишь — вот почему ты должен бывать в обществе, как ты выражаешься, даже если будешь работать здесь...

— Ты говоришь так, словно знаешь это по собственному опыту, — с горечью произнес он.

— Нет, мне просто интуиция подсказывает. Не уверена, выйду ли я когда-нибудь замуж, Фредерик. После всего, что я пережила здесь, мне трудно представить...

Я осеклась, не зная толком, что именно мне трудно представить, и ясно поняла, что мои слова прозвучали неубедительно. «Фредерик, — захотелось сказать мне, — я любила Люсию страстно, как женщина должна любить своего мужа, хотя знаю об этом единственно из своего дневника. И да, она моя единокровная сестра, но ведь тогда я не знала ни этого, ни того, что она с самого начала намеревалась обмануть и предать меня. Возможно, я так никогда и не вспомню своих прежних чувств к ней, но мне кажется, я увидела в ней что-то такое, что есть во мне самой и что объясняет, почему я не могу ответить на твою любовь полной взаимностью».

Но потом я испугалась, что таким своим признанием я просто шокирую Фредерика без всякой на то необходимости, а потому ничего говорить не стала. Мы сидели в неловком молчании, пока в комнату не вошел незнакомый мне мужчина, некий доктор Овертон, который сообщил, что мисс Эрден очнулась и выразила желание поговорить со мною наедине.

— Пожалуйста, передайте ей, что я приду через пару минут, — попросила я.

— Но ты же не *хочешь* с ней видеться, — сказал Фредерик, как только доктор Овертон удалился. — Не лучше ли послать за полицией и отдать мисс Эрден под арест без всяких отлагательств?

— Нет. Мне хотелось бы поговорить с ней, прежде чем я приму решение. Но почему она помнит меня, когда у меня не сохранилось никаких воспоминаний о ней?

— Думаю, доктор Стрейкер заблуждался насчет своего аппарата, как заблуждался насчет многого другого. Он не убил тебя по чистой случайности. В самом деле, Джорджина, не разумнее ли избавиться себя от этой неприятной встречи?

— Нет, я хочу поговорить с Люсией.

— В таком случае можно сначала я к ней загляну? Мне тоже есть что сказать этой особе.

Люсию поместили в ту самую палату, где я пришла в сознание холодным ноябрьским днем целую вечность назад. Лицо у нее было мертвенно-бледное и дочиста отмытое от всякой краски. Наше внешнее сходство оставалось очевидным, но теперь я видела прежде

всего различия между нами — в разрезе глаз, рисунке губ, очертаниях скул; различия столь заметные, что я подивилась, как вообще кто-то, кроме подслеповатого дяди Джозайи, мог принимать нас друг за друга. Стоя там в дверях, я вспомнила запись в дневнике про наше с ней сходство, усиливающееся с каждым днем, и поняла, насколько все-таки хорошо она меня изучила.

— Джорджина, — проговорила Люсия слабым, смиренным голосом, — ты не посидишь рядом со мной немножко?

Я придвинула к кровати стул, на котором всегда сидел доктор Стрейкер, и опустилась на него.

— Я не помню ничего из... того, что произошло, — пролепетала она. — Но мистер Мордаунт сказал, что ты рисковала своей жизнью, пытаюсь спасти мою, и еще раз спасла меня, когда могла оставить в огне. Почему ты это сделала?

— Потому что не могла позволить тебе умереть, хотя бы не попытавшись спасти тебя. Не из каких-то там чувств к тебе — ты мне безразлична. Ты обманула меня, предала меня и бросила гнить здесь.

Последовало долгое молчание.

— Я не знала ни минуты покоя со дня, как отправила телеграмму от имени твоего дяди, — наконец сказала Люсия. — Тогда я действовала под влиянием момента, а потом... у меня не хватало духу пойти на попятную.

— Я бы с тобой поделилась, если бы было чем делиться. Но Эдмунд Мордаунт умер, а поместье разорено. Ты и твоя мать уже вытянули из него все деньги.

Она уставилась на меня с неподдельным ужасом, — во всяком случае, я могла бы в этом поклясться.

— Я знала, знала, *знала*, что ты бы поделилась. Но мать сказала, что рано или поздно ты обязательно выведешь меня на чистую воду. А теперь меня отправят в тюрьму на многие, многие годы... и поделом мне.

Она закрыла лицо ладонями и разразилась душераздирающими рыданиями. У меня хватило ума не поверить этому показному раскаянию, но я все равно почувствовала острое желание обнять, утешить Люсию и устыдилась своего равнодушия и бессердечия, когда подавила этот порыв.

— Люсия, почему ты не пошла на сцену, как хотела? — спросила я, когда она перестала рыдать. — Ведь ты прирожденная актриса. Ты могла бы заработать целое состояние и восхищать всех своим талантом вместо того, чтобы прокладывать себе путь в жизни ложью и обманом.

— Я бы очень этого хотела, — горестно вздохнула она, — но теперь слишком поздно.

— Сколько денег ты у меня украла?

— Только годовое содержание. Мать сказала, что мне опасно встречаться с мистером Ловеллом, пока...

Она опустила глаза, не закончив фразы.

— Так, значит, то была твоя мать. Миссис Ферфакс — женщина в Плимуте, старавшаяся помочь мне советом.

— Да, — чуть слышно проговорила Люсия.

— А где она сейчас?

— В Лондоне. В гостинице, где мы... ну, той самой, на Грейт-Портленд-стрит.

— Куда ты ходила каждый день под видом прогулок. Чтобы составлять с ней планы, как

заманить меня в сети обмана.

— И теперь мне придется заплатить за все свои злые дела. О, как же ты должна ненавидеть меня!

— Довольно слез, — твердо произнесла я. — Я ненавидела тебя вчера вечером, когда сказала, что мне плевать, если доктор Стрейкер вырвет сердце из твоей груди, но сейчас все прошло. Что же касается тюрьмы, судьбу твоей матери не мне решать, и, если мистер Мордаунт сочтет нужным выдвинуть против нее обвинение в шантаже, ей придется ответить за содеянное. Но тебя я предпочла бы увидеть на сцене, а не в тюремной камере. Ты напишешь подробный отчет обо всех злонамеренных поступках, совершенных тобой и твоей матерью против меня. Ты обещаешь в письменном виде, что никогда впредь не преступишь закона. Мистер Мордаунт засвидетельствует твою подпись. И ты будешь постоянно осведомлять мистера Ловелла о своем местонахождении. Не исполнишь моих условий хоть в самой малости — и твое признание тотчас окажется в полиции.

— Я обещаю, — чуть слышно проговорила Люсия. — Можно мне перо и бумагу, я прямо сейчас и начну.

Лицо у нее стало пепельным, и выглядела она совершенно обессиленной.

— Тебе нужно отдохнуть, — смилостивилась я. — Напишешь все завтра.

— Я очень перед тобой виновата, Джорджина. Ах, если бы только... мне жаль, что я была недостойна твоей любви. Но я постараюсь заслужить твое доверие.

— А мне жаль, что я не могу тебе верить.

Я с трудом поднялась, внезапно ощутив слабость во всем теле, и немного помедлила, пристально вглядываясь в нее. Люсия неподвижно смотрела на меня полными боли темными глазами, являя собой воплощенное раскаяние, и на краткий миг мне почудилось, будто я действительно помню, воочию вижу и въявь чувствую, как она трепетала в моих объятиях в последнюю нашу ночь на Гришем-Ярд. Но потом память опять заволкло туманом — словно непроницаемый занавес упал между нами. Я повернулась и, не оглядываясь, вышла из палаты.

Больше книг на сайте - Knigoed.net